



АЛЕКСАНДР РУСОВ
СУД
НАД СУДОМ







ПЛАМЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ

БОГДАН КНУНЯНЦ



АЛЕКСАНДР РУСОВ

**СУД
НАД СУДОМ**

**Повесть
о Богдане Кнунянце**

Второе издание

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1984

В 1977 году вышли первые книги Александра Русова: сборник повестей и рассказов «Самолеты на земле — самолеты в небе», а также роман «Три яблока», являющийся первой частью дилогии о жизни и революционной деятельности семьи Киунишцев. Затем были опубликованы еще две книги прозы: «Города-спутники» и «Фата-моргана». Книга «Суд над судом» вышла в серии «Пламенные революционеры» в 1980 году, получила положительные отзывы читателей и критики, была переведена на армян-

ский язык. Выходит вторым изданием. Она посвящена Богдану Киунишцу (1878—1911), революционеру, ученому, публицисту. Ее действие переносит читателей из химической лаборатории конца девятистых годов прошлого века в современную лабораторию, из Нагорного Карабаха — в Баку, Тифлис, Москву, Петербург, Лондон, Женеву, из одиночной тюремной камеры — в трюм парохода, на котором бежит из ссылки двадцативосьмилетний герой, осужденный по делу первого Петербургского Совета рабочих депутатов.

P $\frac{0505000000-157}{079(02)-84}$ 192-84

Уже одно имя *Ивана Васильевича Шазова*, в преклонном возрасте взвалившего на себя столь же непосильный, сколь и благородный труд, связанный с разбором и упорядочением архива семьи, к которой я принадлежу, заставляет меня испытывать чувство стыда за то беспечно-насмешливое отношение самоуверенной юности, которым я, сам того не ведая, причинял ему боль. Теперь уже ничем не загладить вину, не залечить нанесенную рану.

Все, что мне остается,— это запоздалое раскаяние и попытка по возможности бережно донести до читателя оставленные им разрозненные тексты, в значительной мере дополнив их собственными, ибо записей *Ивана Васильевича*, посвященных моему двоюродному деду *Богдану Кнулякцу*, недостаточно, чтобы составить из них сколь-нибудь цельный, связный рассказ.

Единственный незаконченный отрывок, по которому, как по осколку архаической вазы, можно было бы попытаться осуществить реконструкцию, начинается словами: «Утренняя звезда сквозь разрывы осенних туч...»

ГЛАВА I

«Утренняя звезда сквозь разрывы осенних туч — недолгий свет, дарящий обманчивую надежду на солнечный день. Ослиный крик во дворе каменотеса, будто не осел трубит, а плотник дребезжащую фанеру пилит. Фыркание собаки. Густой туман.

Младенец, нареченный Богданом, родился 14 ноября 1878 года. Мирзаджан-бек праздновал рождение девятого сына...

Вот так бы и войти в это повествование. Сразу, точно в холодную воду.

К сожалению, с Богданом Мирзаджановичем, или Минаевичем, как для краткости и простоты его называли, я никогда не встречался, хотя был моложе всего на десять лет и юные годы провел в Баку — городе, где, отданный в солдаты после известных революционных событий в Петербурге на Казанской площади, он жил сначала в Сальянских казармах, затем на частной квартире. С его сестрой Фаро, приехавшей учиться в Баку из Шуши, я познакомился на одном из заседаний ученического комитета. Непродолжительное время кружковыми занятиями руководил Богдан, но как раз почему-то в те дни я не посещал кружка.

Первая наша встреча произошла, помнится, в самом начале 1901 года. Фаро представляла в комитете передовое ученичество заведения св. Нины, а я вместе с Яко-

вом Цыпиным и Егором Мамуловым — учащихся Первой мужской гимназии. Уже в мае 1902 года за участие в первомайской демонстрации Фаро, вместе с братьями и их женами, была арестована и исключена из гимназии с «волчьим билетом», то есть без права поступления в другие учебные заведения.

Братьев Богдана — Тарсая, Людвигу и Тиграпа — я знал, хотя не был с ними ни дружен, ни даже коротко знаком. Теперь уже никого нет в живых, осталась одна Фаро.

Сам я гимназии не закончил, поскольку в конце 1902 года был выслан из Баку за революционную деятельность. Сотрудничал в газетах, писал фельетоны, работал в театре, в кинематографе. Пороху было много, но вот дула и пули ружейной не пашлось. Потому ничего и не добился. Теперь, на старости лет, хочу попытаться составить жизнеописание одного из самых славных членов семьи, во многих отношениях мне близкой.

Откуда пришла мысль взяться за это дело? В двух словах не объяснишь, но главным, пожалуй, было чувство страха. Я вдруг подумал, что собранный за долгие годы архив Фаро погибнет вместе с нами, стариками, поскольку молодым поколениям семьи он не нужен, неинтересен. То есть все живое, что еще хранит наша память, очень скоро исчезнет с лица земли, уйдет бесследно, как вода в песок. Такие вот личные мотивы двигали мной, а толчком послужил юбилей, 90-летие со дня рождения Богдана Минаевича, широко отмеченный в 1968 году.

Фаро получила кипы газет из Баку, Еревана, Степанакерта с портретами, статьями на целую полосу, да и центральная пресса не обошла вниманием этот юбилей. В Музее Революции состоялся памятный вечер, на котором присутствовали историки, старые большевики, видные деятели государства. Я тоже был приглашен. Это,

конечно, Фаро постаралась, чтобы обо мне не забыли. Из родственников кроме нее на вечере присутствовали сын юбиляра — радиоинженер Валентин Богданович, племянник Иван Людвигович — химик-академик, а также дети Фаро и ее внук, тоже химик.

Химия стала как бы наследуемой профессией Кну-нянцев. Ведь и Богдан Минаевич, и Людвиг Минаевич тоже учились на химических факультетах: один — Петербургского технологического, другой — Киевского политехнического института.

Содрогаюсь при мысли о том, за какое трудное дело берусь. Слишком уж мало фактов, документов и чужих воспоминаний сохранило время. Единственный живой свидетель, без которого задача оказалась бы вовсе невыполнимой, — это Фаро, тогда как прижизненную историю того круга молодых людей, к которому принадлежал Богдан, писали филеры, осведомители, начальники департаментов полиции. Порой и в этих сведениях содер-жится нечто живое, интересное, но достаточно ли их, чтобы воссоздать ушедшую жизнь? Вот как опи-сал, например, петербургскую демонстрацию 19 февраля 1901 года младший помощник пристава Рахманинов: «Учащаяся молодежь и публика — около 1000 человек — присутствовала на панихиде, в Казанском Соборе совер-шаемой, в Бозе почившего императора Александра II, откуда пачали расходиться по домам, само собой разу-меется, толпою, как всегда из церкви. Около городской Думы путь был прегражден отделением конно-полицей-ской стражи и пешими городовыми, которые, ворвавшись в середину толпы, разделили ее на несколько частей, причем одну часть прижали к стене, и когда эта часть начала выражать словесный протест, городовыми были пущены в ход кулаки, на что прежде всего было обра-щено внимание служащими городской Думы, которые стояли на площадке и кричали, что городовые бьют.

Битье это продолжалось вплоть до вторых ворот Думы и прекратилось только с приездом господина градоначальника. На протесты возмущенной публики городовые отвечали, что действуют по распоряжению начальства». Далее в архивном документе, который мне довелось раскопать, приводится список пострадавших, в котором значится и Тигран Кнунянц, «ученик общества поощрения художников». Тогда же на Казанской площади была арестована студентка Софья Марковна Познер (курсы профессора Лесгафта). Ее брат, Виктор Маркович, посланный в Баку студент, руководил социал-демократическим ученическим кружком, в котором состояли и мы с Фаро.

А вот опись вещественных доказательств, отобранных при обыске во время первого ареста у будущей жены Богдана, слушательницы высших женских курсов Елизаветы Голиковой:

«1. Печатная брошюра женевского издания 1898 года «Материалы для характеристики положения русской печати» без обложки и вступительной статьи от редакции.

2. Маленький клочок бумаги с записью карандашом следующего содержания: «Сегодня до 6 из дому не выходите. Я найду и покажу Вам место, где надо видаться с ним. Он будет ждать часов в 6. Непременно надо пойти. Тигран». На другой стороне тем же почерком: «Зашел в половине второго, надоело ждать и ушел. Тигран».

3. Несколько писем и записок интимного характера к Богдану Кнунянцу и последнего к Голиковой.

4. Клочок бумаги с адресом, написанным чернилами: «Б. Пушкарская, д. 63, кв. 6. Всеволод Федорович Дорошевский».

5. Визитные карточки студентов-технологов: Богдана Минаевича Кнунянца, Ивана Иосифа Мелик-Иосифянца и лесника Николая Александрова Топова.

6. Конверт с адресом чернилами: «Франция, Париж, ул. Рейнуар, 16, г-же Недошивиной».

Другой причиной моего решения взяться за сбор материалов, так или иначе связанных с жизнью и деятельностью Богдана Мипаевича, явилось чувство обиды и желание упрекнуть внука Фаро в пренебрежительном отношении к семейным и общественным реликвиям, к долгу, который берет на себя всякий литератор. Я не скрываю своего раздражения, когда пишу эти строки, и если они когда-нибудь попадут ему па глаза,— тем лучше. На мои архивные занятия он смотрит, словно богатый мальчик на нищего, копающегося в пыльном старье.

К себе самому и к Фаро я также обращаю упреки не в последнюю очередь. Ведь мальчик рос на наших глазах. А теперь я с недоумением спрашиваю неизвестно кого: откуда в нем это, чем это объяснить? Как смеет он с оскорбительной легкостью отрекаться от истории своей семьи?

По молодости,— пытаюсь я его оправдать.— Оттого, что он видит нечто, недоступное старикам, и не видит того, что так ясно для нас. Фаро его любит. И я люблю. Потому и болею душой.

Злая насмешка природы заключается во внешнем сходстве внука Фаро и моего героя, чья жизнь не интересуется его в той же мере, в какой не интересуется славное прошлое родной бабушки. Ну да бог с ним.

Хотелось бы построить повествование о Богдане Мипаевиче так, чтобы в центре находился портрет, а дела, события, исторический фон — по краям, вроде как обрамление, примечания к книге жизни, заметки на полях. Да простится мне стремление к столь старомодной композиции как человеку, задолго до революции завершившему свое неполное среднее образование.

Какой, однако, выбрать портрет? Тюремная фотография с венским стулом, пожалуй, менее удачна, чем та, которая сделана в Обдорске, в Западной Сибири, где Богдан Минаевич, сосланный на вечное поселение, спит во весь рост в дохе и в теплой меховой шапке. Но густо разросшиеся борода и усы из-за низкого качества изображения делают черты почти неразличимыми. На другом портрете, воспроизведенном на пригласительном билете Музея Революции, энергичное выражение лица усугубляется резким поворотом головы, как на древнерусской иконе «Чудо Георгия о змие».

На всех сохранившихся портретах, кроме гимназического, находящегося в постоянной экспозиции Нагорно-Карабахского мемориального музея, борода и усы не сбиты. Легкое, романтическое обрамление ранней студенческой поры, острая адвокатская бородка, широкая, мрачная борода Пугачева. «Он носил бороду, чтобы иметь возможность быстро менять свою внешность», — как-то сказала Фаро. А мне так кажется, что борода отрастала сама по себе, пока ее владелец, позабыв обо всем, был занят целиком его поглотившим делом. Выражение увлеченности и поглощенности — основное в наиболее удавшихся фотографических портретах Богдана Минаевича зрелой поры. Оно приходит на смену меланхолическому, несколько размытому выражению лица на юношеских фотографиях.

Портреты братьев совсем иные. Массивная из-за огромной волнистой шевелюры голова Людвиг Минаевича вылеплена сильной, уверенной рукой мастера. Портрет Тарсая Минаевича, чиновника акцизного управления, поразительно напоминает Чехова: пенсне, грустные глаза. Тигран Минаевич Кпунянц — франт с лихо закрученными усами, бывший ученик общества поощрения художников. Вот кто, видно, любил позировать перед объективом фотоаппарата!

А Богдан Минаевич — нет, наверняка не любил. Даже то малое количество фотографических карточек, которое, по счастью, было в свое время изготовлено, обязано не стремлению запечатлеть свою внешность, но скорее данью обычаю, уступке чьим-то настоятельным уговорам. И совсем нет групповых фотографий! Он везде снят один. Это при том, что в архиве Фаро имеется огромное количество семейных, дружеских снимков, а также фотографий родных, знакомых и малознакомых лиц.

Но больше всего поражает, пожалуй, соединение святости и бунтарства в одном лице, на одной фотографии. Будто бог и дьявол жили в нем одновременно. Видно, давала себя знать наследственность: прадед Богдана Минаевича был священником, дед — мятежником, богоотступником, сорвиголовой, предводителем «шайки» повстанцев, воевавших за присоединение армянских земель к России. Отец почитал бога, но потерпел от церкви. За неуважительное отношение к священникам был наказан и после многих лет учительствования вынужден был покинуть родное село Ниги, переселившись в Шушу. В деревне остались дом, водяная мельница, сад, куда Мирзаджан-бек привозил на лето свое многочисленное семейство.

Влияет ли окружающая человека природа на формирование его характера? По опыту собственной жизни, готов ответить положительно, ибо рос и воспитывался в Баку — городе сухом, голом, томительном, располагающем к продолжительному безделью в жестокие летние месяцы, когда весь способный к бегству люд бежит вон из этой каменистой пустыни, а также в зимние дни, когда дует изнурительный норд. Этот город, к разлуке с которым я до сих пор не могу привыкнуть, предопределил всю мою жизнь.

Будь жив Богдан Минаевич, он бы, возможно, возразил мне, как возразил в свое время Фаро, писавшей в

заведении св. Нины сочинение на тему «Влияние тропической жары и полярного холода на быт человека». Хорошо помню наш гимназический диспут, когда я высказывался приблизительно в таком духе, а пятнадцатилетняя Фаро, ссылаясь на авторитет брата (Богдан был старше ее на семь лет), отстаивала решающую роль социальных условий жизни. Были пасхальные каникулы, мы бродили в районе Банлова и жарко спорили. Она рассказывала нечто фантастическое о технике будущего, о летательных аппаратах, которые свяжут север и юг. Как и всякий спор молодых, он вывел нас на крайние, противоположные позиции, и если я помянул о нем, то лишь затем, чтобы вернуться к мысли о воздействии природы на формирование человеческой натуры.

Сопоставление впечатлений от поездки в Шушу и Нинги с теми многочисленными подробностями, которые довелось узнать в процессе работы над архивом Фаро, дает мне все основания продолжить тот давний спор.

Приехав в Нагорный Карабах, я увидел небольшой горный край, соседствующий с голыми степями. Говорят, что значительную часть года он бывает засыпан глубоким снегом, а в дни сильно запоздалой, по сравнению с Баку, весны превращается в страну цветущих садов. Воздух там имеет вкус воды в глубоких деревенских колодцах, с наростами льда на нижней части сруба даже в тридцатиградусную жару. Янтарного цвета поля спелой пшеницы волнами катятся к горизонту. И тут же, в нескольких метрах, — сыпучие породы, крутизна скал, жесткая, колючая, цепляющаяся за камни скудная растительность. Изобилие ежевики по обеим сторонам петляющей, спускающейся с холма и вновь избегающей проселочной дороги, которая ведет в рощу, наполненную испарениями могучих, заслоняющих небо деревьев и оглушительным гомоном невидимых, неведомых, нерав-

личимых существ. В тонких, как спицы, лучах, которые пронзают листву и достигают утрамбованной, жаркой земли, серебрится в постоянном кружении пыльца.

Смуглый мальчик бежит между деревьев.

— Папа! — кричит мальчик. — Апа!

— А, джан, — ласково откликается отец.

На нем мятые штаны, простая крестьянская одежда. Густые усы топорщатся. Коротко стриженные волосы тоже топорщатся. В руках у отца черпак, который он погружает в бочку с сильно пахнущей жижой — перебродившей тутой. Вокруг распространяется набивающий оскомину, удушливый, бьющий в нос запах брожения. Мальчик не любит его. Из всех запахов ему более всего нравится, как пахнет сургуч. Этот запах означает, что отец заканчивает свои дела и теперь будет играть с ним. Надо только постараться, чтобы братья не опередили. Скорее забраться к нему на колени. Сургуч капает на конверт, и отец пять раз прикладывает к нему медную свою печать.

— Апа! — снова зовет мальчик.

Он уже не бежит, а, затаившись, прислушивается к тому, что творится наверху, в зеленой листве.

Нескольких черпаков хватает, чтобы наполнить бадью. Распрямив спину, отец ищет глазами мальчика.

— А, джан? — спрашивает, подходя.

Мальчик расширенными от нетерпеливого ожидания глазами смотрит на отца снизу вверх. Такие большие глаза здесь у всех: у людей, ишаков, коз, баранов, волов.

— Можешь, апа, свалить это дерево?

— Зачем?

Мальчик молчит.

— Ты должен помнить, как мы рубили засохшую тутовницу.

— Рубили,— говорит мальчик.— А просто руками можешь?

— Одними руками ни один человек не сможет.

— Даже Аслан Баласы?

— Аслан Баласы,— говорит отец, усмехаясь.— Хотя, конечно, он настоящий герой и наш родственник, боюсь, что и Аслан Баласы не смог бы.

— А-а-а...— разочарованно тянет мальчик.— Ты говорил, что он самый сильный человек в Карабахе, его все беки боялись.

Отец кивает, возвращается к бадье. Мальчик идет за ним.

— Почему нас беки не любят?

— Разные беки,— уклончиво отвечает отец.

Он оттаскивает бадью к чану, под которым третий день, не затухая, горит огонь. Здесь еще жарче, чем в роще.

Остатки перебродившей туты слиты в чан. Отец отгребает золу, поправляет ведро, в которое, набухая на конце короткой трубки прозрачно голубеющими каплями, стекает водка, имеющая такой же острый, пряный, чуть кисловатый запах.

— Меня тоже беком зовут,— говорит отец.— Мирзаджан-беком. Ты что, никогда не слышал?

— Слышал, апа.

— Люди из уважения меня так называют. Какой я бек,— вздыхает отец.— Татарские беки поклялись однажды убить меня.

— За что?

— Сами за советом пришли. Рассудил по справедливости, только и всего. А потом сколько месяцев пришлось у крестьян скрываться, в варадинских лесах. Тебя на свете не было. Бедная мама с детьми жила под охраной двух псов. Я даже не знал, жива она или нет. Придут ночью, убьют — кто защитит?

— Мама говорила, ты раньше учителем был.

— Давно.

— Теперь людей судишь?

— Защищаю, а не сужу. Большая разница.

Не хочется вспоминать, не хочется говорить об этом. Мальчик не должен знать, как наказали при всех, как несправедливо обошлись, незаконно. Прохвоста-священника обругал, подумаешь! А его наказали, да еще при людях — позор какой. И сейчас бы учительствовал.

— О, госноди!..

Лицо отца мрачнеет. Руки опустил, ссутулился, будто поваленный ствол старой тутовницы длинной налкой поддел и теперь хочет его с места сдвинуть.

— Почему татары наши враги? — в который раз спрашивает мальчик и не может дожидаться ответа.

Отец молчит. В его голове, как заноза, застряло воспоминание. Сколько лет прошло, а не забывается. Как за шакалом паршивым охотились. Сколько бы скитаться еще пришлось, если бы старый бек не умер, а молодые не передрались бы из-за наследства. Ведь мусульманин тогда его снас, у себя в доме спрятал. Против своих пошел.

— Враги? — нереспрашивает отец. — Люди разные.

Земля накаляется. Полдень скоро. Гомон в тутовой роще усиливается. Уже ни одной отдельной трели не разобрать. Летняя лихорадка сотрясает рощу. Слышно блеяние коз.

— Жарко.

— Поди воды поней. Только быстро не пей. Холодная вода.

Мальчик спускается к роднику, срыгивает с выпирающих из-под земли обнаженных корней, и теперь шум воды заглушает неумолчный ронот тутовой рощи. Струя падает в наполненное водой каменное корыто. Мальчик наклоняется, жадно пьет, нарушая наказ отца.

В Шуше такой воды нет. Здесь сладкая вода, холодная. И тута сладкая — целый день во рту ее вкус. И жизнь сладкая.

Нягиджан — сладкое село Няги.

Мальчик пьет воду и видит из-под струи, из-за камня бегущего по дороге брата.

— Эй! — кричит тот. — Эй, — кричит, — сюда татары идут!

Братья выглядят ровесниками, хотя бегущий по дороге Людвиг старше на год.

— Ты что? — спрашивает мальчик, поднимаясь с колена.

— Э, — с трудом переводя дыхание, говорит старший брат, — я видел.

Козел и коза выходят к роднику. Белая гладкая шерсть козы свисает попоной. У козла шерсть бурая и тоже длинная. Его короткий хвост похож на закрутившийся конец ремня.

— Бежим, камнями их закидаем!

Они бегут. Козел за ними. Мальчики припадают к земле, рыщут, набирают камней за пазуху, подползают к придорожным кустам.

Ждут.

Острые камни больно колют живот.

Двое медленно бредут по дороге.

— Получат за все, — говорит Людвиг шепотом. — До чего противные. Их и убить не жалко.

Он дрожит. У него не попадает зуб на зуб.

— Почему татары наши враги? — тоже шепотом спрашивает младший.

— Потому что, — объясняет брат, разглядывая сквозь ветки приближающихся татар, — они хотели убить отца. Они всех армян хотят погубить. Все наше хотят взять себе. Потому что они наши враги, — не умеет лучше объяснить Людвиг.

Они ждут.

Время тянется бесконечно.

Татары еще далеко.

Время остановилось.

Камни за пазухой остыли и больше не колются, только оттягивают рубаху.

— Зачем они к нам идут?

— Они хитрые. Хотят все разузнать, чтобы потом прийти и убить. Мужчин убьют, а маму и сестру в плен заберут.

— Зачем им такая маленькая?

— Они ее вырастят.

— Зачем?

— Татарину отдадут. Тихо, молчи, услышат.

Полдень.

Блеет коза.

Козел чешет рога о толстые стволы кустарника. Кусты трясутся. Мелко дрожит листва.

— Пшел! — отчаянно шепчет Людвиг. — Пшел отсюда!

Козел смотрит на мальчиков. Его желтые узкие зрачки неподвижны. Сильно пахнет козлом. Людвиг отламывает ветку, тычет в глупую морду:

— Пшел, дьявольское отродье!

Козел застыл, словно окаменел. Людвиг достает из-за пазухи камень. Козел отпрыгивает.

— Сатана, — говорит Людвиг.

Козел поднимается на задние ноги, взбрыкивает передними, фыркает, показывает свою мужскую силу. Теперь он косит фиолетовый глаз в сторону мальчиков, плюется, упрямо жует губами, высовывает язык, продолжает фаллический свой танец.

С земли волосатый козел кажется огромным. Людвиг бросает камень. Козел убегает.

Дорога вновь притягивает взгляды мальчиков. Татары уже близко. Видны их худые, заросшие лица. Крестьяне идут медленно, словно сил нет идти быстрее.

Мальчики переглядываются.

Воняет козлом. Все сильнее воняет. Он приближается сзади. Людвиг первым его замечает. «Сатана», — шепчет побелевшими от злости губами. Его мутит от ненависти, страха и отвращения. Он вскакивает с земли, выхватывает из-за пазухи камни, бросает в татар. «Давай! — кричит младшему брату, срывая голос. — Давай!»

Татары ладонями защищаются от камней. Камень попадает в лоб старику. Над бровью белеет ссадина, постепенно розовея, наливаясь кровью. Братья бросаются наутек.

Камни мешают бежать. Мальчики выдергивают из штанов рубашки. Камни сыплются на дорогу, как горох из бегущих коз.

Обогнули тутовую рощу. Шум в ушах заглушил стрекот цикад.

Пересохшая земля пружинит под ногами, пыль взвивается фонтанчиками, будто кто-то стреляет мальчикам вслед. Младший спотыкается, падает.

— Эй, — наклоняется к нему брат, — ты что?

Упавший слова не может вымолвить, корчится от боли, перекачивается с боку на бок. Его движения мучительно замедленны, как во сне. Людвигу недавно снился такой сон: дьявол мучил священника. Священник висел в воздухе перед входом в церковь и медленно извивался.

— Ударился?

Младший задирает штанину. Коленка разбита в кровь. Штанина намокла.

— Не бойся, тебя не накажут, — успокаивает брата Людвиг. — Меня бы на целый день за грамматику посадили. Тебя отец не накажет, потому что ты

нервный. Врач тебя не велел наказывать. Идти можешь?

Младший брат садится под дерево, прислоняется к широкому, черному стволу. Прислушивается. Погони не слышно. Цикады звенят.

— Почему татары наши враги? — в который раз спрашивает мальчик.

— Турки, татары, персы — это одно, — отвечает Людвиг. — Одна у них вера, один бог. А у нас другой.

— Папа не верит в бога.

— Он для них все равно гяур, неверный.

«Это мне в наказание», — думает младший.

Коленка распухла, перестала кровоточить.

Поднялись с земли. Больно идти, но надо. Время обеда.

Дальним путем решили идти, чтобы татар и отца не встретить. В обход. Если засадят за грамматику или стихи учить — сдохнешь со скуки.

Вышли на вершину холма, откуда видны мельница, сад. Белые полотнища, на которые стряхивают туту, лежат под деревьями, как снег. Здесь не так душно, как в роще. Дует ветерок, и нет этого запаха, от которого становишься злым.

Добрались. Мать у плиты хлопочет.

Мальчики видят татар. Сидят рядом с отцом в тени дерева, поджав под себя ноги. У каждого тарелка с тутой. Отец угощает.

Мальчики прячутся за деревьями. Ничего не слышно. Ни слова. Цикады все заглушают. Тихо говорят татары. Тихо спрашивает их о чем-то отец.

Младший неотрывно следит за рукой старика, за его тонкими, длинными пальцами, в которых, чудится, цепенет что-то живое — гусеница, бабочка, жук.

Мать застыла у плиты под навесом. Будто спяной чувствует присутствие сыновей, боится выдать их. Татар боится. Отца боится. Всего на свете боится.

Татары съели туту. Тарелки пусты. Встают, кланяются. Мать сует им лепешки в дорогу. Как бы незаметно от отца, с его молчаливого согласия. Видно, не догадались, в чей дом пришли, кто напал на них по дороге.

Цикады стрекочут.

Мать у плиты, худая, безропотная, молчаливая.

Отец, еще молодой, сидит в тени тутового дерева.

Слышно блеяние коз.

Волю втаскивают на пригорок повозку.

Нягиджан — сладкое село Няги.

— Пошли,— шепчет Людвиг, и они выходят из своего укрытия.

— Где пропадаете? — весело спрашивает отец.

Малыш — самый маленький из братьев — возится в земле, ни на кого не обращая внимания.

— Обедать пора,— говорит отец и идет проверить, как курится водка.

Людвиг идет вместе с ним.

Младший подходит к матери, обнимает ее за плечи, прижимается лицом к спине. Щекой чувствует жесткие ребра. Кажется, она такая тонкая и слабая, что сейчас упадет и больше не встанет. Так будет казаться всегда, и через пять, и через двадцать лет.

Мать оборачивается, берет сына за плечи, пытается заглянуть в глаза, но мальчик не дается, прижимается мокрым лицом к ее животу.

— Что случилось, Богдан-джан? Что случилось?

Он не отвечает. Мать гладит прямые жесткие волосы, тяжело вздыхает. Будто кто-то невидимый уже прибегал к ней, рассказал, что случилось.

— Ох и трудно будет тебе жить на свете, Богдан-джан. Очень уж нежный ты у меня, чувствительный...»

ГЛАВА II

Незавершенный этот отрывок не более чем попытка войти в стихию будущей книги.

Хотя далеко не всегда можно теперь расположить в хронологическом порядке содержимое четырех туго набитых папок — итог многолетних усилий по составлению «Хроники одной жизни» (жизнеописание Фаро Кну-нянц) и той папки, для которой даже название не было придумано (жизнеописание Богдана Кну-нянца), — есть все основания полагать, что начал Иван Васильевич именно с нее, но потом оставил ради «Хроники одной жизни». Некоторые комментарии писались, по-видимому, одновременно и лишь хранились отдельно.

Умер Иван Васильевич в начале осени 1973 года. Из-за отсутствия наследников все его немногочисленное имущество, самая ценная часть которого состояла из этих вот потертых папок с зелеными разводами, попала в квартиру бабушки.

«Самая ценная часть», — говорю я теперь, а тогда мы с мамой всерьез раздумывали над тем, что делать с таким угрожающим количеством исписанной бумаги.

— Может, ты возьмешь их себе? — робко спросила бабушка, не без оснований опасаясь, что ближайшим же летом, когда она уедет на дачу, папки бесследно исчезнут в результате усилий моей мамы по наведению чистоты в доме.

— Может, они пригодятся тебе как писателю? — польстила мне бабушка.

— Верно, сынок.

— Но у нас их негде хранить, — возразил я.

— Отдашь пионерам, — шепнула мама. — А пока за-бери, успокой бабушку.

Если не ошибаюсь, такой разговор состоялся поздней осенью или даже зимой 1973 года.

Это был трудный для меня год. Обстановка в научно-исследовательском институте, где я работал, стала почти невыносимой. Я чувствовал, как что-то медленно разрывалось внутри меня. Среди ночи неизменно просыпался, вставал, бесцельно бродил по квартире. Брал стул, усаживался рядом с папками, которые в полутьме напоминали замшелые плиты на старом кладбище, и погружался в этот странный, давно ушедший мир слов, образов, звуков.

Часы стучали оглушительно. Строки рукописи, сбегая со страниц и сливаясь в одно целое, превращались поначалу в неясные, а затем во все более контрастные картины: детство героя, юность героя...

Ближе к осени семья возвращалась из деревни. В Шуше было прохладнее, чем в Нигиджане, а на горе, где стоял их дом, вовсе холодно. Ветер дул утром, днем, вечером, не переставая, время от времени донося со стороны казармы, где постоянно квартировался русский пехотный полк, лязг ружейных затворов, звуки команды или хриплого солдатского пения. Бывало, с улицы слышалось:

— Эй, господа хорошие, хлеб менять!

В доме начиналось оживление:

— Мама, солдат пришел!

— Перестаньте, — успокаивал детей отец. — Чем плох лаваш? Глупо менять белый хлеб на черный.

— Хлеб, хлеб, — повисал у матери на руке Тигран. — Хочу черный.

И четырехлетняя Фаро начинала канючить:

— Хлеп. Русский хлеп.

И старшие туда же:

— Мама, дай, мы пойдем поменяем,

Людвиг брал у матери пять полотнищ тонкого лава-ша, прикидывал, взвешивал на руке.

— Подождите! — кричал из открытого окна Богдан. — Сейчас спустимся.

Солдат топтался у ворот, ждал. Во дворе Жучка таякала, виляя хвостом, а когда мальчики вышли из дома, опрометью бросилась им навстречу.

— Пошли хлеб менять, — потрепал ее по шерсти Богдан.

Жучка радостно завизжала. Щенок еще.

Солдат оказался чуть менее бравым, чем на страницах школьных учебников, и не таким стройным, как любовью из оловянных солдатиков, которыми до сих пор играл Тигран. Мятая, пыльная, выцветшая гимнастерка, стоптанные сапоги, хитроватые глазки. Оглядел мальчиков, подмигнул, полез в мешок, покопался, вытащил полбуханки.

— Вот, держи.

Громко сказал, будто опасаясь, что армянские мальчики не поймут.

— Всего-то? — присвистнул Людвиг.

— Вот-вот, — как бы не понял солдат, протягивая руку за лавашем.

Людвиг отделил два полотнища.

— Ты чего это? — удивился солдат.

— За полбуханки, — объяснил Людвиг.

— Так ведь это, ну... — попытался объяснить на пальцах солдат, будто мальчики были глухонемые или совсем непонятливые.

Людвиг догадался: ошибся солдат, не на тех напал.

— За буханку — четыре штуки, — схитрил он. — Так нам меняют.

— Так ведь хлеб... — попытался договориться солдат.

Он заискивающе улыбался, не зная, как еще объяснить,

— У вас-то земля вон какая, а у нас... вон он какой черный... Плохо растет.

— Положим,— сказал Людвиг,— все равно, что сеять, пшеницу или рожь.

— Поди ж ты, образованные. В школе учитесь?

— В реальном училище.

— Татары-то мне так меняют,— наконец нашелся солдат.

— К ним тогда и иди, дяденька.

Людвиг знал, что к татарам солдат не пойдет. К татарам далеко идти. Солдаты всегда здесь хлеб меняют: пять штук за буханку. Этот первый раз пришел. Не на тех напал.

— Чего же ты, мальчик,— снова заулыбался солдат.— Давай уж. Чего там.

Солдат достал из мешка еще полбуханки.

— В таком случае,— сказал Людвиг,— вот еще две.

— Иерек,— заметил Богдан по-армянски.— Три дай. За буханку пять штук. Они так меняют.

— Ну его,— тоже по-армянски ответил Людвиг.— Он и за четыре отдаст.

— Так нечестно,— сказал Богдан.

— Больно он сам честный,— отгрызнулся Людвиг.— Нас хотел обмануть.

— Отдай ему все. Жалко его.

Солдат смотрел на расшумевшихся мальчиков и не понимал ни слова.

— Возьмите,— обратился Богдан к нему, кивнув на оставшийся лаваш.— За буханку пять штук дают.

Людвиг нехотя передал солдату лаваш. Тот с удивлением глянул на мальчиков, порывшись в мешке, достал хлебный мякиш и принялся разминать его в одной руке своими грубыми, заскорузлыми пальцами. Потом положил мешок на землю рядом, у мощенной каменными плитами дороги.

Людвиг подумал: что это он?

Во дворе раскудахтались куры.

Богдан спросил:

— Почему у вас плохо растет?

— Не ленились чтоб,— отвечал солдат.— Не от росы урожай, а от поту. Вот тебе что,— протянул он Богдану ловко слеplенную фигурку черта.— Довесочек. Нынче от черта больше проку, чем от иконы святой. Прости, господи,— перекрестился солдат.— Бог-то у нас с вами один?

— Один,— согласился Людвиг.

— Стало быть, и черт один,— засмеялся солдат.

Я с трудом разбирал многочисленные рукописные вставки Ивана Васильевича, его мелкий, отрывистый, неряшливый почерк, испытывая суеверный страх, опасливое чувство, точно, ныряя на большую глубину, боялся, что не хватит воздуха в легких. Казалось, что под этим нагромождением папок погребено мое детство и еще более далекое прошлое — вся предыдущая жизнь. В давних бабушкиных записях я узнавал грустные, улыбающиеся, смеющиеся лица близких, знакомых, друзей — постаревшие, поблекшие, а то и вовсе исчезнувшие лица тех далеких, полузабытых лет.

В соседней комнате вскрикивала во сне дочь, бормотала что-то невнятное и утихала.

Временами у меня возникало такое чувство, будто смерть владельца папок опустошила, разорила, распродала с молотка все, что по крохам копилось годами, а теперь никому не было нужно. Почти инстинктивно тянулся за карандашом, чтобы исправить явные огрехи, описки, как если бы они принадлежали мне, пытался устранить длинноты, вставлял или вычеркивал одно-два слова, стараясь сделать фразу более ясной, емкой и вы-

разительной. Словно, слушая знакомую песню, тихо, одними губами, пробовал подпевать.

На самом деле песня была незнакома мне. Ее непривычная мелодия то смущала, то неодолимо влекла к себе. Во всяком случае, в ней бесследно растворялось то мелкое, повседневное, что мучило еще недавно. Мощная воронка истории засасывала утлую мою ладью в иные, не обозначенные на современной карте моря. Катастрофически расплывавшийся узел начал затягиваться на глазах сам собой.

Иногда я переписывал отдельные страницы. Так складывались первые главы книги. Нечаянно превратившийся в каторгу труд по монтажу тысяч страниц разнотипных текстов не отпускал меня от себя более ни на шаг. Долг, услада, рабство, принудительное лечение — как только не называл я затянувшиеся мои занятия с «Хроникой одной жизни».

Приходилось несколько раз перечитывать записи, а затем, вспоминая, как бы отходить на достаточное расстояние, чтобы увидеть поначалу неразличимое — казавшуюся вблизи безалаберной мозаику цветных пятен.

Одно из таких пятен, сначала размытое, потом все более прояснявшее свои очертания, — двухэтажный дом с галереей. Яркое белое пятно на темном фоне шумной горы.

Учитель женской мариямян-школы парон¹ Каприель, чей дом стоял ниже и правее, под самыми русскими казармами, в нескончаемых спорах с преподавателем реального училища пароном Хачатряном, жившим неподалеку от бульвара, где большей частью и проходили подобные споры, нередко в качестве последнего довода,

¹ Парон — господин (арм.).

как дуло пистолета, гневно устремлял свой длинный указательный палец именно в ту сторону, и его оппоненту было всякий раз невозможно понять, куда именно целит парон Каприель: в трубу собственного дома, в окно казармы или в один из цветочных горшков на галерее высоко стоящего на горе двухэтажного дома.

— В школах нашего города, — говорил парон Каприель, — должно происходить формирование будущих борцов за свободу армянского народа.

Он так напрягал указательный палец, что тот выгибался вверх. И хотя здесь никого нельзя было удивить горячностью суждений, опасение окружающих, что парон Каприель может вывихнуть палец, было отнюдь не беспочвенным.

— Разве Шуша — это город? — желчно возражал ему парон Хачатрян.

— А что же, по-вашему, она такое?

— Так, населенный пункт. Крошечная точка на карте, о существовании которой даже не догадывается большая часть человечества.

— И этому человеку, — возмущался парон Каприель, — доверяют воспитывать молодежь!

Их окружала толпа зрителей, что свидетельствовало о некотором интересе гуляющих к существу обсуждаемой проблемы.

— Слишком высокопарно звучит, парон Каприель. Что значит «доверяют воспитывать молодежь»? Как и вы, я просто работаю учителем.

— Приравнивать высокое призвание наставника к обычной профессии! Ну, это уж вы совсем через край хватили. Не кощунствуйте, парон Хачатрян. Если священный жар не горит в вашей груди, вам не место в школе. Лучшие учителя кладут на алтарь просвещения свою жизнь и свободу. Достаточно вспомнить парона Вагршака. Я больше не буду распространяться на эту

тому. Пример доблестного парона Вагршака говорит сам за себя.

Теперь спорщики опустились на скамейку, и палец одного из них продолжал ритмически перемещаться, будто настойчиво отыскивая слабое место в земле, чтобы проткнуть ее насквозь.

— Это не я, а вы через край хватили, парон Каприель. Слышали? Мне не место в школе. Как вам это нравится?

— Я не хотел вас обидеть, парон Хачатрян, и только намеревался сказать об опасной тенденции, которая все чаще дает себя знать. Ведь гибель идеалистических устремлений под натиском... под натиском... Словом, человек не может жить без души, без веры, без бога.

— И ты так считаешь, мой мальчик? — обратился парон Хачатрян к юноше, прислушивающемуся к спору взрослых. — Ты тоже считаешь, что жить без бога нельзя?

— Это возмутительно, — заметил кто-то. — Это безнравственно — впутывать в такие диспуты молодежь.

— Кто он такой? — вспыхнул парон Каприель.

— Мой лучший ученик. В этом году с отличием закончил реальное училище. Поди, Богдан, сядь со мной.

Когда юноша сел, он положил руку ему на плечо и обратился к парону Каприелю:

— Вот все, чего мы можем с вами добиться, парон Каприель. Но вы глубоко заблуждаетесь, утверждая, что здесь, в нашей провинции, мы в состоянии на что-либо повлиять. Если судьба народа и будет решаться, то, конечно, не здесь. Он — лучший из учеников, — привлек учитель юношу к себе. — Однако что из него получится? В семнадцать лет человек являет собой кусок сырой глины, парон Каприель. Не обижайся, мой мальчик, я всего лишь говорю правду.

Семинаристы, важно прогуливаясь по аллеям с палками в руках, ревниво поглядывали в сторону спорящих, поглотивших всеобщее внимание.

— Своим опрометчивым заявлением вы бросаете вызов общественности, парон Хачатрян. Шуша не провинция, а культурный армянский центр.

Парон Хачатрян, казалось, не слушал.

— Так что же ты надумал, мой мальчик? — спросил он у юноши.

— Поеду в Тифлис.

— А как же твой брат-двойничок?

— Вместе поедem.

— Неразлучные по-прежнему неразлучны, — заметил учитель.

— Парон Хачатрян, я к вам, кажется, обращаюсь.

— Слушаю вас, парон Каприель.

— Еще раз повторяю: Шуша — это культурный армянский центр, способный дать армянскому народу достойных сыновей и дочерей. Орлов, которые высоко поднимут знамя армянского народа.

Вот тут-то парон Каприель и направил свой длинный палец в сторону двухэтажного дома с галереей. Десятилетняя девочка, стоявшая подле брата, которого парон Хачатрян усадил на скамейку, с любопытством следила за рукой учителя, описывающего широкую дугу, но не увидела в небе ни орлов, ни знамени. Только ласточки летали над самыми деревьями, и одной из них был, видимо, недавно умерший от туберкулеза соседский мальчик Гули. Он сам говорил, что после смерти превратится в ласточку.

— Чем вы собираетесь заниматься в Тифлисе? — обратился учитель реального училища парон Хачатрян к юноше.

— Будем давать частные уроки.

— Хорошо. А дальше? Заработаете денег, вернетесь в Шушу учителями. Станете учить малышей уму-разуму, будете внушать им, как важно учиться, и пообещаете, что когда они вырастут, то превратятся в орлов. Не так ли?

— Вы злой человек, парон Хачатрян, — не выдержал учитель Каприель. — Вы не верите в будущее армянского народа, в прогресс.

— Я верю только в настоящее, парон Каприель.

Спустя полгода парон Хачатрян заболел. Он лег на кушетку, отвернулся лицом к стене, и как ни старались домохозяды отвлечь его от грустных мыслей, парон Хачатрян не захотел взглянуть на них. Он так и умер без веры в будущее, словно бы только затем, чтобы доказать своей смертью справедливость слов парона Каприеля о невозможности жить без веры.

В бумагах Ивана Васильевича хранились многочисленные записи рассказов, большая часть которых сопровождалась пометкой «сомнительно», сделанной рукой собирателя. Человек, названный в одном месте Меликонидзе, а в другом Меликоняном, рассказывал, например, о том, как Богдан занимался с ним, гимназистом Меликонидзе-Меликоняном, в течение учебного года русским языком, историей и математикой. Рассказ не имел вышеуказанной пометки и, скорее всего, относился к 1895 году, то есть ко времени первого приезда братьев в Тифлис. В той же папке я обнаружил небольшие фотографии с репродукций двух картин Нико Пиросмани — «Кутеж трех князей» и «Миллионер бездетный и бедная женщина с детьми». Фотографии были черные, передержанные, никуда не годные. Мрачные лица трех сосредоточенно веселящихся на лугу грузинских князей, а также их высокие барашковые папахи почти сливались с

фоном горы, напоминающей грубо раскрашенный макет поперечного разреза земли в школьном кабинете естествознания. Означало ли присутствие фотографий в папке намеков на знакомство семнадцатилетнего шущинца с безвестным тогда тридцатидвухлетним оформителем тифлисских духанов? И если да, то следовало ли понимать это знакомство в политическом аспекте, то есть как наглядную иллюстрацию раннего приобщения будущего революционера к «заботам и нуждам простого трудового народа», о чем говорится во всех статьях о Богдане Ми-наевиче Кнунянце — младшем из Неразлучных?

Двойнички, или Неразлучные (определение парона Хачатряна), приехали в Тифлис в самом начале осени, захватив с собой немного денег, совсем мало вещей и несколько рекомендательных писем.

Цветение роз. Благоухание Ботанического сада в глубоком и узком ущелье реки Цавкиси, прижатой Салалакской горой к самому Таборскому хребту. Живописные изгибы Коджорской дороги. В таком красивом месте находился новый дом богачей Меликонидзе, где младший из Неразлучных получил выгодный платный урок.

Теплый город Тбилиси. Старый город Тифлис.

— Идите за мной, — говорит гимназист Меликонидзе и встает из-за стола, за которым они проскучали уже добрых полчаса.

— Да нет уж, потом как-нибудь, — невозмогая любопытство, возражает свежевыбритый репетитор.

— Я покажу.

— Родители будут недовольны. Заниматься надо.

Тем временем они уже идут — гимназист впереди, за ним репетитор — по длинному коридору дома, сочетающего в себе элементы ренессансной, мавританской и

классической архитектуры, а также нарождающегося стиля «модерн», — в пристройку первого этажа.

— У брата настоящая химическая лаборатория, — хвастает гимназист Меликонидзе. — Он опыты производит.

Миновав небольшой переход с разноцветными стеклами, молодые люди останавливаются, чтобы перевести дух.

— Не бойтесь, там сейчас никого нет, — уверяет гимназист Меликонидзе. — Я его только что видел в саду.

— Чего же бояться? — скрывая смущение, с достоинством отвечает репетитор.

Гимназист тянет на себя ручку двери, они входят почему-то на цыпочках, и в нос ударяет кислый запах перебродившей тины.

— Здесь что, спирт гонят? — интересуется репетитор, вытягивая тощую шею, дабы обнаружить среди склянок, тренажиков, колб, щипцов, зажимов и других железных приспособлений знакомый медный змеевик.

— Он тут наукой занимается, — обижается гимназист. — Вот, к примеру, зонт, который соединен с электрическим мотором. При опытах вредные испарения удаляются из лаборатории. Спирт тут ни при чем.

Гимназист явно доволен тем, что репетитор не угадал. Не все ему учить. Не он один такой умный. И всего-то старше на пять лет. Пусть не воображает.

— Стало быть, брат ваш химик.

— В Одесском университете учится. Я вас потому и привел, что завтра он уедет, дверь запрет, и тогда невозможно будет зайти посмотреть. Эту лабораторию ему подарил папа по случаю успешного окончания третьего курса. Ее сюда из Германии доставили.

— Гм! — слышится за их спинами.

Гимназист Меликонидзе и его репетитор вздрагивают от неожиданности и разом, как по команде, оборачиваются к двери.

— Ты понимаешь, — опустив глаза, начинает мямлить гимназист, — Богдан Мирзаджанович хотел...

Все это вранье. Ничего такого он не хотел. И не просил. Гимназист сам предложил.

— Что ж вы стоите? Присаживайтесь.

Студент Меликонидзе садится в кресло, складывает на груди руки, покачивает ногой. Его маленькая аккуратная бородка подрагивает.

Неловко молчать.

— Какими, интересно знать, исследованиями изволили заниматься? — спрашивает репетитор.

— Надкислотами, если вам это о чем-нибудь говорит.

— Ровным счетом ни о чем, — признается Богдан.

— Очень модная тема, — замечает Меликонидзе-старший, весело оглядев молодых людей. — А вы, я слышал, приехали из Шуши?

— Мы вместе с братом приехали. Он по болезни отстал и будет сдавать экстерном в Тифлисском реальном училище.

— А сами? Думаете продолжать учение?

— Да.

— И в каком направлении?

— Пока еще не решил.

— Тогда ступайте по химической линии. С одной стороны, это не так скучно, как математика, а с другой — не так глупо, как журналистика.

— Разве плохо быть литератором?

— Словоблудие — тягчайший грех. Впрочем, среди моих приятелей имеются и такие, кто пописывает в местные газетенки. Могу вас, кстати, с ними свести. Полезные знакомства. В Тифлисе трудно прожить без полезных знакомств. Приходите сегодня вечером вместе с братцем. Будет много разного люда. Так что приходите. И давайте, наконец, познакомимся. Меня зовут Гиви.

Погружение в историю, как и посещение кислотопахнущей частной лаборатории Гиви Меликонидзе, оказывало не только целебное, но, как ни странно, омолаживающее действие.

Начавшие было появляться седые волосы выпали, выросли молодые, темные, морщины разгладились. Правда, я практически ежедневно соприкасался в лаборатории с веществами, являющимися потенциальными геропротекторами, которые, как известно, подавляют внешние признаки старения, выполняя при этом роль косметических средств. Однако занятия с бумагами Ивана Васильевича, прикосновение к далекой жизни, наполненной идеалами и ставшей историей, возвращали юношескую твердость духу, удаляли неизбежную накипь скептицизма, странным образом переводили стрелки часов назад. Мучительные сомнения, усталость и равнодушные — все это отодвинулось в необозримо далекое будущее.

Содержимое четвертой папки напоминало голый, просвечивающий остов недостроенного дома, покинутого строителями в самый разгар работы. Отпечатанные на пишущей машинке страницы соседствовали с рукописными, а последние чередовались с копиями различных документов, включающих немногочисленные сохранившиеся письма Богдана к его жене Лизе и ее письма к нему. Словом, все это было похоже и на недошитый костюм с булавками, белыми нитками и пометками мелом.

В конце концов, ничего удивительного: книга писалась большим авторским коллективом. Сначала Богдан, проживший свою жизнь так, как он ее прожил. Затем бабушкины дневники. Наконец, то, что собрал и написал Иван Васильевич и дополнил я. Мы все оказались скованы общей цепью сюжета.

Сегодня, 14 июня 1977 года, приступая к завершению этого коллективного труда, я вспоминаю те давние

почи, которые решили судьбу литературного архива старика Шагова. Неистовое многоголосие всех имеющихся в доме часов, образ времени, воплотившийся в некое подобие бесконечного шурупа, легкими отрывистыми движениями вкручиваемого в бесконечную толщу стены, а также сон, приснившийся мне в одну из тех давних ночей.

Во сне я видел площадь, заполненную огромным числом незнакомых людей, к которым я хотел обратиться с разъяснительной речью. Зачем? О чем?

Бабушка Фаро стояла в стороне, с грустью смотрела и боялась за меня.

Я узнал в толпе Ивана Васильевича. Он скептически покачал головой и исчез. Ему на смену пришли многие шушинцы, петербуржцы, бакинцы, москвичи, с большимством из которых я был знаком лишь заочно, понаслышке. Я стоял на возвышении, искал кого-то в толпе и не находил, хотя все участники митинга были хорошо видны мне. Случайно я бросил взгляд к подножию трибуны и заметил, что сквозь толпу пробирается невысокий человек, которого я принял сначала за дядюшку Валентина. Человек снял шапку, его прямые, расчесанные на косой пробор волосы упали на лоб, и я тотчас догадался, что это он.

Следом шли братья: Тарсай, Людвиг, Тиграп. Они поддерживали под руки отца и мать и вели их сквозь толпу к трибуне. Людская масса нивелилась, люди выходили на возвышение, а толпа редела, будто кто-то тянул за нитку, распуская клубок. Среди поднявшихся я узнал Марию Семеновну Бекзаян, а также дочерей Аршака Зурабова и Левона Атабекяна, жен Лукашина и Тер-Габриэляна. Огромная шляпа красовалась на величественной голове Марии Семеновны. Она чуть заметно кивнула мне и ласково улыбнулась. Я что-то хотел сказать, чего не успел сказать при ее жизни, но в это время

меня окликнула Елизавета Борисовна — жена Дмитрия Постолюковского.

Люди шли непрерывным потоком. Когда поднялись все знакомые, я хотел было начать свою речь, но вдруг обнаружил перед собой пустое пространство. Внизу никого не осталось.

Я вздрогнул и проснулся. Светало. Горела лампа. Все тепло из комнаты выдуло. Было зябко и сыро. Поясница пыла от неловкого сидения в кресле.

• • • • •
Те странные осенние дни следует, видимо, считать днями вынашивания замысла будущей книги. Даже не замысла — звуков, каких-то обрывков фраз, проплывавших перед глазами. Зима подступала. Листья деревьев неслышно падали на землю, их скручивало и уносило ветром. Они скребли, цепляясь острыми краями за асфальт, точно их волокли на казнь, а они упирались.

Недалеко от станции метро «Бауманская» шла большая стройка. В центре строительной площадки возвышался каркас купола, будто здесь восстанавливали разрушенный землетрясением Звартноц. По периметру располагались вбитые в землю сваи. Голая, еще не выявленная конструкция напоминала остов доисторического чудовища.

ГЛАВА III

Вечером накануне отъезда Гиви из Тифлиса Неразлучные явились в дом Меликонидзе в Салалаки. Народу собралось великое множество, будто свадьбу праздновали, а не студента в университет провожали. Пили вино, гуляли в саду, спорили, зажигали свечи, на пари ходили по невысокому парапету — кто пройдет от начала до конца и не свалится.

— Ты спрашиваешь, кто я! — кричал Гиви, обращаясь к кому-то и сжимая в кулаке рюмку. — Я радикал. А вот ты, — целился он пальцем в грудь маленького тщедушного человека по фамилии Гульдин, — ты гнилой либерал, вот кто. Эй, Богдан, поди-ка сюда. Мы давеча о нем с тобой говорили. Так познакомься.

Кто-то полушепотом сзади:

— Хорошо быть радикалом с папочкиными миллионками.

— Что? — решительно обернулся Гиви, но в это время чья-то мягкая, теплая, дружеская рука опустилась ему на плечо.

— Гиви, дорогой, давай выпьем.

Кто-то о ком-то:

— Он ведет себя как несусветный нахал или гений.

Фраза, как пар, отлетела от губ и растаяла в темном тифлисском небе. Так что и предыдущее могло быть сказано не о нем.

Рука продолжала лежать на плече. Она пролежала ровно столько, сколько понадобилось хозяину дома, чтобы окончательно успокоиться. Сгустившийся было запах скандала рассеялся.

— Эх! — выдохнул Гиви, вновь размыскал глазами Неразлучных и направился к ним.

Они были новенькие, неиспорченные, они еще могли

чему-то удивляться, радоваться, кого-то уважать, внимать речам старших.

— Пойдемте со мной,— сказал он.

В лаборатории пахло кислым еще сильнее, чем днем. Едва державшийся на ногах Меликонидзе зажег верхний свет и велел братьям надеть халаты.

— Работать будем,— объяснил он. — Остальные пусть пьют. Ничего, кроме этого, не умеют. Только пить да власти ругать. А нужно... пужно все это к черту взорвать!

Непослушными руками Гиви взял закрытую пробкой колбу с какими-то желтоватыми влажными кристаллами, похожими на смоченный мочой сахарный песок, встряхнул ее и поглядел на свет.

— Вот,— сказал,— из этого бомбу сделать можно.

Заговорщически подмигнув Богдапу и Людвигу, Гиви опустил колбу на стол, чуть не разбив.

— А они,— добавил он с пьяным смешком, ткнув пальцем в ту сторону, где веселились гости,— только разговаривать умеют. Гуманитарии. Либералы. Они понятия не имеют о том, как устроена ма-те-ри-я. Не знают даже, что такое мо-ле-ку-ла. О чем можно разговаривать с подобными типами? Любому дай сто тысяч — и забудет про весь свой либерализм. Им денег на жизнь не хватает. Все их идеи от этого. Они о справедливости беспокоятся. Будто поровну — это справедливо. Один дурак — другой умный. Один бездарный — другой талантливый. Один лентяй — другой работающий. Один пьет — другой в дом несет. И что же, всем поровну?

— Раз богатый, так и непременно умный? — возразил Людвиг.

— Э-э-э, погодите,— поморщился Гиви, будто его заставляли снова пить водку, тогда как пить он уже

не мог. — Я вам кое-что дам почитать. Как раз до весны хватит. Весной приеду, тогда и поговорим.

Гиви покопался в ящике стола, извлек из него несколько брошюр по химии и уронил на пол толстую книгу в кожаном переплете.

— Вот, держите. Ее, кстати, написала весьма радикально настроенная личность. Немецкий ученый Карл Маркс. А теперь давайте обработаем эту надкислоту. Растворим, закристаллизуем, высушим и... взорвем все к черту. Устроим маленький фейерверк.

Но почему-то раздумав вдруг растворять, кристаллизовать и взрывать, Гиви повелел своим юным друзьям снять халаты и вместе с ним подняться на второй этаж в залу, к гостям, тогда как совместные химические опыты было решено отложить до ближайшего лета, когда хозяин лаборатории вернется на каникулы из Одессы.

— Я из вас сделаю настоящих химиков, — пообещал он.

На следующий день студент Меликонидзе отбыл из Тифлиса, гимназист Меликонидзе продолжил занятия с платным репетитором, а мимолетное знакомство с Гульдиным и впрямь оказалось полезным. Гульдин предложил Богдану написать для местной газеты какую-нибудь заметку на общекультурную тему.

— Что-нибудь кавказское, — пояснил он, неопределенно покрутив рукой в воздухе.

«Что-нибудь кавказское» написалось в один присест, ибо сразу нашлись и тема, и удачная интонация — лапидарный стиль, замешанный на иронии, так что вскоре ему заказали еще несколько заметок с новых книгах и театральных постановках.

Впервые выправляя газетные гранки, начинающий автор с трудом верил в то, что эти остро пахнущие типографской краской, грубо обрезанные, шершавые листы второсортной, серой бумаги возникли почти из шутки,

из случайного разговора на вечеринке. Чудо превращения баловства в дело, итога скорее забавного, нежели обременительного труда — в некий феномен общественной жизни произвело на юного репетитора столь сильное впечатление, что картинки будущей жизни закружились перед ним, как яркие лопасти детской бумажной вертушки.

Впрочем, уничижительная реплика студента Меликонидзе в адрес литераторов не могла не оставить заметного следа в чуткой душе репетитора, а привычка к серьезному чтению делала всякое сопоставление иных трудов с собственными литературными упражнениями столь невыносимым, что впору было отречься от писательства.

Он рвался в Петербург. Столица стала его ближайшей жизненной целью. Штудирование «Капитала» двигалось понемногу, постепенно расширялся круг чтения и круг знакомств. Он рос стремительно.

Ближе к весне юного репетитора — одного из многочисленных репетиторов, скитающихся по богатым кварталам Тифлиса ради нескольких десятирублевых уроков, — начала терзать неодолимая потребность настоящего дела, серьезной деятельности. Подобно тому как химические опыты с надкислотами студента Меликонидзе явились как бы прообразом тех опытов с органическими перекисями, которые нашему будущему естествоиспытателю суждено было поставить в петербургской лаборатории доцента Технологического института Виктора Никодимовича Филиппенко, сотрудничество в газете приоткрыло завесу над тем делом, определенного названия которому он еще не умел дать.

Очень скоро писание статей на общекультурные темы перестало удовлетворять его, поскольку собственно культурная работа обещала дать реальные, положительные результаты в слишком далеком будущем.

Вчерашний выпускник реального училища спешил. Ему требовалось нечто весьма радикальное, как говорил студент Меликонидзе, нечто эффективное и быстродействующее. И когда летом в Шуше он возобновил занятия год назад организованного кружка молодежи, состоящего из учащихся старших классов реального училища, то им прежде всего руководила надежда выявить, найти, обнаружить это радикальное в себе самом, в окружающих, а также в тех исторических, философских или литературных текстах, которые реалисты читали вслух, реферировали и обсуждали.

Два или три занятия, проходивших на веранде двухэтажного пушкинского дома, были посвящены греческой истории, в частности отрывку из «Истории» Ксенофонта, где описывалась гибель Ферамена.

— «Первое время Критий был единомышленником и другом Ферамена», — читал один из членов кружка, реалист Тер-Саркисов.

У него был звонкий, красивый голос, и поэтому читать тексты вслух обычно поручали ему.

— «Когда же Критий стал склоняться к тому, чтобы казнить направо и налево, не считаясь с количеством жертв, так как сам он пострадал от афинской демократии, будучи изгнанным, Ферамен стал протестовать: «Пехорошо, — говорил он, — казнить людей, вся вина которых в том, что они пользовались популярностью в массе».

Критий, который был тогда еще другом Ферамена, возражал ему на это: «Честолюбивые люди должны стараться во что бы то ни стало устранить тех, которые в состоянии им воспрепятствовать. Ты очень прав, если полагаешь, что для сохранения власти за нами надо меньше предосторожностей, чем для охранения всякой иной тирании: то, что нас тридцать, а не один, несколько не меняет дела».

Некоторое время спустя, после того как было казненно много людей, часто совершенно невинных, и повсюду можно было заметить, как сходятся граждане и с ужасом спрашивают друг друга, какие новые порядки их ожидают, Ферамен снова выступил с речью, говоря, что без достаточного количества политических единомышленников никакая олигархия не может долго держаться».

Дверь на веранду была открыта, и легкий сквознячок приятно продувал юные души реалистов.

— «При таком положении вещей страх охватил Крития и прочих правителей,— продолжал читать Тер-Саркисов,— особенно же они боялись, чтобы оппозиция не сгруппировалась вокруг Ферамена. Они сочли себя вынужденными допустить к правлению три тысячи граждан по составленному ими списку.

Но и на это Ферамен возразил, что прежде всего ему представляется нелепостью то, что они, желая иметь единомышленниками благонамереннейших из граждан, отсчитали ровно три тысячч, как будто есть какая-то внутренняя причина, в силу которой добрых граждан должно быть как раз столько, и будто вне списка не может оказаться порядочных людей, а в списке — негодеев».

Заметив в дверях стоящего Людвиг, Богдан махнул ему рукой и молча указал на кушетку, где сидело только три человека. Реалисты на кушетке потеснились. Людвиг покачал головой и остался стоять в дверях.

— «Между тем правители устроили смотр граждан. Трем тысячам было приказано собраться на агоре, а прочим — в другом месте. Затем им была дана команда выступить в полном вооружении. Когда они расходились по домам, правители послали лакедемонских солдат и своих приверженцев из числа граждан отобрать оружие

у всех афинян, кроме трех тысяч, попавших в список, снести его на Акрополь и сложить в храм.

После этого правители получили возможность делать все, что им угодно, и много афинян пало жертвой их личной вражды; многие также были казнены ради денег. Чтобы раздобыть необходимые средства для уплаты жалованья гарнизону, они постановили, что каждый из правителей может арестовать одного метэка, убить его и конфисковать его имущество в казну. Они предлагали и Ферамену воспользоваться этим правом, но он возразил им на это: «Не подобает тем, которые именуют себя лучшими гражданами, поступать еще более несправедливо, чем сикофанты».

Тогда прочие соправители, видя, что он является помехой во всех их предприятиях и не дает им управлять по своему произволу, стали злоумышлять против Ферамена, всячески клеветали на него и говорили, что он поносит существующий государственный строй. Был создан совет; на это собрание было приказано явиться с книгами за пазухой юношам, имевшим репутацию наиболее отважных.

По прибытии Ферамена Критий, взойдя на кафедру, пропнес следующую речь:

«Члены совета! У многих из вас, вероятно, появилась мысль, что слишком много гибнет народу, — больше, чем это необходимо. Но примите во внимание то, что так бывает при государственных переворотах всегда и везде. Наибольшее же число врагов сторонники олигархического переворота, само собой разумеется, должны иметь здесь, в Афинах: ведь наш город многочисленнейший в Элладе, и народ здесь наиболее продолжительное время рос и воспитывался на гражданской свободе.

Для таких людей, как мы с вами, демократический строй, конечно, крайне тягостен и невыносим; вдобавок лакедемонянам, даровавшим нам жизнь и свободу, сто-

рошники народовластия спокон века были врагами, тогда как благонадежные слои населения были всегда им преданы. Поэтому-то с одобрения лакедемонян, мы и установили этот государственный строй; поэтому-то, если до нашего сведения доходит, что кто-либо враждебно относится к олигархическому правлению, мы принимаем все возможные меры для устранения таких лиц. А если в рядах носящих новый государственный строй окажется кто-либо из нашей среды, мы должны его преследовать еще более энергично. Такой случай, граждане, ныне налицо: оказывается, что находящийся здесь Ферамен всячески добивается гибели — как нашей, так и вашей».

— Я бы предложил, — прервал Тер-Саркисова ведущий занятие Богдан, — обсудить пока характер политической ситуации, не вдаваясь в психологические подробности спора между Фераменом и Крптием.

— Но здесь все построено на взаимоотношениях характеров, — возразил Гайк Саркисов, сын управляющего лимонадным заводом.

— Давайте же попытаемся оценить объективно.

— Пусть сначала дочитает до конца, — подал реплику Людвиг.

— Здесь немного осталось. — Тер-Саркисов перелистал страницы.

— Хорошо бы все-таки попытаться оценить историю Ферамена с точки зрения противоборства двух сил — олигархической тирании и народовластия.

— Пусть кончит читать, — сказал кто-то с места.

Дул ветерок из открытой двери, искушенные в древнегреческой политике реалисты слушали Тер-Саркисова. Кто-то конспектировал, кто-то смотрел в окно, кто-то уже испытывал жгучее желание выступить и потому обдумывал, что, как и в какой последовательности будет излагать.

— «Правильность нашего поведения,— продолжал тем временем Тер-Саркисов,— видна еще и из следующего. Несомненно, наилучший государственный строй — это лакедемонский. А у них, если кто-нибудь из эфоров не подчинится безусловно постановлению большинства и станет высказывать дерзостное неуважение к власти и противиться ее решениям, он, разумеется, будет подвергнут эфорами и народным собранием тягчайшему наказанию. Если вы действительно мудры, то будьте же более сострадательны к себе самим, чем к нему. Ведь если он избежит казни, это даст повод поднять голову многим нашим политическим противникам, а его гибель отнимет последнюю надежду у всех мятежников, как скрывающихся в нашем городе, так и бежавших за границу».

Этимися словами Критий закончил свою речь и удалился на свое место. Его смешил Ферамен».

Богдана раздосадовало то обстоятельство, что его не послушали и что брат некстати вмешался. В конце концов организатор и руководитель кружка он, а не Людвиг. Старшинство здесь ни при чем. Впрочем, для обсуждения был выбран, пожалуй, малоудачный текст, и дискуссия грозила вылиться в пустую говорильню...

— «Я начну, о мужи,— заявил оп,— с того обвинения против меня, которым закончил свою речь предыдущий оратор... Меня несколько не удивляет, что рассказ Крития не соответствует действительности: ведь когда все описанное происходило, его не было в нашем городе... Только в одном я согласен с Критием: если кто-либо злоумышляет лишить вас власти и содействует усилению злоумышляющих против вас, оп должен по справедливости подвергнуться высшей мере наказания. Но кто из нас так поступает, вы прекрасно рассудите, я в этом не сомневаюсь, если сравните все мое поведение — в прошлом и настоящем — с поведением того же Крития... Критий! Не те люди, которые препятствуют увеличению числа врагов и

дают способ приобрести как можно больше союзников, играют на руку врагу, а, наоборот, те, которые несправедливо отнимают деньги у сограждан и убивают ни в чем не повинных людей, безусловно содействуют увеличению числа противников и своим низким корыстолюбием предают не только своих друзей, но и самих себя...

Еще было выдвинуто им против меня обвинение, что я постоянно готов менять свои убеждения. Критий называет меня «котурпом», так как я стараюсь угодить и нашим, и вашим. Но скажите, бога ради, как же назвать того, который не правится ни тем, ни другим? Ведь ты в демократическом государстве был злейшим врагом демократии, а в аристократическом — злейшим врагом добрых граждан.

Я же, Критий, все время неуступно борюсь с крайними течениями: я борюсь с теми демократами, которые считают, что настоящая демократия — только тогда, когда в правлении участвуют рабы и нищие, которые, нуждаясь в драхме, готовы за драхму продать государство; борюсь и с теми олигархами, которые считают, что настоящая олигархия — только тогда, когда государством управляют по своему произволу несколько неограниченных владык. Я всегда — и прежде, и теперь — был сторонником такого строя, при котором власть принадлежала бы тем, которые в состоянии защитить государство от врага, сражаясь на коне или в тяжелом вооружении.

Ну же, Критий, укажи мне случай, когда бы я пытался устранить от участия в государственных делах добрых граждан, став на сторону крайних демократов или неограниченных тиранов. Если тебе удастся уличить меня в том, что я поступал когда-либо или теперь поступаю так, я согласен, претерпев самые ужасные муки, подвергнуться справедливой смертной казни».

Этимися словами Ферамен окончил речь. Раздался одобрителный гул, и стало ясно, что сочувствие большинства

на его стороне. Критий понял, что если он позволит совету голосовать вопрос о Ферамене, то тот избежит наказания, а с таким решением он никак примириться не мог. Поэтому он, после предварительного совещания с соправителями, вышел из помещения совета и приказал юношам, вооруженным кинжалами, занять места на ограде так, чтобы они были видны членам совета. Затем он вернулся к совету и сказал:

«Члены совета! Я полагаю, что только тот достойным образом защищает своих друзей, кто, видя, что они вовлечены в обман, приходит им на помощь... Согласно желанию всех тридцати правителей я вычеркиваю из списка вышеуказанного Ферамена, и мы предадим его казни собственной властью».

Ферамен, услышав это, вскочил на алтарь Гестии и воскликнул:

«Граждане, умоляю вас оказать мне законпейшую услугу: да не будет Критию предоставлено право вычеркивать из списка по своему усмотрению ни меня, ни кого-либо другого из числа вас. Пусть они судят и меня и вас по тому закону, который они сами составили относительно судопроизводства над лицами, попавшими в список. Этим вы защитите ваши собственные интересы, так как правители с таким же легким сердцем, как меня, могут вычеркнуть каждого из вас».

После этого глашатай тридцати правителей приказал коллегия арестовать Ферамена. Последние явились в сопровождении служителей, начальником их был Сатир, самый наглый и храбрый во всей компании. Тогда Критий сказал:

«Вот мы передаем вам Ферамена, осужденного по закону. Схватите этого человека, отведите его куда следует и поступите с ним так, как полагается вслед за приговором».

После этого Сатир и служители оторвали его от алта-

ря. При этом Ферамен, как обыкновенно бывает в таких случаях, призывал и богов, и людей в свидетели происходящего. Но члены совета не нарушили спокойствия, так как они видели, что на ограде стоят молодцы вроде Сатира, что все пространство перед помещением совета полно гарнизонными воинами, и хорошо знали, что все они вооружены кинжалами».

Едва Тер-Саркисов закончил чтение, на веранде после некоторого замешательства поднялся невообразимый гвалт, ибо чья-то реплика, характеризующая поведение Крития как очевидную подлость, вызвала горячие дебаты.

— Вы, кажется, забываете, что это писалось в четвертом веке дохристианской эры,— слышался высокий голос низкорослого реалиста.

— Подлость — всегда подлость.

— Но Критий говорит о предательстве Ферамена,— заметил Людвиг, подойдя к тахте и смешавшись со спорящими.

— Говорите по очереди,— пытался навести порядок Богдан.

— Еще раз прочитай вот этот кусок.

— «Если же при каждой буре мы будем менять направление пути и плыть по ветру, мы никак не сможем когда-либо приплыть к намеченной цели».

— Чьи это слова?

— Разумеется, Крития.

— Типичный политикан.

— Вовсе нет. Последовательный политик. Здесь нельзя быть размазней. Такие, как Ферамен, погибают в первую очередь.

— Да что там говорить: они разделались с ним, как бандиты.

— Будто политика бывает иной!

— Ну, знаешь... У нас тоже, можно сказать, политический кружок.

— ...совершенно не понимать природу древнегреческого искусства...

Руководитель остался недоволен занятием. Почему он не сумел перевести разговор в нужное русло?

Злился на себя, сетовал на то, что не способен проявить в пужный момент должную настойчивость и решимость, хотя ему, гладколицему репетитору, руководителю кружка и младшему из Неразлучных, даже восемнадцати не исполнилось, когда в начале августа он отправился в далекий Петербург поступать на химическое отделение Технологического института.

Ему казалось, что в Петербурге все будет иначе, серьезнее. Далекая столица в его представлении обладала способностью превращать большие слова в большие дела. А здесь, в казавшейся особенно глухой после Тифлиса провинции, где так любили поговорить, носнорить, пофилософствовать, слова неизменно оставались словами. Он прямо-таки физически чувствовал невозможность вырваться из порочного круга слов, тогда как наглядный пример Древней Греции свидетельствовал о том, что история — это непрекращающийся поток жестоких, великих и славных событий, преобразующих жизнь. Вот чего ему хотелось. Вот что он неожиданно обнаружил в себе тогда: человека дела.

Одиннадцать лет спустя, заживо погребенный в трюме парохода «Владимир», следующего до Тобольска, и позже, умирая на тюремной койке в Баку, Богдан вспомнит этот их казавшийся тогда таким беспредметным спор. А Людвиг захочет воспользоваться некоторыми его аргументами на раскаленной земле Сураханских нефтяных промыслов во время ожесточенного спора с Львом Шендриковым о будущем социал-демократического движения в России. И даже Фаро, смутно припоминая реплики реалистов, решит вдруг перечитать тот отрывок о гибели Ферамепа и

в конце 1938 года в Москве сделать пространные выписки из него в особую тетрадь.

Вместе с братом Богдан покинул Шушу в преддверии всенародного праздника, связанного с открытием тамировского городского водопровода, который стоил благодетелю сто тысяч рублей золотом. Трубы протянули от родника, расположенного в восемнадцати километрах, резервуар установили рядом с казармами, по обе стороны Эриванской дороги расставили накрытые столы, вблизи водопровода разбили шатер и сервировали стол на четыреста человек для начальства и почетных гостей. Играла военная музыка. Пестрые толпы сновали по склону горы со знаменами. Кружковцы явились на праздник в полном составе, и когда в полдень духовенство, а следом толпа с шумом и толкотней направились туда, откуда через восемь больших крапов изливалась живительная влага, раздалось мощное, многократное «ура». Все это происходило у самого подножия горы, на которой стоял двухэтажный дом с галереей, где совсем недавно разворачивались шумные дебаты по поводу смерти Ферамена. Герой дня — шушинский купец Татевос Тамиров был поднят на руки ликующей толпой, и когда, покачиваясь, точно мяч на поверхности волн, он взглянул на вершину горы, то увидел веранду дома, сплошь уставленную красными розами и гвоздиками, словно бы тоже в его честь.

Прибыв в северную столицу, Неразлучные сдали вступительные экзамены: один — в Институт гражданских инженеров, другой — в Технологический институт. Старший отпустил себе волосы до плеч, а младший не без успеха начал отращивать бороду и усы. Заработанных в Тифлисе денег хватило на полгода. По окончании с отличием первого семестра Богдан получил государственную стипендию.

Здесь возникает фигура, или, лучше сказать, прелестная фигурка, девушки из хорошей петербургской семьи. Люба Страхова — так ее звали. В жизнь юноши из Карабаха эта девушка вошла незаметной гимназисткой восьмого класса (частный урок — пятнадцать рублей в месяц). Уединенная комната, где они занимались, была тихой заводью, куда ежедневно, кроме воскресенья, попадал первокурсник-технолог из многолюдных аудиторий, с громогласных собраний, со студенческих вечеринок, на которые кто-нибудь из студентов время от времени приглашал одиночек-пролетариев, приносивших с собой в тесные мебелишки таинственный дух неведомой жизни. Поскольку к этому времени Богдан познакомился не только с содержанием первого тома «Капитала», но и с «Манифестом Коммунистической партии», чудесный магнетизм, исходивший от бродящего по Европе призрака — предвестника грядущей жизни, породил в чуткой к литературным впечатлениям душе студента целую бурю. Ее можно было сравнить разве что с трепетным смятением Любы Страховой, вызванным появлением в доме студента-репетитора. Хотя студент был маловат ростом, его «ум и добрая душа» (что знала Люба о его душе? что знал о ней он сам?) покорили сердце девушки.

Так как присутствие репетитора в доме объяснялось исключительно традиционно-престижными соображениями семьи, ибо все дети дома Страховых имели своих репетиторов, Люба могла позволить себе во время занятий с Богданом не вникать в суть того, что он пытался растолковать ей, но просто слушать его голос, дышать с ним одним воздухом и вспыхивать при каждом случайном прикосновении к рукаву его пиджака. Это не мешало гимназистке Любе хорошо учиться, что в представлении взрослых членов семьи являлось прямым следствием блестящих педагогических способностей репетитора. Было решено повысить ему жалованье до двадцати рублей.

Как это нередко бывает в таком возрасте, девушка полюбила «на всю жизнь», тогда как ее репетитор навсегда сохранил в сердце благоговейное чувство, с каким посещал в те дни первые революционные кружки.

Любовь делала свое благое дело. Она стала первой ученицей, а он из робкого первокурсника превратился в одного из активных студенческих организаторов многотысячной мартовской демонстрации на Казанской площади по случаю гибели в тюрьме ранее арестованной слушательницы Высших жепских курсов Марии Ветровой.

Она знала, что круг его интересов не совпадает с интересами того круга, к которому принадлежала она, ни на что не надеялась и молилась лишь о том, чтобы у нее не отобрали возможность слышать, видеть, любить его. Она верила, что придет час, когда ему потребуется ее помощь, быть может, даже жизнь, и тогда, не задумываясь, она отдаст ее, и это будет лишь реальным воплощением, итогом ее любви, как у иных таким воплощением и итогом становится свадьба.

Разумеется, родители ничего не знали, ни о чем не догадывались. И Богдан, видно, не думал, что их связывает что-то еще, кроме доброй, хорошей, доверчивой дружбы.

— Вы куда-то спешите? — тщательно пытаюсь скрыть оттенок ревности в голосе, спрашивала она.

— Да, — отвечал он, — сегодня собираемся вместе с бестужевками по поводу демонстрации.

Она была благодарна за то, что он так открыто говорит с ней. Он же пока просто не испытывал нужды в конспирации. Многие готовились к этой демонстрации — почти весь Технологический.

Ей нравилось, что его заботит общественное благо и трогает судьба несправедливо осужденной девушки, трагически погибшей в камере Петронавловской крепости. «Он хороший, добрый, совсем не такой, как другие».

Четвертого марта состоялась демонстрация. На следующий день он не явился на урок. По Петербургу ползли слухи об избивании студентов и о том, что несколько человек убито, многие арестованы. Кто-то сказал ей, что Богдан находится в полицейском участке.

В пять часов дня она вышла из дому с твердым намерением найти его. Решила обойти все полицейские участки города.

Когда вышла к Неве, резкий порыв холодного ветра чужь не свалил ее с ног. Все пространство между покрытой льдом мостовой и грязными, рваными, низкими облаками было наполнено колючей изморозью. Известное дело: март, весна — самое дурное время года в столице Российской империи.

Приходила в участок, называла имя, фамилию, отчество.

Ей отвечали:

— У нас нет такого.

Интересовались:

— А вы-то ему кем приходитесь?

— Сестрой.

— Купянец, говорите. А вы, стало быть, его сестра?

Действительно, странно. Лицо у нее совсем русское.

Поэтому в другом месте называлась уже невестой.

Ей отвечали:

— У нас такого нет.

Было уже поздно. Она наняла извозчика.

Ей отвечали: нет, нет, нет.

Она дала себе слово, что не вернется домой, пока не найдет его.

Дом Страховых пребывал в полном отчаянии. Люба пропала. Ушла, не сказала куда. Ее искали по всему Петербургу, а она по всему Петербургу искала Богдана.

И ведь нашла!

Узнала, что жив, что здесь, рядом, и была счастлива.

Конечно, к нему ее не пустили. Она решила дожидаться утра в полицейском участке. Утром, как только откроются магазины, она купит ему еды. Взяла с собой все деньги, что у нее имелись, и золотые часы — подарок матери.

Почему-то решила, что, раз его арестовали, значит, навсегда. Мелькнула мысль: освободить, выкупить, подкупить. Сняла часы, подошла к сонному дежурному, протянула.

— Что нужно, барышня? И чего вы никак не угомонитесь?

В это время — шум, голоса. Какой-то чин вышел из двери за загородкой.

— Как ваша фамилия, барышня?

Ответила:

— Страхова.

Пусть и ее арестуют.

Чин ничего не сказал на это, только хмыкнул и удалился, закрыв за собой дверь.

Она задремала, сидя на лавке. Вдруг снова шум, голоса. Она решила, что уже утро. Но была по-прежнему ночь. Просто ее нашли те, кто искал.

Ее увезли домой. Мать в слезах бросилась навстречу. Обесспленная долгим блужданием по городу и бессонной ночью, Люба призналась матери, что любит Богдана и что это на всю жизнь.

Мать уговаривала, убеждали тетки, кричал отец. Она стояла на своем: без него ее жизнь не имеет смысла. Заплакала и ушла к себе.

На следующий день ее увезли в Москву, «погостить» к родственникам отца, а потом — за границу.

Через два дня освободили Богдана. Без последствий, если не считать негласного наблюдения полиции. В участке ему сообщили, что им интересовалась какая-то барышня. Фамилии не назвали. Он подумал: какая еще барышня? Решил, что ошиблись. Или пошутили.

В доме Страховых ему заплатили за месяц вперед.
— Люба забрела. Люба больше не будет заниматься.
Его вопрос, что с пей, остался без ответа.

Больше он никогда не встречал Любу и ничего не слышал о ее дальнейшей судьбе. Другого платного урока не взял. Занятия в студенческих кружках, руководимых «Союзом борьбы за освобождение рабочего класса», в который он вступил тогда же, занимали все свободное время.

Ему казалось, что он нашел наконец свое место в жизни, свою позицию, свой круг друзей, свою Истину.

Потом появилась другая девушка, Лиза Голикова. Она была моложе его на два года и училась на Бестужевских курсах. Они познакомились в кружке. Технологи по-прежнему поддерживали с бестужевками самые тесные отношения. В феврале и марте 1899 года они вместе принимали участие в выступлениях студентов против драконовских правил, введенных в высших учебных заведениях страны.

Когда его исключили из института, Лиза сказала:

— Ты, Богданчик, у нас герой.

Она была славным, сильным, земным человеком, товарищем по борьбе.

В августе 1899 года, по окончании летних каникул, Неразлучные привезли в Петербург младшего брата, Тиграна. Он должен был поступать в художественную школу барона Штиглица.

Вскоре после начала лабораторных работ, еще на втором курсе, словно бы в память о несостоявшихся опытах с надкислотами в тифлисском доме Меликонидзе, Богдан придумал забаву — безобидные химические «хлопушки», которые тотчас получили на факультете и даже за его пределами полное признание. Шалунам-приятелям удавалось, например, засунуть такую «хлопушку» в карман

инного незадачливого студента, паправляющегося в аудиторию. Когда «хлопушка» взрывалась, то это пугало одних, веселило других и возмущало третьих. Сам он «хлопушек» не подсовывал, но когда дело приняло серьезный оборот и доцент Пилипенко после очередного взрыва, свидетелем которого ему случайно довелось стать, учинил допрос, Богдан чистосердечно во всем признался.

Оставшись с нарушителем общественного спокойствия наедине, доцент потребовал от него объяснений. Богдан раскрыл доценту секрет химической шалости, и тот был весьма удивлен, поскольку способ изготовления «хлопушек» оказался оригинальным.

— За изобретение «хлопушки», — сказал доцент Пилипенко, — я поставлю вам в журнал отличную оценку, но если «хлопнет» еще хоть раз, подам на вас рапорт, и тогда пеняйте на себя. Вместо того чтобы глупостями заниматься, пришли бы поработать ко мне в лабораторию.

Потом, когда Богдана выгнали из института в связи с весенними студенческими волнениями 1899 года, доцент Пилипенко был одним из тех, кто ходатайствовал о его восстановлении.

— Способнейший химик. Чрезвычайно живой, темпераментный. Хлопушечник, — аргументировал он свое выступление в защиту политически неблагопадежного студента.

Когда же в 1901 году его выгнали из Технологического вторично, доцент Пилипенко уже ничем не смог помочь. Богдана собирались выслать в Баку и отдать в солдаты. Лиза, которую в связи с теми же событиями разыскивала полиция, тоже намеревалась ехать в Баку.

Утром накануне ареста Богдан послал к ней младшего брата. Они жили теперь вдвоем на Загородном проспекте, куда переехали после отъезда Людвиг. (В связи со студенческими волнениями его, как и Богдана, исключили из института. Он перебрался в Киев и поступил там

в Политехнический.) Брат Тигран должен был договориться с Лизой о месте встречи, но не застал ее дома. Пришлось оставить записку: «Сегодня до 6 из дому не выходите. Я найду и покажу Вам место, где надо видаться с ним. Он будет ждать часов в 6. Непременно надо пойти. Тигран».

Потом приходил еще раз и снова не застал. Приписал на обратной стороне: «Зашел в половине второго, надоело ждать и ушел. Тигран».

С Лизой Богдан встретился уже после освобождения из-под стражи. Они вместе отправились в Баку, ставший с памятного каникулярного лета 1898 года вторым родным городом. Здесь он организовывал первые социал-демократические кружки. Здесь познакомился со многими из будущих друзей — с Леонидом Красиным, Меликом Меликянцем, Авелем Енукидзе, Миха Цхакая, Ванечкой Фиолетовым. А вот теперь приехал сюда вместе с девушкой, чей образ постепенно вытеснял из памяти милые черты Любы Страховой. Судьба неизменно уносила его в дальние края и вновь возвращала. Круг замыкался, и он был в этом своем кругу самым молодым, если не считать Ванечку Фиолетова.

Прибыв в Баку, вся веселая компания высланных студентов обосновалась в Чемберикенте, где удалось снять недорогой дом. Потом Богдан, зачисленный вольноопределяющимся в нехотный резервный полк, вынужден был перебраться в одну из Сальянских казарм. День принадлежал армии, вечер — пропагандистской работе. Переодевшись в штатское, он отправлялся на занятия кружка, организованного для рабочих табачной фабрики Мирзабекянца. До казарм, расположенных в верхней, нагорной части и торчавших над городом, точно кулак господень, путь был пеближний: сначала на конке, потом в гору пешком.

В Баку цвело все, что только могло цвести. Тщедуш-

ные кустики, редкие деревья и частые базары яростно зеленели, и уже чувствовалось приближение знойного, душного лета.

Богдан похудел, осунулся. С Лизой почти не виделся, и это угнетало его. Отвыкшая от южного солнца кожа пожелтела и обветрилась. Проснувшись однажды, он обнаружил у себя сильный жар. Провалился с неделю. По состоянию здоровья ему разрешили ночевать в городе, и он поселился в меблированных комнатах Шавердовых на Сураханской улице.

С Лизой по-прежнему виделся урывками — главным образом на заседаниях только что образованного первого Бакинского комитета РСДРП. Занятия в кружках продолжались и летом, даже в августе — особенно тяжелом для бакинцев месяце, когда ночью еще жарче, чем днем, и нечем дышать, и заснуть невозможно, если не подует спасительный ветерок.

Но лето миновало, число кружков, где приходилось читать лекции по политической экономии, истории рабочего движения в России и на Западе, росло, разрасталась сеть кружков для совместного чтения нелегальных брошюр и периодических изданий. Разъехавшаяся на каникулы молодежь вернулась в город, школьная жизнь вошла в привычное русло, и в конце 1901 года Богдан по поручению Бакинского комитета организовал ученический комитет, в который вошла его шестнадцатилетняя сестра Фаро.

Уже в марте 1902 года были выпущены первые листовки, уже в апреле состоялась первая демонстрация, в результате которой все они оказались в полицейском участке — Богдан, Лиза, Тиграп, Роза Бабаикова — певица или уже тогда жена Людвиг, сам Людвиг, Фаро. Больше остальных пострадала сестра: ее уволили из заведения св. Ницы с «волчьим билетом».

ГЛАВА IV

Как-то мне в руки попал исписанный карандашом сдвоенный листок полуистлевшей бумаги, испещренный химическими формулами, стрелками и значками. Он был обнаружен во время разбора бабушкиного архива, предпринятого по просьбе Ивана Васильевича. Разговоры об этом шли давно. Но вот настал день, когда бабушка распахнула обе дверцы, опустила на колено и стала извлекать из секретера все его содержимое. Ключ, торчавший из опущенной крышки, был угрожающе нацелен в ее незащитное темя, затянутое младенчески нежной розовой кожей, просвечивающей сквозь паутину седых волос. Я поспешил поднять крышку и повернуть ключ в замке.

— Неужели некому больше пагнуться? Дай-ка я сам вытащу.

— Действительно. Встань сейчас же. Не смей нагибаться,— поддержала меня мама.

Сердито оглянувшись, бабушка возмущенно воскликнула:

— Пожалуйста, не делайте из меня больную, беспомощную старуху. Честное слово, это безобразие! Всякий раз...

Не договорив, бабушка ушла с головой в секретер.

Листок был извлечен из старой папки с надписью «Разное», сделанной размашистым бабушкиным почерком. Поначалу я подумал, что это какой-то давний мой черновик, который любящая бабушка заботливо хранила вместе с иными атрибутами младенческих, школьных, студенческих и аспирантских лет. Знакомые химические структуры чередовались с фантастическими — столь характерное соседство тех смелых, отчаянных, самопадежных дней. В годы безраздельного увлечения химией я покрывал подобными формулами сотни листков на суч-

рых лекциях, дома, в лаборатории, в гостях, даже во время театральных антрактов. Просыпаясь среди ночи, оставаясь посреди улицы, я записывал их рядом с чьими-то адресами, телефонами, библиографическими ссылками.

Записи на вырванном из школьной тетради листке с вылинявшими линейками были сделаны жестким карандашом. Тщательно скомпонованная схема напоминала декоративный восточный орнамент. Я вздрогнул от внезапной догадки, будто на какой-нибудь самаркандской или бухарской дороге наткнулся на осколок обливной керамики. Поднял, повертел его и по толщине ли, по заскорузлости, по странному ли рисунку вдруг догадался, что передо мной черепок воистину древнего сосуда.

Несколько настораживали, впрочем, ничем не объяснимые совпадения. В отдельных структурах определенно угадывались фрагменты темы, начатой мной еще в студенческие годы.

— Откуда это? — спросил я у бабушки.

Она рассеянно взяла листок и, едва взглянув, вернула:

— Может, Вавил? Или Богдана? Не знаю. Не помню.

Тетрадь, откуда выпал листок с химическими формулами, оказалась силошь исписана твердой бабушкиной рукой сначала фиолетовыми, потом синими чернилами. Когда-то ее скорее мужской чем женский почерк был именно таким — уверенным, напористым, без каких-либо признаков застенчивой угловатости, появившейся лишь в последние годы. Полнокровные в прошлом буквы как бы похудели, опали, скособочились. «Мы пока не чувствуем осени, — по-прежнему писала мне, однако, бабушка с дачи. — Кругом пышная зелень, а под окном — кусты, усыпанные золотистыми шариками...»

Я надеялся, что разгадка химических формул содержится в этой тетради. Поверхностное проглядывание

записей ничего не дало, и поэтому я решил читать внимательно с самого начала.

«В июне 1903 года, — писала бабушка, — приехав из Баку в Шушу на каникулы, я неожиданно встретила в родительском доме невесту Богдана Лизу и Анну Лазаревну Ратнер. Перед отъездом в Петербург Богдан написал папе письмо с просьбой разрешить им приехать на лето в Шушу.

Живая, стремительная Лиза всем очень нравилась, даже папе, который поначалу переживал, что у Богдана русская невеста. К великому папиному удовольствию, она меньше чем за месяц выучила около ста армянских слов и уже объяснялась с мамой и Нанагюль-баджи.

Лиза носила легкие, воздушные платья. Высокая, стройная, светловолосая, она чувствовала себя совершенно раскованно. Это было, видимо, связано не только с доброжелательным отношением окружающих, но и с умением быстро привыкать к тому месту, куда забрасывала ее переменчивая судьба социал-демократки: к петербургским меблированным комнатам и к бакинскому дому на Чемберикенте, где коммунаой поселились высланные студенты, к Дому предварительного заключения и к шушинскому дому жениха, где все жепщины говорили по-армянски.

Анне Лазаревне тоже было хорошо у нас. Армянского она не учила, все дни была запята, и только раз или два я видела ее праздно стоящей на галерее второго этажа среди красных гвоздик. Прекрасный вид открывался с нашей горы.

В детстве я часто слетала во сне с галереи, парила над Шушой, делала круг над нижней, татарской частью города, возвращалась к Казанчинскому собору, облетала неприступный Кирс и направлялась к долине Аракса. Ни с чем не сравнимую легкость таких полетов мне не пришлось испытать наяву — я никогда не летала на самолете,

Позже я узнала, что Аппу Лазаревну направил в Шушу Бакинский комитет партии. БК поручил ей собрать деньги и напечатать литературу к готовящейся всеобщей забастовке. Шуша, куда на лето съезжались бакинские тузы, была едва ли не самым подходящим для этого местом. Чем могла, я помогала ей, хотя основной моей задачей было, как всегда, заработать частными уроками деньги для продолжения учебы в Баку. Свободное от уроков время поглощали совещания, собрания, организация и подготовка благотворительных вечеров, выступлений, спектаклей. Все студенчество было втянуто в дело, все местные либеральные дамы.

Бакинская забастовка, одним из руководителей которой стал Людвиг, началась в июле. Брат часто писал нам, просил денег, присылал тексты листовок, которые требовалось напечатать.

На чердаке дома работали три гектографа. Анна Лазаревна, Лиза и я часами пропадали там. Мама начала интересоваться, чем это мы занимаемся.

Как-то, задремав после обеда, отец был разбужен грохотом. Это Анна Лазаревна взобралась на лестницу, чтобы разложить мокрые листки, и упала. Отец тотчас встал, поднялся на чердак. Видимо, он и раньше догадывался. Мы были неважнецкими конспираторами в доме, где пап, по существу, ничто не угрожало.

Отец появился внезапно, застал пап врасплох. Его седые усы обиженно топорщились. Старческая, приземистая фигура и то, что он задохнулся, поднимаясь по лестнице паверх,— все это выражало немой упрек.

— Почему вы не предупредили меня о таком серьезном деле? Кругом соседи. Что подумают они? Зачем женщинам столько часов подряд находиться на чердаке? Все ведь слышат, о чем вы говорите... Эх! Тоже мне... Нужно покопчить с этим, слышишь, Фаронька? И так у пап этой зимой дважды был обыск. За моей перепиской

с сыновьями следят. Вы что, хотите совсем погубить пас?

— Прости, папа,— только и сказала я.

Что еще можно было ответить?

После этого договорилась с Айко, брат которой сочувствовал социал-демократам, чтобы перенести гектографы к ним.

Я не замечала, как пролетали дни, и не ведала, конечно, что Богдан в это время находился уже за границей. Как раз через неделю после дня моего восемнадцатилетия в Брюсселе начал работу II съезд партии. Но это позже, гораздо позже — шепотками и педомолвками — дошло до меня. А тогда я только знала из апрельского письма Богдана в Баку, что он сдал экзамены за четвертый курс Технологического института и перешел на пятый. Одного не могла понять: когда при такой загруженности партийной работой он успевал заниматься, работать в лаборатории, сдавать экзамены?

В конце июля отец, настроенный радостно все эти полтора летних месяца, стал вдруг мрачным, задумчивым. Его точно подменили. Однажды за утренним чаем сказал:

— Лизапка, дочепька. Ты знаешь, как люблю я Богдана. Я очень обрадовался, узнав, что у него есть девушка и что она приедет к нам в гости. Вы с Богданом подходите друг другу. Но, видно, ты не так его любишь, как он тебя. Если бы ты сильно его любила, не проводила бы все вечера до глубокой ночи с Ваней Мелик-Осиповым. Мало того, что вместе гуляете по бульвару,— сколько времени сидите потом у ворот или на ступеньках лестницы. Вся Шуша уже говорит об этом. Спрашивают меня: чья невеста эта русская девушка — сына твоего Богдапа или Мелик-Осипова?

— Что вы, папа,— вспыхнув, отвечала Лиза.— Откуда у вас такие мысли? Я люблю Богдана, ежедневно ему

пишу, а с Ваней у нас разговоры на партийные темы. В Баку сейчас забастовка, много дел.

— Нет, доченька, не все так просто. Я человек старый, до седых волос дожил. У меня на этот счет свое мнение. Я вот что решил. Чтобы тебя не стеснять и себя в целовкое положение не ставить, я сниму тебе комнату или у Зильфиянов, наших родственников, или у Сато — они всегда сдают. С сегодняшнего дня ты будешь жить у них, а питаться по-прежнему у нас. И когда меня спросят теперь: «Чья это невеста?», — я отвечу: «Не знаю». И Богдану не придется давать отчет о твоей жизни в Шуше. Скажу ему, что в конспиративных целях ты жила не у меня, и я не знаю, с кем встречалась, куда ходила, где бывала. Тем и кончим.

Лиза, вся красная, взволнованная, горящими глазами смотрела на отца.

— Какой же вы, папа...

Она досадливо махнула рукой и так сильно сжала спинку венского стула, что пальцы ее побелели.

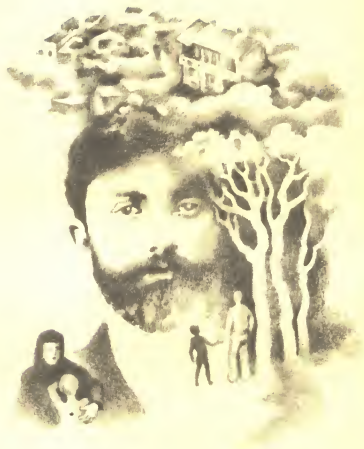
Швейцарские часы в круглом кожаном футляре выпукло облегали широкую кисть сильной руки, и на мгновение в комнате стало так тихо, что я услышала их постукивание.

— Что ж, пусть будет по-вашему.

Я была ошеломлена реинительным видом Лизы и поражена сдержанностью отца.

Дни Лиза проводила у нас, а почевать уходила к Сато. Она стала избегать встреч с Ваней Мелик-Осиповым, что радовало папу и маму. Они ведь по-прежнему любили ее.

Бедная мама! Сколько грустных, тяжелых минут пришлось ей пережить. То из-за наших гектографов, то из-за Лизы, из-за моей постоянной занятости и беготни по урокам.



— Когда же, доченька, будешь ты отдыхать? Все твои подруги гуляют, а ты с утра до ночи работаешь...»

Этот передающийся по наследству из поколения в поколение вопрос прабабушки Соны заставил меня улыбнуться. Во всяком случае, его частенько задавала мне бабушка, каждый раз, разумеется, заменяя обращение «доченька» на более подходящее.

Я вышел в другую комнату, закрыл тетрадь и положил ее к себе в портфель, надеясь дочитать дома.

Валентин Богданович разгуливал по комнатам с заложенными за спину руками и насвистывал себе под нос какую-то неразличимую мелодию. Он не припимал участия в архивных раскопках и при всей любви к бабушке был совершенно равнодушен к ее славному революционному прошлому. Как адепта технического прогресса, дядюшку неизменно интересовало лишь будущее.

Воистину необыкновенный для наших дней аскетизм и комплекция роднили его с героем романа Сервантеса (высокий рост Елизаветы Голиковой оказался, однако, слабым генетическим признаком), тогда как моя матушка нередко пазывала его Плюшкиным в лицо и заглазно. С последним у дяди была разве что возрастная общность, отсутствие многих зубов и некое сходство в воззрениях на экономику, имевших своим прямым следствием предельную ограниченность в продуктах питания. Так, одного апельсина хватало ему обычно на неделю, а из трехсот граммов клубники удавалось съесть только половину, ибо другая половина успевала испортиться, несмотря на паличие в доме холодильника, отвечающего последнему слову техники. Одежда дядюшки вполне гармонировала с его внешностью, и даже деньги, предназначенные для покупки автомобиля, он, помнится, носил в авоське завернутыми в старую газету.

Принадлежал ли листок с химическими формулами

его отцу Богдану, дядюшка знать не мог, ибо отца своего не помнил.

Разумеется, мне проще было пойти к другому дяде — сыну старшего из Неразлучных, одному из возможных владельцев листка, нежели читать около двухсот страниц бабушкиных записок. Дядя жил довольно-таки высоко — в одном из тех помпезных московских домов, которые вблизи являют собой как бы пародию на величоление готических соборов, а на расстоянии выглядят весьма величественно и даже изящно.

Скоростной лифт доставил меня на нужный этаж. Дядя открыл дверь. На нем были форменные брюки с широкими генеральскими лампасами и шлпанцы, в которых он легко скользил по светлому лакированному полу. На парадном портрете, писанном маслом и воспроизведенном на цветной вклейке журнала «Огонек», эти брюки выглядели более величественно.

Коротко изложив дяде цель визита, я показал листок с формулами. Водрузив на нос очки, дядя некоторое время изучал его, потом, взглянув на меня с недоумением, сказал:

— Бред какой-то. Здесь написана совершеннейшая глупость. Почему тебя интересует подобная чепуха?

Я объяснил.

Дядя снял очки с отсутствующим видом. Мне показалось, что он больше не сердится. Лицо его сделалось добрым и ласковым.

— Пойдем покажу тебе кое-что.

Мы перешли в другую комнату. У большого зеркала дядя отпустил мою руку и принялся вытаскивать стоявший за ним у стены большой подрамник с натянутым холстом. Прислонив картину к косяку двери, он отбежал в сторону.

— А? — спросил дядя. Его глаза сияли. — Итальянское Возрождение!

Он поправил холст, чтобы поверхность не бликовала.

— Итальянское? — переспросил я, продолжая думать о своем.

— Приглядиись повнимательнее. — Тапочки зашлепали мне навстречу. — Как написаны пальчики младенца. Даже боюсь предположить, чьей кисти может принадлежать эта картина. Спроси, где я ее достал?

— Где?

— У одной старухи. Холст был весь черный. Ничего не видно. Риск был, конечно. Я взял с собой растворитель, потер, отмыл в уголке, а там — небо...

Он подбежал к картине, поскреб ногтем нос девы Марии.

Я спросил:

— Не знаешь, какой химической проблемой занимался Богдан Минаевич в Петербургском технологическом институте?

Дядя с удивлением взглянул на меня.

— В том, что это Итальянское Возрождение, нет никаких сомнений. Весь вопрос, кто автор.

— А отец, — спросил я, — твой отец какой занимался проблемой?

— Все, кто был связан с Баку, работали по нефти.

Как бы досадуя на то, что я не вполне оценил последнее его приобретение, дядя взял картину обеими руками и понес ее прятать за зеркало мимо горящего позолотой, сияющего эмалью, просвечивающего алебастром дворцового великолепия квартиры.

— Эти формулы не мог написать твой отец?

— Нет, — отрезал дядя. — Кстати, ты моих Базилей видел?

— Конечно. Они ведь давно здесь висят.

— Ну и как тебе?

— Замечательные вещи. Особенно та, что справа.

— А мне что-то не очень. Мне больше нравит-

ся старая живопись. Ты посмотри, какое у нее личико. Какие пальчики. Как все выписано. Догадайся, чья это работа?

— Грёз?

— Вот! — воскликнул дядюшка, ошастливленный. — Я тоже считаю, что это Грёз. И ты так считаешь? А некоторые, — сказал дядя, осуждающе кивнув куда-то в сторону, — сомневаются, что это Грёз. Как твои дела? — заинтересовался он вдруг.

— Ничего.

— Не падоела химия?

— Пока нет.

— Скучная наука, — сказал дядя. — Не понимаю, зачем молодые, способные люди стремятся в химию. Если бы я начинал заново, то занялся бы биологией или астрофизикой.

— Что же мешает?

— Годы, — жестко сказал академик. — А вот зачем ты занялся химией?

— Боюсь, что это у меня наследственное, — заметил я. — Бакинские гены.

Дядя рассмеялся.

— Между прочим, моего Бальтазара Аста недавно брали на выставку, удостоили похвалы в каталоге. Сейчас я тебе покажу.

Дядя рьяно припнулся перебирать бумаги на столе, будто несколько отпечатанных типографским способом казенно-поощрительных слов по поводу принадлежащего ему натюрморта Бальтазара Аста значили для него больше, чем все его химические и военные заслуги, вместе взятые.

Вернувшись домой, я вновь раскрыл бабушкину тетрадь, но не в начале, а пропустив несколько десятков страниц, ибо ничего, связанного с химическими формулами, там не могло оказаться.

«В декабре 1903 года,— писала бабушка,— Лидия Николаевна Бархатова, встретившись со мной в Балаханах, сказала, что если я хочу видеть Богдана, то должна остаться ночевать у нее. Завтра воскресенье, а сегодня поздно вечером мы пойдем в одно место.

— Неужели Богдан в Баку? Когда он успел вернуться? Почему я ничего не знаю об этом?

— Успокойся, ради бога, и никому не говори. Богдан не хочет, чтобы о его приезде знали в городе.

Перед отъездом из Шуши в Баку мы договорились с Варей Долухановой и с Сато, что поселимся втроем в одной комнате. Так будет дешевле и удобнее: одной жить страшно.

Папа и мама плакали, провожая нас».

Далее бабушка приводила слова своего отца, обращенные к Лизе, которая уезжала из Шуши на две недели раньше:

«Увидим ли когда Богдана? Передай ему нашу просьбу: пусть бережет себя. Ведь такой талантливый человек зря пропадает. Берегите себя оба, любите друг друга. Прости, Лиза, если обидел тебя своими сомнениями. Каюсь, дорогая, каюсь...»

И ответ Лизы:

«Что вы, папа. Вы ведь хотели предостеречь меня. Спасибо за все. Я горжусь, что у Богдана такой отец, и всегда буду помнить о вашем гостеприимстве».

Слезы на глазах прадедушки Мирзаджана могли показаться проявлением обычной старикинской чувствительности, неоправданных страхов, если бы его риторический вопрос: «Увидим ли когда Богдана?» — не имел столь жестокого ответа: «Нет, никогда не увидите».

Что же касается мимолетного бабушкиного замечания на предыдущей странице о том, что Лиза Голикова была «вызвана Богданом в Тифлис», то оно, пожалуй, свидетельствует лишь о незнании истинного местона-

хождения брата. Отправляясь в Женеву, Лиза, правда, могла сказать о поездке в Тифлис в конспиративных целях. Может, она и в самом деле побывала там, прежде чем выехать за границу.

В июне бабушка пишет о ней как о невесте Богдана, а в октябре Надежда Константиновна Крупская, принимая участие в женевском собрании большевиков после их ухода со съезда Лиги, называет Лизу его женой. Это следует из соответствующей выписки:

«Плеханов заявил, что надо идти на уступки. «Бывают моменты,— заявил он,— когда и самодержавие вынуждено делать уступки». «Тогда и говорят, что оно колеблется»,— подала реплику Лиза Кнулянец. Плеханов метнул на нее сердитый взгляд».

Об условиях жизни в Баку по окончании летних каникул бабушка Фаро писала:

«В сентябре мы наняли втроем комнату на Верхне-Тазавирской улице, в татарской части города. Хотя далеко и страшновато по вечерам возвращаться домой, зато дешево — двенадцать рублей на троих. Это уже потом выяснилось, как обманул нас почтовый чиновник, старый холостяк, сдававший комнату. Оказывается, он всю свою двухкомнатную квартиру напимал за двенадцать рублей и, сдавая нам комнату, сам жил бесплатно. Много мы шутили над тем, как содержим на свой счет почтового чиновника.

Для заработка я решила преподавать сразу в двух местах — в воскресной школе и в вечерней на Баилове. На восемнадцать — двадцать рублей в месяц можно было жить, не бегая днем по урокам. Ведь я училась уже в седьмом, последнем классе.

Саша Бекзадян и Мелнк Меликян одобрили мое решение. «Ничего, что далеко,— говорили они.— Зато, работая на Баилове, можно совмещать педагогическую работу с пропагандистской и агитационной».

Так начался учебный 1903 год. Учебники достали товарищи, тетради нам с Лелей Бекзадян подарила Машо-куйрик. Если не считать того, что в дни занятий в вечерней школе я не успевала делать уроки, то жизнь моя была вполне устроена. Ежедневно к нам приходили старые друзья: Трдат Трдатян, Егор Мамулов, а также мой новый знакомый — поэт Кирилл Грошев...»

Чтение бабушкиных записей увлекло меня само по себе, даже вне связи с химическими формулами. Так, наткнувшись на имя Кирилла Грошева, я вспомнил, что оно мне знакомо. Что-то говорила о нем бабушка или мама в связи с какими-то старыми фотографиями. Но что? Когда?

Листая тетрадь, я все дальше уходил не только от декабрьского разговора с Лидией Николаевной Бархатовой, но и от причин, побудивших бабушку прекратить работу в вечерней банловской школе. Связь событий распалась, и я снова вернулся к тому месту, на котором прервал чтение.

«Какой-то лезгиц,— писала бабушка,— стал преследовать меня, забросал безграмотными записками. Вместе с ним начал писать другой ученик вечерней школы — Смирнов, который грозился убить меня и покончить с собой. «Я не в силах больше так жить. Вы убили во мне человека, оставив одного дикого зверя».

Сначала мы только смеялись. Потом, когда дело приняло угрожающий оборот, Варя посоветовала перейти работать в балаханскую вечернюю школу. Там более скромная публика, и мы сможем иногда вместе возвращаться домой с работы. Это был выход.

Лидия Николаевна жила в Балаханах, работая там библиотекарьшей. Я пришла к ней в субботу сразу после занятий в вечерней школе.

— Вот и хорошо,— сказала она.— Скоро пойдем.

Ночь выдалась темная и дождливая. В сопровожде-

нии молодого молчаливого рабочего мы направились в район Асадулаевской фирмы к старой, заброшенной вышке, где было устроено что-то вроде сарайчика. Нас пропустили по паролю «Ходи домой». Судя по размерам строения и приглушенным голосам, собралось не более пятнадцати человек. В темноте нельзя было различить лиц.

Но вот чиркнули спичкой. Сжавшись в крохотный комок, точно привыкая к мраку и холоду, один огонь породил другой, который, разгораясь и распрямляясь, тотчас осветил ровным светом свечи небольшое пространство.

Я сразу увидела его, бросилась навстречу!

— Ты откуда?

— Сейчас все узнаешь.

— А я здесь неподалеку в школе работаю,— шептала я.

— Как старики?

— Беспокоятся о тебе. Просят, чтобы поберег себя.

Он улыбнулся.

— Вот достанешь мне шапку-невидимку, и тогда все будет в порядке.

В полутьме насмешливый голос брата звучал почти торжественно. Я все еще не верила, что вижу его наяву. Это было скорее похоже на гадание перед зеркалом.

— Пора начинать.

Кажется, это сказал Саратовец. Я скорее догадалась по голосу, чем увидела его глубоко посаженные, голубые глаза типично русского человека. Маленькие, печальные глаза, чем-то напоминающие кошачьи. Когда-то они тревожили, волновали и правились мне. Нет, это был, пожалуй, не он. Саратовец перебрался в Баку позже.

— Приехавший из Женевы товарищ сделает сейчас сообщение о недавно состоявшемся II съезде партии,— сказал кто-то.

Этим товарищем был Богдан».

ГЛАВА V

В начале 1903 года началась подготовка к первому объединительному съезду социал-демократических организаций Закавказья. Бакинский, Тифлисский и Батумский комитеты существовали уже несколько лет, отдельные социал-демократические группы возникли в Кутанси, Гори, Чиатурах и Михайлове. Когда летом 1902 года Ашот Хумарян встретился с Богданом Кнунянцем, тот высказался за объединение, подчеркнув его своевременность. Моему двоюродному дедушке не было тогда и двадцати четырех лет.

Миновавший нефтяной кризис вызвал массовые увольнения. На протесты уволенных рабочих, срок контракта которых не истек, решительно никто не обращал внимания.

В сорок седьмом номере «Искры» за 1903 год приводились факты бедственного положения бакипских рабочих. Кому-то, например, приказывали лезть на лестницу в резервуаре, которая не была закреплена. Он лез, падал вместе с лестницей и становился калекой. Подавал в суд. Хозяин тянул дело по всем инстанциям два-три года. Искалеченный, не способный к труду и оставшийся без хлеба шел нищенствовать. Его ловила полиция и отправляла этапным порядком на родину. Не находя пропитания, калека снова уходил в город, начинал странствование по острогам и этапам. Тем временем его вызывали в суд; повестка до него не доходила, и дело прекращалось за неявкой истца.

Губернские власти гнали жалобщиков в шею.

Цензура не разрешала разоблачать подобные случаи в печати.

Цензорский карандаш или искажал смысл статей или вычеркивал все.

На рыбных промыслах картина выглядела еще безот-

ражнее. Паспорта отбирали при найме на работу, рабочие книжки не выдавали.

Прежде чем выслушать обиженного рабочего, начальство спрашивало у него паспорт. Паспорт или книжку. Объяснений не слушали. В лучшем случае — выгоняли вон, в худшем — арестовывали как беспаспортного.

Одному из рыбопромышленников пришла охота позабавиться. Поймав подвыпившего рабочего, он влил в него еще полбутылки водки, посадил в пустую бочку, закупорил и велел катать. В результате несчастный оказался совершенно изуродованным. Пожаловался промышленовой полиции, но получил лишь затрещины.

«И вот,— заканчивалась корреспонденция в «Искре»,— потолкавшись по редакциям, по фабричным инспекциям, полициям, судьям и губернским канцеляриям, бакинский пролетарий должен был наконец убедиться, что ему неоткуда ждать помощи. Оставалось последнее средство — массовый протест. К нему и прибег пролетарий после того, как перепробовал все мирные средства».

За подписью «Кавказец» скрывался младший из Незразлучных, Богдан. Это был один из многих его псевдонимов.

«Массовый протест», о котором писала «Искра», известен в истории как всеобщая июльская забастовка. Председателем стачечного комитета был тогда брат Кавказца, Людвиг Кнупянц (псевдоним «Сима»).

В летнем Баку 1903 года бастовали рабочие, мастера, служащие, караульщики, железнодорожники, кондукторы, машинисты. Остановилась конка. Обессилела «Электрическая сила». Ночью город погружался во мрак. Газеты не выходили. Многотысячные массовки проходили открыто, в присутствии сотен казаков, которые, по привычке покрикивая «р-разойдись!», не реша-

лись вмешиваться. Бастовали горнорабочие, подепщики, амбалы, метельщики, мусорщики и ассенизаторы. Ресторанная прислуга роптала. Дворники заявляли, что желают служить домовладельцам, а не полиции. Капитал худел на глазах.

Примерно так это было описано в одной из пожелтевших книг, лежавшей теперь рядом с зелеными папками Ивана Васильевича, вместе с бабушкиными дневниками, письмами и пакетами старых фотографий. Собирая разрозненные записи, я становился свидетелем рождения довольно странного стиля. Комментарии Ивана Васильевича плохо сочетались с дневниковыми записями, не предназначенными для печати. Еще более неуместным казалось соседство выписок из политических книг и брошюр. Разнородные тексты притирались друг к другу с трудом, но вскоре я заметил, что чем сильнее было трение, тем скорее и отчетливее на границе соединяемых текстов возникало некое подобие свечения, напряженного магнитного поля, огня. К границам стягивалась как бы избыточная энергия, и здесь возникало что-то такое, чего не было ни в одном из текстов, взятых в отдельности. Примерно такое же напряжение и наэлектризованность вызывало во мне всякий раз вынужденное скоростное перемещение из 1970-х в 1900-е годы и обратно.

В одной из кратких справок значилось: «Состоявшийся в марте 1903 года первый съезд закавказских социал-демократических организаций избрал Кавказский Союзный комитет в составе девяти человек. От Бакинской организации в него вошел Богдан Кнунянц. На этом же съезде были избраны делегаты на II съезд РСДРП. От бакинской организации Б. М. Кнунянц, от тифлисской Д. А. Топуридзе, от батумской А. Г. Зуратов».

Вскоре после объединительного съезда Богдан от-

правился в Женеву, заехав по пути в Петербург, чтобы сдать экзамены за IV курс. Сохранилось его заявление, датированное 31 марта 1903 года. «Будучи выслан из Петербурга в марте 1901 года, я прервал свое образование во вверенном вашему превосходительству институте. Получив от департамента полиции право с 28 марта 1903 года повсеместного жительства, прошу... разрешить мне сдать недоконченный проект завода и переходящие экзамены с IV курса на V. Проект парового котла и лабораторные работы выполнены мною еще в 1900—1901 академическом году».

Отсюда следовало, что Богдан никак не мог писать в 1903 году те в известном смысле замечательные схемы химических реакций. Для этого более всего подходил, пожалуй, период лабораторных работ 1899—1901 годов.

В том, что формулы написаны Богданом, я больше не сомневался. Остальные химики нашей семьи отпадали. А сличение почерка, которым были написаны такие имевшиеся на листке сокращения, как «нагр.», «вак.», «кип.» и слово «пар», с фотокопиями богдановских рукописей окончательно подтверждало догадку.

Поскольку в апреле Кавказцу разрешили сдать проект и экзамены, в мае он уже пересек границу России. Запоздалый циркуляр № 1800, по которому велся всероссийский розыск и в котором значилась его фамилия, волочился по России, как бредень в неудачный для лова десть: «Арестовать и препроводить в распоряжение иркутского генерал-губернатора для приведения в исполнение высочайшего повеления 23 июля 1903 года».

После слов: «Этим товарищем был Богдан» — бабушка пишет: «Впоследствии выяснилось, что Богдан уже несколько дней находился в Баку, делая сообщения о

II съезде на разных промыслах и в городских районах». Далее на двух страницах общей тетради в линейку она пересказывает содержание выступления брата — совсем в духе тех конспектов, которые мы составляли в студенческие годы па лекциях по истории партии. Несмотря на протокольный характер, текст этот оставляет впечатление сбивчивого рассказа, будто бабушку захлестывали, не давая прорваться живому чувству, политические эмоции, связанные с воспоминаниями о той декабрьской ночи, когда она пришла на заброшенную вышку вместе с Лидией Николаевной Бархатовой. Восклицания перемежаются цифрами и именами. Так, сообщается, что имеющий на съезде два голоса Богдан принадлежал твердому искровскому большинству и на 21 заседании выступил 45 раз. (Сомнительно, чтобы автор доклада сообщил эти цифры собравшимся. Скорее всего, бабушка всматривалась, записывая, не столько сам доклад, сколько множество раз обсуждавшиеся впоследствии материалы съезда.)

«Делегаты небольшими группами через французскую и германскую территории отправились в Люксембург, а оттуда в Брюссель. Группа, с которой ехал Богдан, состояла из восьми человек. Они двигались по маршруту Базель — Мюльгаузен — Кельн (вдоль Рейна)».

Далее в двух строках дается расстановка сил на съезде: твердые искровцы, «мягкие» искровцы, «болото» и антиискровцы — «три «экономиста» плюс пять бундовцев». «Вопрос о Бунде, — пишет бабушка. — Единство организации. Каждый член партии является представителем всего пролетариата всей России». И все в таком духе.

От первой ко второй странице бабушка пишет все быстрее, стремительнее, точно не поспевает за лектором. Буквы начинают прыгать, чернила разбрызгиваться. Однако невольно вырвавшееся у нее восклицание: «Бог-

дан! Мой Богдан!» — заставляет отказаться от квких бы то ни было сравнений этих записей с конспектом студента-зубрилы и одпозначно закрепить их за восторженной восемнадцатилетней девушкой, какой была бабушка тогда и какой вновь почувствовала себя однажды перед самой войной, когда писала свои воспоминания, лежа в больнице со слишком поздно обнаруженным абсцессом легкого, впоследствии удаленного. При отсутствии пенициллина в то время эти ее записи могли оказаться последними.

Пережив критические дни болезни в Кремлевской больнице, бабушка долечивалась то ли в барвихинском, то ли в кратовском санатории. Так что, скорее всего, эти записи сделаны или, во всяком случае, завершены именно там. После войны она отдыхала и лечилась главным образом в кратовском санатории. Это больничного типа сооружение, похожее на этажерку, было в духе того времени, когда белые брюки и натертые зубным порошком парусиновые туфли считались самой модной одеждой. Санаторий располагался рядом с Поселком старых большевиков, в котором я каждое лето жил с другой бабушкой — Сашей, матерью моего отца.

Бабушка и дедушка по отцовской линии в молодости также занимались профессиональной революционной деятельностью (по только не на юге, а на севере), что послужило, возможно, одной из причин или одним из поводов сближения моих родителей (дети старых большевиков). Вологодского дедушку Федора Григорьевича я уже не застал, поскольку он умер в 1942 году, то есть через год после моего рождения в эвакуации. На выпущенном почтовом конверте Федор Григорьевич выглядит весьма картинно и бурно-пламенно, тогда как на скромных фотографиях, помещенных в книге о нем, у него те самые «глубоко посаженные глаза типично русского человека», о которых говорила бабушка Фаро

в связи с Саратовцем. («Когда-то они тревожили, волновали и правились мне».)

При кратовском доме рядом с лесом имелся большой, отгороженный забором участок, где красный профессор Федор Григорьевич выращивал фруктовые деревья, а его жена, бывшая учительница — цветы.

Может, обо всем этом не следовало упоминать, ибо карабахцы и вологодцы оказались родственниками (по армянским понятиям, близкими) лишь благодаря факту моего рождения. Однако линии жизней южных и северных бабушек-дедушек имели также множество иных случаев пересечься. Другие встречи не состоялись, видимо, только потому, что тот, кто вел линии судеб, чуть поторопился в одном случае и чуть помедлил в другом.

Бабушку Фаро, например, и бабушку Сашу ожидала встреча в петербургском Литовском замке, куда обе были заключены — одна в 1905 году, другая — в 1907-м. В 1914 году дедушка Федя с партией политических ссыльных ожидал в Тюменской тюрьме назначения на жительство в один из северных уездов Тобольской губернии. А Богдан, который был пятью годами старше, в 1907 году был отправлен в пожизненную ссылку в ту же Тобольскую губернию. Дедушка Федя в середине, а бабушка Фаро в конце двадцатых годов преподавали в московском КУТВе — Коммунистическом университете трудящихся Востока. Ну и так далее.

Таким образом, получается довольно длинная цепь родственников, соединенная многими другими знакомыми, малознакомыми и вовсе незнакомыми людьми. Перечислить всех невозможно, но все-таки следует назвать Александра Васильевича Шотмана, который вместе с Богданом Минаевичем Кнулянцем входил в большевистскую фракцию на II съезде партии и с которым Федор Григорьевич был хорошо знаком. Можно также упомя-

путь одного из организаторов Морозовской орехово-зуевской стачки 1885 года — Петра Анисимовича Моисеенко в связи с жизнью бабушки Фаро на занятом белыми Северном Кавказе в 1919 году, где они вместе переживали тяжелую пору. В 1923 году дедушка Федя сопровождал гроб Петра Анисимовича в Орехово-Зуево для торжественного погребения.

«Как тесен мир!» — написал мне однажды в письме отец.

...Я сбегал с крыльца кратовского дома под залихватский щепячий визг Динки, которую продали отцу как кобеля и немецкую овчарку, хотя ни тем, ни другим она не была. Глядя на меня бегущего, Динка приседала, точно перед прыжком, виляла своим тонким хвостиком, залезала лапой в миску с едой, с шумом опрокидывала ее, испуганно шарахалась в сторону, а затем пускалась вдогонку по узкой тропинке в заросли барбариса, который еще только цвел.

Когда я вспоминаю цветущий кратовский сад, густые летние запахи тысяча девятьсот сорок шестого или сорок восьмого года, мельтешенье кустарников, необъятность двух старых лип с гамаком, выставленное на солнце оцинкованное корыто с водой, зарастающую сначала одуванчиками, потом ромашками и пастушьими сумками поляну на участке, а также жужжание пчел и шмелей подле клумб с флоксами, присами, гладиолусами, настурциями и георгинами, — когда я вспоминаю сырые запахи земли, удушливо-пряные запахи овощей на грядках и паш стремительный бег среди яростного лета тридцатилетней давности, у меня кружится голова, я закрываю глаза и мысленно вновь бегу вместе с Динкой (о существовании которой помним, пожалуй, только мы с отцом), бросаюсь в траву (такой высокой, густой и

пахучей теперь не бывает) и чувствую на груди мягкие, подрагивающие от возбуждения щенячьи лапы.

Я вспоминаю жаркий майский день 1903 года, болотистую окраину Санкт-Петербурга. Канун отъезда из России. Мы доехали на конке до последней остановки, а дальше пошли пешком. Лес рядом, в четверти часа быстрой ходьбы. Нас трое: технолог Ваня Мелик-Осипов (он же Мелик-Иосифяц), лесник Коля Топов и я.

Не успели отойти от остановки, как за нами увязалась собака. Мы остановились, подождали, думали, что уйдет, но собака смотрела на нас, заискивающе виляла хвостом и не трогалась с места. Ваня поднял палку с дороги, хотел в нее бросить. Коля Топов не дал:

— Она никому не мешает.

— Все-таки неприятно, когда за тобой кто-то идет и смотрит тебе в спину.

— Даже если это собака,— усмехнулся я.

— Даже если это собака, а не сыщик,— согласился Ваня.

Мы двинулись дальше. Пес упорно следовал за нами.

— Кто-то из нас троих, видимо, шибко ему приглянулся. Сейчас узнаем кто,— сказал я.— Давайте разделимся. Для начала мы с Ваней пойдем налево, а ты, Коля, иди в ту сторону. Сделаем небольшой круг и у опушки встретимся. Если собака пойдет за нами, снова разделимся.

— Прекрасно придумано.

Красивый голос Мелик-Осипова и выразительные манеры делали его похожим на модного артиста. Он был наш, шушинский.

Собака сразу пошла за Колей.

— Ясное дело. Животное безошибочно чувствует добрую душу. Идем к Топову.

- Встретимся, где условились.
- Все и так решилось.
- Она может еще передумать.
- Собака не человек.

И все в таком духе.

Дорога кончилась. Мы шли теперь по неровному сыроватому пустырю.

— Вы когда отправляетесь с Лизой в Шушу? — спросил я.

— В конце месяца.

— Ты, пожалуйста, позаботься о ней.

В Шушу собрались ехать вместе Лиза, Ваня Мелик-Осипов и Анна Лазаревна Ратнер. Я договорился с отцом, что нынешнее лето Лиза и Анна проведут в нашем доме.

— Господи, Богдан, ты бы мог меня об этом и попросить.

С Топовым мы разошлись на достаточно большое расстояние. Собака по-прежнему шла с ним рядом.

— Почему ты мрачный такой? Уж не ревнуешь ли? — Ваня насмешливо взглянул в мою сторону.

— Жалею, что не могу ехать с вами. — Я почувствовал, как краска заливает лицо. — Жарко-то как.

— Настоящее лето.

— Эй! — крикнул я.

Коля посмотрел в нашу сторону, помахал рукой, побежал. Собака, прижав уши и вихляясь всем телом, бросилась за ним следом.

Сильно пахло свежей травой. На небе ни единого облачка. Коля бежал навстречу. Мы уже подходили к чахлому сырому леску.

В тот день я особенно остро почувствовал, как истекают последние мои часы жизни в России.

В тот месяц, когда бабушка Фаро отдыхала в санатории старых большевиков, я часто приходил к ней днем, и она доставала из белой, свежеевыкрашенной тумбочки припрятанные для меня, пахнущие лекарствами булочки, бутерброды и фрукты.

Дом вологодского дедушки, где я жил, стоял неподалеку от санатория, на пересечении двух улиц, рядом с корявой, ничейной, одинокой сосной, мы срывали с нее плотные, клейкие, как бы слепые зеленые шишечки и бросались ими друг в друга. Иногда бегали смотреть, как за железной дорогой работают пленные немцы. В блеклой однородной одежде, они походили на серых мышей.

Если встать лицом к сосне, а спиной к нашему саду, то за вишневыми деревьями углового участка можно увидеть крышу дома, в котором жили Цисманы. Ровесник наш Цисман был маленький сопливый белобрысый мальчик, и мы не любили его за то, что он немец. Может, он и не был немцем. Может, не любили мы его за что-нибудь еще. Но в памяти сохранилось лишь это. Мы не принимали его в свои игры, дразнили «фашистом», били. Как жестоко однажды избили мы Цисмана!

Видимо, он пожаловался. Наверно, мать его приходила в наш дом. Не помню. Во всяком случае, отправившись однажды в санаторий старых большевиков в гости к бабушке Фаро, я застал ее очень печальной. Она сразу спросила о Цисмане. Бил ли я Цисмана? Я признался, что бил.

— За что? — спросила бабушка.

Я ответил, как было на самом деле:

— За то, что он фашист.

— Почему ты решил?

— Потому что он немец.

Бабушка закричала. Она топала ногами и готова была растерзать меня. Я не очень хорошо помню, что

говорила она, хотя потом бабушка уже не повышала голоса. Не сомневаюсь: все, что она не смогла или не успела записать в клеенчатую тетрадь перед войной или записала весьма конспективно, все, что говорил ее брат Богдан на съезде о национализме и интернационализме, все, о чем говорил он в старом сарайчике Асадулаевской фирмы, а также все, о чем думала сама бабушка в связи с национальными проблемами, которые затронул Богдан, критикуя Бунд, она выдала мне сполна и в самом развернутом виде.

Это был не столько урок, сколько действенная прививка, в результате которой вырабатывался пожизненный иммунитет. Время от времени бабушка повторяла профилактические прививки, которые, впрочем, уже не были столь болезненны.

Поэтому теперь, разбирая уверенный почерк бабушки и заковыристый почерк Ивана Васильевича, я воспринимал события, связанные с организацией и проведением II съезда, как нечто имеющее непосредственное отношение к собственному моему опыту.

Делегаты собирались в Женеве. Приезжали легально и нелегально — по-разному.

Гусев (Драбкин). Переодетый реалистом, я добрался до Новочеркасска и, пробив там около недели, пока мне не добыли средства, отправился за границу. После ряда мытарств и злоключений я благополучно перебрался через границу у Волочиска, но из-за недостатка денег застрял во Львове.

Шотман (Берг, Горский). О том, что мне придется ехать за границу на II съезд партии, я узнал в середине апреля. Работал я в это время на чугунолитейном и механическом заводе Людвиг Нобеля, на Выборгской стороне. Было решено, что я перееду границу легально,

так как мне, как финляндскому уроженцу, легко было достать легальный заграничный паспорт. В Гельсингфорсе купил билет до Любека, сел без всяких препятствий на пароход и через два дня благополучно высадился в Любеке. По железной дороге доехал до Гамбурга, где переночевал и купил билет до Женевы.

Крупская (Саблина). Зимой 1902/03 г. в организациях была отчаянная борьба направлений, искровцы завоевывали постепенно положение, но бывало и так, что их «вышибали». Для переговоров по организационным вопросам 6 августа приехал из Питера т. Краснуха с паролем «Читали ли вы «Гражданин» № 47?» С тех пор он пошел у нас под кличкой Гражданин. Из Лондона Гражданина отправили в Женеvu потолковать с Плехановым и окончательно «объискриться».

Д. Ульянов (Герц). Летом 1903 года я перешел нелегально границу около Кишинева.

Крупская. В начале сентября 1902 года приехал Бабушкин, бежавший из екатеринославской тюрьмы. Ему и Горовицу помогли бежать из тюрьмы и перейти границу какие-то гимназисты, выкрасили ему волосы, которые скоро превратились в малиновые, обращавшие на себя всеобщее внимание. И к нам он приехал малиновый. Для через два после приезда Бабушкина, придя в коммуны, мы были поражены царившей там чистотой. Оказалось, порядок водворил Бабушкин. «У русского интеллигента всегда грязь — ему прислуга нужна, а сам он за собой прибрать не умеет», — сказал Бабушкин. Он скоро уехал в Россию. Потом мы его уже не видели. В 1906 г. он был захвачен в Сибири с транспортом оружия и вместе с товарищами расстрелян у открытой могилы.

Лядов (Лидин). В самый разгар предсъездовских дискуссий мне пришлось спешно бежать из Саратова за границу, и здесь уже я получил известие, что выбран на

съезд. Получив мандат, я поехал в Женеву, куда, как я знал, начинали съезжаться делегаты съезда.

Крупская. Из приезжавших в Лондон из России товарищей помню еще Бориса Гольдмана (Адель) и Дольво-Добровольского (Дно). Бориса Гольдмана я знала по Питеру, где он работал по технике, печатая листки «Союза борьбы». Дно поражал своей тихостью. Сидит, бывало, тихо, как мышь. Он вернулся в Питер, но скоро сошел с ума, а потом, выздоровев наполовину, застрелился. Трудна тогда была жизнь нелегала, не всякий мог ее вынести... Всю зиму шла усиленная работа по подготовке съезда. В декабре конституировался организационный комитет. Вся работа по сношениям с ОК в подготовке съезда фактически легла на Владимира Ильича. Потресов был болен, его легкие не были приспособлены к лондонским туманам, и он где-то лечился. Мартов тяготился Лондоном, его замкнутой жизнью и, поехав в Париж, застрял там. Должен был жить в Лондоне Дейч, бежавший с каторги старый член группы «Освобождение труда». Однако, когда приехал Дейч, оказалось, что долгие годы оторванности от русских условий наложили на него свой отпечаток. Для сношений с Россией он оказался совершенно непригодным.

Лядов. Приехав в Женеву, я прежде всего отправился к Плеханову. Когда я начал ему в чем-то противоречить, он посмотрел на меня свысока и заявил: «Ваша маменька еще не была знакома с вашим папенькой, когда я был уже марксистом, а вы спорите со мной!» После такого заявления уже не хотелось ни о чем расспрашивать, да и говорить с ним пропала всякая охота. Он никак не мог понять, что русские рабочие уже не те, с которыми ему пришлось иметь дело в восьмидесятых годах, когда он уехал из России. Его беда, что он вынужден был жить в маленьком сравнительно городишке, вроде Женевы, в котором нет настоящих рабочих.

К п у н я н ц (Р у б е в, Р у с о в). Мы не задавались целью разрушить старую «Искру» или устроить кому-то «политические похороны», как выкрикивали истеричные сторонники Мартова. Перечисление старых заслуг, сохранение «гармонического целого», обвинение большинства в злостном намерении устроить похороны ветеранам — вот их аргументы. Недостойно революционеру с такой обывательской точки зрения судить о партийных делах.

К р у п с к а я. Первоначально съезд предполагалось устроить в Брюсселе, там и происходили первые заседания. В Брюсселе жил в то время Кольцов — старый плехановец. Он взял на себя устройство всего дела.

Л я д о в. Будущий меньшевик Кольцов, который должен был организовать всю подготовку съезда, договорился с вождем бельгийских социал-демократов Вандервельде о том, что никто пренятствовать съезду не будет. Каждый из нас приходил к Кольцову на явку, получал там адрес гостиницы и обедов.

К р у п с к а я. Явка была назначена у Кольцова. Но после того, как к нему пришло штуки четыре россиян, квартирная хозяйка заявила Кольцовым, что больше этих хождений не потерпит и, если придет еще хоть один человек, пусть они немедленно же съезжают с квартиры. И жена Кольцова стояла целый день на углу, перехватывала делегатов и направляла их в социалистическую гостиницу «Золотой петух» (так она, кажись, называлась).

Ш о т м а н. Делегаты на съезд понемногу съезжались. Приехал ростовский делегат Сергей Иванович Гусев, с которым мы с первой же встречи очень подружились. Это был не только хороший революционер, едва избежавший виселицы после знаменитых стачек в Ростове-на-Дону в 1902 году, но он был еще и прекрасный, жизнерадостный товарищ. С ним мы иногда совершали большие прогулки в окрестностях Женевы, где вдали от чопорных женевских мещан распевали удалые русские песни. По приезде

в Брюссель остановились в гостинице. Прописки паспортов в то время в Бельгии не требовалось, и нас никто не спрашивал, кто мы такие.

Крупская. Делегаты шумным лагерем расположились в этом «Золотом петухе», а Гусев, хватив рюмочку коньяку, таким могучим голосом пел по вечерам оперные арии, что под окнами отеля собиралась толпа.

Лядов. Обыкновенно Красиков играл на скрипке, а Гусев, который обладал хорошим баритоном, пел, а чаще всего мы пели хором любимые русские или украинские песни. Иногда наши кавказцы, особенно Кнуляц и Зурабов, пускались плясать лезгинку. Любоваться нашими плясками, послушать наше пение собирались обычно все проживающие в гостинице товарищи.

Гусев. Общеизвестно и не раз уже было описано, как мое шумное пение оказало плохую услугу съезду. В гостинице, где за огромным столом собирались обедать чуть ли не все члены съезда, меня заставляли распевать «Эпиталаму» из рубинштейновского «Нерона», «Свадьбу» Даргомыжского и другие песни. Обеденный зал гостиницы находился на втором этаже и выходил на шумную, но узкую улицу, так что нетрудно было покрыть уличный шум пением. Перед окнами гостиницы собирался народ. Это бросилось в глаза полиции.

Лядов. Слух о наших вечерах распространился широко по всему рабочему Брюсселю. Понятно, и полиция обратила на них внимание, особенно, когда, как мы это узнали позже, русские власти категорически потребовали от бельгийских властей помешать съезду русских «ингилстов».

Крупская. Со съездом переконспирировали. Бельгийская партия придумала для конспирации устроить съезд в громадном мучном складе. Своим вторжением мы поразили не только крыс, но и полисменов. Заговорили

о русских революционерах, собирающихся на какие-то тайные совещания.

Л я д о в. Для заседания съезда брюссельские социал-демократы предоставили нам кооперативный склад, где до этого хранились шерсть или тряпье.

Ш о т м а н. Собрались мы в довольно мрачном, почти без окон зале, где-то чуть ли не на чердаке.

Л я д о в. Там были поставлены простые скамьи и один стол для президиума.

Ш о т м а н. Сидеть пришлось на пеструганых сырых досках, стулья были только в президиуме.

Л я д о в. Плеханов открыл съезд. Во время первого заседания все вдруг обратили внимание на то, что делегаты все чаще и чаще начинают чесаться.

Ш о т м а н. Возникло какое-то странное движение. Все начали нервно вздрагивать, потом оглядываться. В президиуме тоже начали сначала переглядываться, потом шептаться. Через несколько минут один за другим делегаты стали вскакивать, нервно передергивать плечами и, как-то виновато оглядываясь по сторонам...

Л я д о в. ...выбегать один за другим из помещения. То же начало происходить и с только что выбранным президиумом.

Ш о т м а н. Когда почти половина делегатов таким образом покинула «зал» заседания...

Л я д о в. ...Плеханов предложил устроить перерыв. Это было очень кстати.

Ш о т м а н. Сидеть стало совершенно невозможно.

Л я д о в. Оказывается, на нас напали целые полчища блох, и самые европейские из нас вынуждены были самым неприличным образом чесаться.

Ш о т м а н. Заседание немедленно было прервано, и все стремглав, чесываясь, бросились к выходу.

Л я д о в. Пришлось все помещение тщательно вымыть, встряхнуть всю пыль, и только после этого мы могли про-

должать наши занятия. Когда съезд высказался за принятие пункта о «самоопределении национальностей», делегаты социал-демократии Польши и Литвы, считавшие этот вопрос уступкой их противникам, подали заявление об уходе со съезда. Вслед за ними ушли со съезда и представители Бунда.

К р у п с к а я. Владимир Ильич страстно мечтал о создании единой сплоченной партии, в которой растворились бы все обособленные кружки со своими основывавшимися на личных симпатиях и антипатиях отношениями к партии, в которой не было бы никаких искусственных перегородок, в том числе и национальных. Отсюда борьба с Бундом. В одиночку еврейский пролетариат не мог никогда победить. Только слившись с пролетариатом всей России, мог он стать силой. Бундовцы этого не понимали.

К н у н я н ц. Мне приходилось работать на одной из окраин, которая по разноплеменности состава населения подходит к тем условиям, при которых работает Бунд. У нас совершенно отсутствует организационный сепаратизм, проявляющийся так сильно в Бунде за последнее время. В каждом из наших городов существуют комитеты партии, работающие на нескольких языках, до сих пор на трех (русский, грузинский и армянский), а если понадобится, и на четырех (еще татарский). Я считаю, что каждый член партии является представителем всего пролетариата всей России. Только организовавшись в единую, вполне самостоятельную партию, без различия национальностей, пролетариат России может стать той могучей политической силой, которая способна будет сделаться действительным авангардом всех революционных сил страны и сломить вконец самодержавие.

К р у п с к а я. Бунд клал на обе лопатки.

Ш о т м а н. Если не ошибаюсь, больше всего времени отняло у нас обсуждение вопроса о месте Бунда в партии.

К р у п с к а я. Многим практикам казалось, что эти

споры носят чисто кабинетный характер. Мы вспоминали однажды с Владимиром Ильичем одно сравнение, приведенное где-то Л. Толстым: идет он и видит издали — сидит человек на корточках и машет как-то нелепо руками; он подумал — сумасшедший, подошел ближе, видит — человек пох о тротуар точит. Так бывает и с теоретическими спорами. Слушать со стороны — зря люди препираются, выскнуть в суть — дело касается самого существенного.

Гусев. Я первый заметил за собой слежку.

Лядов. Мы начали замечать все более усиливающуюся слежку за нами и русских и бельгийских полицейских агентов. Наконец, Землячку вызвали в полицейское управление и объявили, чтобы она в двадцать четыре часа покинула Брюссель.

Гусев. Когда меня вызвали в полицию, я любезно сообщил, что я румынский студент Романеско, а в Брюсселе нахожусь по своим интимным (сердечным) делам. Мне выдали проходное свидетельство с предложением покинуть в двадцать четыре часа пределы Бельгии.

Шотман. Бельгийская полиция предложила четырем нашим делегатам — гг. Землячке, Гусеву, Книпянцу и Зурабову — выехать из пределов Бельгии в двадцать четыре часа. Почему, зачем, никто не знал.

Лядов. Тогда мы поручили Кольцову вместе с Плехановым выяснить у Вандервельде, который гарантировал нашу безопасность, в чем дело, какая нам грозит неприятность. Скоро наши делегаты вернулись от Вандервельде. Он посоветовал как можно скорей убраться из Брюсселя, так как в противном случае нам всем грозит арест и высылка в Россию, потому что русское министерство иностранных дел через посла предупредило, что будто бы приехали важные русские анархисты, а по отношению к анархистам между всеми странами существует соглашение о выдаче их властям.

Автор. О выдаче и «препровождении в распоряжение

иркутского генерал-губернатора для приведения в исполнение высочайшего повеления 23 июля 1903 года».

Шотман. Оставалось только собрать вещи и выметаться из «свободной» Бельгии. Мы, привычные к слежке в России, часто смеялись над неопытностью бельгийских шпииков: они ходили за нами, совершенно не скрывая этого, и когда мы иногда, желая их подразнить, брали одиноко стоящего извозчика и уезжали, то шпиики некоторое время буквально бежали вслед за нами.

Крупская. Пришлось перебираться в Лондон...

Лядов. ...паскоро, маленькими группами, через различные порты.

Шотман. В Бельгии удалось нам только конституироваться и припять порядок дня или, как тогда говорили, «тагесорднунг».

Лядов. Мы сели на отходящий в Лондон поезд и через несколько часов уже въезжали в английскую столицу. Долго ехали по улицам Лондона или, вернее, по туннелям под городом. Впрочем, трудно было сразу разобрать, едем ли мы по туннелю или по улице: такой стоял туман и так много было копоти и дыма. Сами улицы с узкими, высокими, совершенно однообразными домами производили впечатление туннеля. Мы ехали, как я потом узнал, по рабочим кварталам и наконец приехали на станцию Чаринг-Кросс. Сама станция, куда мы приехали, была заполнена массой пассажиров, которые входили и выходили из целого ряда прибывающих и отъезжающих поездов. Все это произвело на меня ошеломляющее впечатление, тем более, что в нашей компании я был единственным человеком, который еще не бывал в Лондоне.

Крупская. В Лондоне устройству съезда всячески помогли Тахтаревы. Тахтарев — медик не то четвертого, не то пятого курса. Полиция лондонская не чинила препятствий.

Лядов. Лондон, Гайд-парк, воскресные тамошние ми-

тинги производили сильное впечатление. Особенно на тех, кто в первый раз попал за границу. Каждый оратор приходил вместе с небольшой кучкой «поклонников», приносил с собой либо скамейку, либо специально изготовленный помост, с которого можно было говорить, взбирался на него или на скамейку и начинал свою речь. Слушатели постепенно подходили все новые и новые. Если оратор говорил интересно и сумел заинтересовать, толпа все более росла. Если он не сумел заинтересовать, толпа слушающих все более редела, оставались лишь те, кого он привел с собой, часто его родственники или знакомые, которые шумными возгласами одобрения тщетно старались привлечь новых слушателей... Жалко, что работы на съезде оставляли нам очень мало свободного времени.

Шотман. Однажды, в первые же дни после приезда, когда мы возвращались после одного заседания, уличные мальчуганы начали бросать в нас гнилой картошкой, комками мокрой бумаги и прочей дрянью. Чем это было вызвано, не знаю. Вероятно, англичан возмутила эта разношерстная публика, продолжавшая на улице неоконченные споры, происходившие на съезде. А толпа наша была действительно разношерстная. Какие только национальности и костюмы не были представлены делегатами! Один Рашид-бек (Аршак Герасимович Зурабов) чего стоил, когда он со свойственной кавказскому темпераменту горячностью начинал на улице убеждать инакомыслящих! Когда мы на следующий день выходили из этого же помещения, у дверей стоял рослый английский полисмен, как оказалось, поставленный по просьбе профсоюза специально для охраны нашего съезда.

Лядов. На съезде нам приходилось заседать и днем и вечером, иногда до поздней ночи, а после, когда уже резко проявился раскол, приходилось в перерыве между утренним и вечерним заседаниями устраивать еще и фракционные заседания.

Крупская. Над съездом начали понемногу скопляться тучи. Предстоял выбор тройки в ЦК... Все знали друг друга не только как партийных работников, но знали и личную жизнь друг друга. Тут была целая сеть личных симпатий и антипатий... Борьба во время выборов посила крайне острый характер. Осталась в памяти пара предвыборных сценок. Аксельрод корит Баумана (Сорокина) за недостаток якобы нравственного чутья, напоминает какую-то ссыльную историю, сплетню. Бауман молчит, и слезы у него на глазах. И другая сценка. Дейтя что-то сердито выговаривает Глебову (Носкову), тот поднимает голову и, блеснув загоревшимися глазами, с досадой говорит: «Помолчали бы вы уж в тряпочку, папаша!»

Гусев. После окончания одного доклада несколько минут никто не брал слова, несмотря на неоднократные приглашения председателя. Мне стало пеловко из-за товарищей, ибо получалось так, будто приезжие боятся выступать перед вождями, и я решился попросить слова... Отвечал мне какой-то неизвестный черпавый молодой человек в пенсне и с длиннейшей шевелюрой. Ответ был очень резок по форме. Это, впрочем, было тогда в духе времени и меня не удивило. Но что неприятно поразило — это потка высокомерия, которая звучала в ответе. Таково было мое первое знакомство с Троцким... На 25-м заседании выплывает вопрос о Совете партии, и в зале заседаний создается еще более напряженная атмосфера, чем при обсуждении первого параграфа. За сравнительно спокойными дебатами о Совете чувствуется глухая борьба, происходящая за кулисами съезда. Низкая зала, скупой желто-серый лондонский свет, какая-то суровая тень на всех лицах. Наконец наступает историческое, решающее 30-е заседание. После принятия двух мелких резолюций председатель заявляет:

— На очереди стоит вопрос о группе «Южный рабочий»...

Л я д о в. Каждый из нас, работающих в России, ясно понимал необходимость создания единомыслящей и единой действующей партии.

Г у с е в. Наступает долгое молчание, длящееся несколько минут. Вопрос полностью ясен, неоднократно обсуждался и был предрешен на предшествующих заседаниях. Все знают, что «Южный рабочий» будет распущен и что никакое иное решение уже невозможно. Молчание становится все более тягостным. Наконец я беру слово и предлагаю товарищам из «Южного рабочего» высказаться. Но один из представителей «Южного рабочего», Попов, притворяется, что они будто бы не понимают, чего от них хотят.

— Когда речь шла о других организациях,— говорит он,— их никто не заставлял высказываться.

Вновь наступает длительное молчание, и мне приходится вновь взять слово, чтобы «нанести смертельный удар» приговоренному к смерти «Южному рабочему». Стараюсь сделать это в возможно мягкой форме... Впрочем, я великодушен и могу согласиться на то, чтобы это богопротивное дело сделал будущий ЦК... Представителей «Южного рабочего» не так-то легко сдвинуть с места, и выступающий вслед за мной его второй представитель, Егоров (Левин), предлагает, чтобы высказались не они, а съезд.

— Если подобная организация не вредна партии,— говорит Егоров,— то ее не к чему распускать. «Искра» сочла необходимым себя распустить, «Южный рабочий» этого не находит нужным...

А в т о р. Бедному Гусеву в третий раз приходится брать слово.

— Все уже достаточно говорили,— поясняет Гусев,— что «Южный рабочий» был очень полезен. «Искра» была

еще более полезна, однако она сочла нужным объявить себя распущенной, раствориться в партии.

Наконец в эти деликатные прения ввязывается Русов (Кнузянец) с предложением распустить «Южного рабочего».

Его карабахский темперамент не выдержал всей этой тяготы.

Русов. Вопрос вот в чем: нужны ли нам, кроме партийного органа, другие местные органы, вроде «Рабочей мысли», «Южного рабочего», «Нашего дела», не сравнивая их качественно?

(Ремарка Гусева: «Егоров устраивает Русову истерический скандалчик».)

— Это ложь, — кричит Егоров. — Нельзя ставить на одну доску «Южный рабочий» и «Рабочую мысль».

Председатель обрывает Егорова. В зале заседания всеобщее волнение и крики: «К порядку! Возьмите свои слова обратно!»

(«Скандалчик ликвидирован, — комментирует Гусев. — Прения разворачиваются».)

Русов. Нервное возбуждение и страстная атмосфера при обсуждении вопроса о выборах членов редакции привели к тому, что из уст революционеров раздаются такие странные речи, которые находятся в резкой дисгармонии с понятием партийной работы, партийной этики. Основной довод, на который стали противники выбора троек, сводится к чисто обывательскому взгляду на партийные дела. Если вы не выбираете Ивана Ивановича, видного деятеля партии, вы выражаете ему недоверие и этим наносите оскорбление... Куда же, товарищи, нас это приведет? Если мы собрались сюда не для взаимно приятных речей, не для обывательских нежностей, а для создания партии, то мы не можем никак согласиться на это... Я удивляюсь, как именно т. Троцкий, а не кто иной, нападает на выбор троек. Не оп ли на предварительных



собраниях в Брюсселе защищал с пеной у рта принятый порядок дня? И ни словом не упомянул о такой ереси в нем, как выбор троек.

Ленин. План выбора двух троек был рассчитан явным образом: 1) на обновление редакции, 2) на устранение из нее некоторых черт старой кружковщины, неуместной в партийном учреждении (если бы нечего было устранять, то незачем бы и придумывать первоначальной тройки!), наконец, 3) на устранение «теократических» черт литературской коллегии... И вот на съезде тов. Русов прежде всего и предложил выбрать *две тройки*.

Троцкий. Я хочу возразить «молодому революционеру» Русову.

(«Шум» — отмечено в стенограмме.)

Бекон (Зурабов). Прошу не употреблять таких выражений, как «молодой революционер»! Это еще вопрос, кто моложе — он или вы!

Автор. Троцкий был на год моложе Кнунянца.

Гусев. Я вернулся в зал заседаний к началу речи Русова. В издании протоколов «Прибоем» эта речь ошибочно приписана мне.

(В стенограмме сказано: «Голосуется предложение Русова». Резолюция Русова: «Съезд постановляет выбрать трех лиц в редакцию Центрального Органа тайным голосованием». Принимается большинством 25 против 2, при 17 воздержавшихся.)

Крупская. Съезд кончился. Раскол был палицо.

Ленин. Мы бы посоветовали всем, кто хочет самостоятельно разобраться в причинах партийного раскола и доискаться *корней* его на съезде, *читать и перечитывать* речь тов. Русова, доводы которого меньшинство не только не опровергло, но и не оспорило даже. Да и пельзя оспорить таких элементарных, азбучных истин, забвение которых уже сам тов. Русов справедливо объяснял одним лишь «*нервным возбуждением*».

Шотман. Из тридцати семи заседаний съезда в память врезалось заседаний десять, не больше. По неопытности или по каким другим причинам по некоторым, даже незначительным в конечном счете, вопросам прения чрезвычайно затягивались, и казалось, им конца не будет. В таких случаях некоторые из нас, в том числе и я, грешный...

Автор. А Богдап?

Шотман. ...и я, грешный, незаметно скрывались и, гуляя по блестящим улицам, наблюдали за жизнью европейского города. Единственным, кажется, делегатом, не пропустившим не только ни одного заседания, но даже ни одного слова выступавших делегатов, был В. И. Ленин.

Лядов. После окончания работ съезда он предложил всем большевикам поехать на могилу Маркса. Повел нас через запутанный и сложный лабиринт многочисленных пересадок на автобусы, трамваи, и наконец, после очень долгого пути, мы достигли кладбища. Владимир Ильич предложил нам прежде всего обратиться к сторожам с просьбой указать, где расположена могила Маркса. Мы обратились к нескольким сторожам. Все они ответили, что знают расположение могил только известных людей, которые часто посещаются, а могилу мистера Маркса никто не посещает, и о ней никто не справлялся, и поэтому только в конторе нам могут дать справки о том, где она расположена. Но Ленину не пришлось обращаться в контору. Он уверенно провел нас к могиле. Могила этого величайшего человека была совершенно запущена, очевидно, никем не посещалась.

Гусев. Я сорвал себе на память миртовый листок с могилы и долго хранил его. В 1906 году во время ареста жандармы почему-то забрали его. Что они заподозрили в невинном миртовом листке, не могу до сих пор себе представить.

Лядов. Теперь можно смело сказать, что в этот па-

мятный день по-настоящему в виде маленькой кучки восемнадцати никому до того певедомых русских социал-демократов заложен был камень большевизма, призванного историей обновить весь мир.

Гусев. С кладбища пошли в большой парк и уселись там на травке. В центре восседал Плеханов и воодушевлял нас на дальнейшую борьбу против меньшевиков. Какой-то досужий фотограф, увидев группу несомненных иностранцев, вознамерился сфотографировать нас и этим нарушил дальнейшее изложение воинственных планов Плеханова. Попастъ на фотографию перед отъездом в Россию нам было не с руки.

На несостоявшейся фотографии в лондонском парке Богдан Кнуянц, по-видимому, должен был бы сидеть на траве рядом с Мартыном Лядовым, которому через семнадцать лет после того памятного дня будет суждено отправить его единственного сына Валентина, найдепного в детском доме среди беспризорников, по железной дороге на освобожденную Красной Армией станцию Минеральные Воды. После смерти Елизаветы Васильевны Голиковой в 1919 году (как и Богдан, она умерла от тифа) одиннадцатилетний Валя остался круглым сиротой и, приехав с санитарным поездом на Северный Кавказ, стал как бы вторым сыном своей родной тетки, третьим ребенком в семье.

Он привез с собой швейную машинку «Зингер» и бархатное зеленое покрывало — единственное, что осталось от матери. До сих пор бабушка Фаро шьет иногда па ней, а от зеленого бархатного покрывала сохранились одни лоскуты.

Но тогда, расположившись на августовской траве лондонского парка, по-северному свежей, как бакинская трава весной, ни двадцатипятилетний Богдан, ни его

тридцатилетний товарищ не могли, конечно, знать своей далекой судьбы.

Впрочем, не без оснований, я думаю, вспоминая послесъездовские баталии в осенней Жепеве, Надежда Константиновна называет Елизавету Голикову Лизой Кпунянц, тогда как бабушка Фаро, описывая лето 1903 года, говорит о ней как о певесте брата.

«Красивая девушка», — пишет о ней бабушка в своих воспоминаниях. Правда, многие, если не все, кого бабушка любила, становились в ее воспоминаниях «милыми», «умными» и «красивыми».

«Я сказала тогда Богдану, — записала через много лет бабушка, — что мама и папа полюбили Лизу. Он очень торопился. Быстро простился с нами и исчез вместе с каким-то незнакомым высоким человеком. На прощанье успел шепнуть мне, что уезжает из Баку сегодня же, что мы теперь не скоро увидимся.

— Постарайся кончить гимназию. И напиши, пожалуйста, старикам, что видела меня живым и здоровым.

Долго говорили мы потом с Лидией Николаевной Бархатовой о Богдане, о съезде. Я была переполнена впечатлениями и, конечно, долго не могла заснуть в эту знаменательную для меня ночь».

ГЛАВА VI

В каждом доме Поселка старых большевиков хранился флаг, который вывешивали всякий раз в преддверии революционных праздников. Закрыв глаза, я вижу отца, который обстоятельно, не спеша, как все, что он делал, выносит с крыльца уже освобожденный от чехла флаг, держась за древко обеими руками. Такими же чехлами была покрыта мебель одной из двух зимних комнат дома, уставленной цветами в горшках, что придавало ей сходство с палатой санатория старых большевиков. В другой комнате бело-серый чехол покрывал лишь кожаный диван под большим, отпечатанным в типографии, застекленным портретом в деревянной раме. На этом диване я лежал в малярийной горячке то ли в сорок шестом, то ли в сорок седьмом году, оглушенный хиной, накрытый несколькими одеялами, которые не могли согреть меня. Я вспомнил этот диван, куда-то бесследно исчезнувший с годами портрет, а также флаг в чехле много лет спустя, когда умирал от тифа в одной из московских больниц, мучимый нестерпимой головной болью и навязчивыми видениями. Мне чудилось, что я снова лежу под портретом, черты которого искажает неровное стекло и блики на нем, обесцвечивающие то одну, то другую часть изображения. В ночных кошмарах меня преследовало это лицо, меняющее свои очертания из-за световых провалов на месте носа, рта, подбородка, щеки, лба с крутым изгибом нависших над ним жестких, темных волос.

И тогда, в мае девятьсот одиннадцатого, когда я умирал от тифа в бакинской тюремной больнице, меня мучил выплывающий из небытия лик. Порой мне чудилось самодовольное усатое лицо императора, которого хотели свергнуть еще при мне, в 1905 году, но свергли только в 1917. Кто-то спрятал его портрет на пыльный, темный чердак,

в потайное место старого дома, чтобы в пазпаченный час извлечь оттуда, смахнуть паутину и вновь повесить на самом видном месте, будто мало пролили крови народной в борьбе за свободу и всеобщее счастье, будто все это было напрасно: кровь, баррикады, ссылки, больничная койка, на которой я оканчивал земное свое существование в мае тысяча девятьсот одиннадцатого года.

То я видел перед собой усталое лицо товарища, то гнусное лицо предателя — чем-то очень знакомое мне лицо. Мысли мои смешались. Я лежал прикованный к постели, голова раскалывалась от нестерпимой боли, и я никак не мог восстановить в памяти его имя, чтобы сообщить товарищам. Находясь в совершенно беспомощном состоянии, я не имел сил встать, броситься, задушить своими руками это ничтожество, опоганившее звание революционера, выжившее ценой подлости.

Лицо выплывает издалека, приближается, исчезает, вновь возникает, а рядом с ним я вижу паш флаг, лица демонстрантов, крупы коней, взлетающие нагайки, опадающие над толпой листки.

...Полуразвернутый флаг, который выносит мой беспартийный отец из дверей кратовского дома, почти касается деревянных ступеней. Мне почему-то кажется, что в эту самую минуту он собирается запеть своим низким голосом революционную песню, безбожно перевирая мотив. Я готов услышать, как фальшивит певец, хотя сам спел бы не лучше.

В моих воспоминаниях по-дачному одетый отец похож на картинного рабочего, бесстрашно идущего навстречу полицейским пулям и казацким пашкам.

Мог ли я знать уже тогда, что люди прошлого, настоящего и будущего живут на земле одновременно? Живут, находясь в разных плоскостях, которые время от времени пересекаются. Куда-то спешат, любят, ищут свою звезду, соприкасаются, пересекаются, сопереживают. Знал

ли я, что один и тот же огонь перескакивает из сердца в сердце, как с крыши на крышу перелетают искры при страшных деревенских пожарах? Что всякая судьба — всегда продолжение и даже частичное воспроизведение далеких судеб прошлого и будущего.

На берлинском вокзале (кажется, по пути в Россию) к Богдану подошла старая армянка и попросила денег.

Она не задала обычный в таких случаях вопрос: «Ты армянин?»

— Ты — армянин, — сказала она как о чем-то само собой разумеющемся. — Ты должен мне помочь. Я из Битлиса, ты знаешь.

Откуда ему было знать?

— Я еду к сыну, — продолжала старуха. — У меня не хватило денег. Ты скажешь, где тебя пайти, я отдам. Сын учится в Париже. У меня больше никого не осталось. Они всех убили. Битлис, ты знаешь. Я еду оттуда. Оттуда бегу. У меня не осталось ни слез, ни родных. Ты сам из России?

Он кивнул.

— Ты — армянин. Скажи, почему армяне не могут соединиться, чтобы защитить себя? Ведь когда-то они были сильными. У османов ружья, штыки и ножи, а у нас — ничего. Они изнасиловали мою дочь, потом убили. Они зарезали моего мужа. Почему они не убили меня? Они бросают в огонь живых людей. Они распарывают животы женщинам. Когда кончатся наши страдания? Ты молодой, ты должен знать. Из России приезжали армяне с оружием. Но их мало. Почему не идут другие?

Мимо шли люди, оглядывались, кто-то из стоящих неподалеку прислушивался к гортанным звукам плачущей речи.

Он должен был что-то ей объяснить, чем-то утешить, успокоить, но здесь, на вокзале, сделать это было невозможно, невозможно. Через полчаса уходил поезд.

Особенно теперь, после съезда, где уйму времени потратили на дебаты по «национальному вопросу», встреча с полусумасшедшей старухой подействовала на него угнетающе.

— Ты знаешь: они хотят погубить армян.

Старуха протягивала к нему трясущиеся костлявые пальцы, ее выбившиеся из-под черного платка волосы были совершенно седыми.

— Пусть покарает их бог. Но чего ждут армяне?

Сумасшедшая старуха повторяла одно и то же. А другие? Разве не о том же твердили на шуминском бульваре, в полицейских участках, на собраниях, в богатых квартирах и в компатах бедняков? Мир постепенно сходил с ума. О чем бы ни заходил разговор, он непременно сводился к проблеме «проклятых османов», «бедных армян», «неблагодарных инородцев», русских, евреев. Люди словно бы помешались на одной страсти. Все зло мира, его неисчислимые беды с маниакальным упорством пытались свести к одному: не будь османов, люди зажили бы иначе, по-новому.

Всеобщее вращение умов вокруг «национального вопроса» явилось, по-видимому, чем-то вроде осложнения, флюса, опухоли, выросшей на теле новой, осознавшей свою неповторимость культуры. Это был, разумеется, кризис, давняя смертельная болезнь, путь наименьшего сопротивления, связанный с самоутверждением одной нации за счет подавления другой.

Богдан дал женщине денег и испуганно отшатнулся, когда та схватила его за руку:

— Благослови тебя бог.

Не хватало еще, чтобы она поцеловала руку.

— Погадаю тебе,— сказала она.

— Я о себе почти все знаю,— улыбнулся Богдан.

— Почти,— покачала головой старуха.— Еще вспомнишь меня.

Она вцепилась в его ладонь своими сухими, скрюченными пальцами.

— Долгая жизнь.

— Как же так? Вот, на самой середине, линия обрывается.

— Обрывается. Дальше продолжается,— сердито возразила старуха.— Сто лет проживешь. Больше ста лет. Согни ладонь. Один ребенок у тебя. Одна жена. Болезнь. Несколько линий сходятся в одну, видишь? Такой руки никогда не встречала. Умный ты человек. Бродячий человек. Артист? — подняла старуха мутноватые свои глаза.

Он отрицательно покачал головой.

— Много лиц у тебя,— не стала уточнять старуха.— Много имен. При одной-то душе. Опасный ты человек. Добрый человек. Благослови тебя бог.

Последние ее слова заглушил долгий гудок паровоза.

Своего идеального, или, как сказала бы бабушка, идейного, героя я разыскивал в пожелтевших страницах старых изданий, между казенных газетных строк, посвященных юбилеям, в бабушкином дневнике и в записках покойного Ивана Васильевича Шагова. В них я находил все новые детали, факты, живые следы событий, как больная собака находит, жует и глотает одну ей известную траву.

Меня интересовало все, что было связано с любовью моих будущих идеальных героев — Богдана и Лизы, вопреки лестным отзывам бабушки, не показавшейся мне на фотографиях ни красивой, ни даже хорошенькой. С другой стороны, трудно было представить, что Богдан мог не полюбить эту высокую, ладную барышню, попову дочку, бесстрашную курсистку, пострадавшую от казацкой шаш-

ки во время студенческой демонстрации на Казанской площади в Петербурге.

В начале общей тетради, которую я опрометчиво принес в дом ради нескольких химических формул, даже не догадываясь, к чему это приведет, говорилось, что Мирзаджан-бек был против их брака. Во-первых, потому, что Лиза русская. Во-вторых, «Богдан должен сначала в люди выйти, а потом о женитьбе думать».

— Не хочет же он угодиться неудачнику брату, который, вместо того чтобы получить высшее образование, обзавелся семьей и теперь влачит полужалкое существование акцизного чиновника.

— Ты же сам говорил, папа, что Тарсай не стал учиться, чтобы младших братьев в люди вывести.

— Говорил, милая, говорил. И теперь говорю. Брат ради них карьерой своей пожертвовал. Они бы должны это ценить. Чего не хватает им? Их дело — учиться. Зачем Богдан с этой девушкой связался? Одна приехала, одна уехала, все вечера с Мелик-Осиповым проводила. Не правится мне это. А с политикой зачем связались? Что Людвиг, что он, что невеста его. Родителей не жалко, себя бы хоть пожалели. Мало ему наших девушек, чтобы непременно па русской жениться. О его благополучии пекусь.

— Ты же сам говорил...

— Да, не отрицаю. И в русскую школу заставил тебя идти, когда армянскую закрыли. Ум, знания, талант не могут принадлежать одной нации. Я русскую литературу люблю не меньше, чем персидскую поэзию. Сколько лет каждый вечер пересказывал вам содержание русских книг. Впрочем, ты была тогда совсем маленькой.

— Не совсем, папа. Прекрасно все помню.

— В суде я равно защищаю людей от притеснений армянских меликов и татарских беков. Никто не посмеет сказать, что меня беспокоят пересуды болтливых кумушек. Молодые приходят ко мне за советом. Все лето дом

полов вашими друзьями. Им не скучно со мной. Ничего не могу сказать, у меня хорошие дети. Но многого еще не понимаете. К сожалению, вас убедит только время. Жизнь совсем не такая, какой представляется в юные годы: в чем-то менее сложная, в чем-то — более. Вам же кажется, что вы первые любите, первые мечтаете о совершенном устройстве жизни. Но сколько было до вас! И сколько будет после.

Старик потряс седой, коротко стриженной головой, насупись, замолчал.

Окна в комнате были открыты, на подоконниках алела гвоздика. Опоясывающая дом деревянная галерея утопала в цветах, так что нижней части улицы, ведущей к почте, откуда двухэтажный дом на вершине шушинской горы был все еще виден, эти цветы походили на языки пламени.

Девушка бросилась к отцу, обняла, прижалась смуглыми, шелковистыми губами к колючей, по-стариковски небрежно бритой щеке. От ее густых, пушистых, собранных в рассыпающийся пучок волос исходил запах солища и гимназической юности. Как в детстве, она уселась к отцу на колени, обняла за шею:

— Милый, милый папа!

Она все крепче обнимала его, прятала лицо, и Мирзаджан-бек почувствовал вдруг, как теплая капля, щекоча, поползла за воротник.

— Фаронька, что это?

Она быстро встала, отвернулась, подошла к окну, комкая платок.

— Все мы очень виноваты перед тобой и перед мамой. Мы эгоисты. Живем своей жизнью, а вы тут одни.

— Полно, деточка, полно. Напротив, я рад, что у меня такие самостоятельные дети, которые сами себя содержат, учатся. Нам с Сонипкой ничего не пужно, лишь бы вы были счастливы. Богдан — замечательный парень. Да и

Лиза, видно, хорошая. Только уж очень много в ней резкого. А Богдан мягок. Боюсь, погубит она его.

— Лиза чудесная девушка.

— Неужели в Шуше мало чудесных девушек?

— Не вы ли с Нанатюль-баджи говорили когда-то, что нет в нашем городе жениха, достойного меня?

— Мужчина — это совсем другое, дорогая... Вот уехала Лиза, и беспокойно стало мне за Богдана.

— Напрасно, папа. Он сильный. Знаешь, как уважают его в Баку!

— Да? — переспросил отец, будто не расслышав. — Ты говоришь, его уважают?

— Даже люди, которые его много старше, прислушиваются к его мнению.

— Это правда, — оживился отец. — Богдана уважают. Вот приехали вы, а соседи спрашивают: когда же Богдан наш приедет?

— Он очень занят.

— И Аракел спрашивал, и Гочи, с дочерьми которого ты занималась, и даже эта старая дура, мать цирюльника. Летом ведь нет занятий.

— У него много платных уроков.

— Столько уроков, сколько в Шуше, ему нигде не достать. Все состоятельные шушинцы хотели бы видеть его у себя репетитором.

— Но есть и другие дела.

— Знаю, — сказал отец, вновь помрачнев. — Политика. Политика, которая когда-нибудь его погубит. Каждую неделю нисьма присылает. И о чем пишет?

— Он так тебя любит.

— Вырезки газетные присылает. Там — демонстрация, там — беспорядки. Одного не пойму. Он ведь такой способный. Зачем ему политика? Если бы ни на что другое не годился...

— Ты не прав. Политика — паша жизнь.

— Теперь все лезут в политику. Об одном забывают: кто с вороной дружит, тому и в навозе копать.

— Сейчас, папа, просто невозможно находиться в стороне от общественной жизни. Скоро все изменится, в стране произойдут большие политические события.

— Откуда это тебе известно? — с подозрением спросил отец.

— Число недовольных все увеличивается. Тебя ведь возмутил царский указ о передаче правительству армянских церковных имуществ.

— Да, доченька. Ты знаешь, как я отношусь к церкви. Потому и не достиг в жизни больших высот. Но это мое право — ходить или не ходить в церковь, уважать или не уважать ее. А оскорблять целый народ никому не позволено. И вот, когда русское правительство закрывает армянские школы и хочет «обрусить» Кавказ, Богдан собирается жениться на русской! Виданное ли дело? Ему этого никогда не простят. Здороваться перестанут, а то и убьют. Рассказывают, что на днях в Елисаветполе творилось что-то страшное. У епархиального управления собралась толпа. Люди протестовали. Это ведь такое дело. Духовенство было в материальной зависимости от паствы, а теперь превратится в правительственных чиновников. Администрация вызвала войска. Говорят, много убитых, раненых. Церкви запечатаны...

Мать стояла в дверях, ждала. Она уже некоторое время незамеченная присутствовала при их разговоре, но, поскольку говорили не по-армянски, мало что понимала. С сыновьями Мирзаджан-бек всегда говорил по-русски, а в последние годы — и с младшей из младших, единственной дочерью.

— Что, обедать пора уже, Сонинка? Идем, идем.

Из окна была видна вся Шуша: белые кубики домов, деревья, похожие издали на мелкий кустарничек. Армянская часть города незаметно переходила в нижнюю, та-

тарскую часть. Справа виднелся многоярусный шушинский сад, а слева, рядом с резервуаром для сбора воды, — русские казармы. Внизу в городе было жарко, а здесь, на горе, всегда дул ветерок. Скажи кому, что через два года с городом случится несчастье, пожалуй бы, ни один из шушинцев этому не поверил. В таком городе, как Шуша, никогда ничего не случается. Тем более трудно было верить в то, что несчастье придет не извне, но возникнет и разовьется в самом городе, как неизвестно откуда возникает и развивается страшная, таинственная, неодолимая болезнь.

Видимо, поздним летом 1903 года, — а именно тогда состоялся разговор Мирзаджан-бека с дочерью, — предвещающий беду маленький, величиной с горошину, незаметный шарик уже образовался. Он не болел, ничем не выдавал себя и тем был страшен. Антирусские настроения постепенно переходили в антитатарские. Вспыхнувшая в августе 1905 года армяно-татарская резня кажется сегодня, с расстояния семидесяти лет, первым симптомом злокачественной опухоли, которая еще через пятнадцать лет привела к гибели Шуши. Родившиеся в августе 1903 года армянские девочки успели стать к тому времени невестами, однако прибывшим с XI Красной Армией женихам достались лишь их изуродованные мертвые тела, разрезанные на куски и брошенные в колодцы.

Никому из участников проходившего в комнате второго этажа шушинского дома разговора — ни отцу, ни его дочери, — не было суждено увидеть гибель родного города. Ее свидетелем стала недвижно стоящая в дверях мать, чье худое, печальное лицо с глубоко запавшими глазами уже тогда напоминало лицо богоматери и одно из женских лиц «Состевия во ад» из домашнего иллюстрированного Евангелия на армянском языке. Она сгорела в пламени шушинского пожара весной 1920 года.

Все это, видимо, было как-то сцеплено между собой и взаимообусловлено, несмотря на значительные сдвиги в пространстве и во времени: выступления Богдана в Лондоне, разговоры восемнадцатилетней Фаро со своим отцом, молчание матери и гибель Шуши и всего, что могло бы связать нынешнее поколение с прошлым. Жертвы одной из самых страшных эпидемий века ждали своего рокового часа в Европе и в Азии, в Африке и в Америке. Одним предстояло погибнуть во имя Аллаха, другим — во имя Христа.

В будущей книге должно непременно найтись место для рассказа о том, как более семидесяти лет назад бабушка Фаро вернулась из театра с напополам отрезанной косой и с плакатом на спине: «За дружбу с русскими и евреями». Как облили ее кислотой, и всю ночь пришлось перешивать юбку, дабы наутро явиться в гимназию как ни в чем не бывало, спрятав под школьным передником следы нападения. Непременно рассказать обо всех брошенных в нее камнях и о том, конечно, как били мы Цисмана. И как бабушка топала на меня ногами.

«После сообщения Богдана о II съезде партии, сделанного им на нефтяной Асадулаевской фирме, — пишет бабушка, — я почувствовала себя крепко связанной с теми, кто голосовал за предложения Ленина. Мы много говорили об этом с Егором Мамуловым, Меликом и Трдатом, которым я передала все, что услышала от Богдана.

— До чего у тебя хорошая память, Фаро! — воскликнул Мелик. — Ты так подробно рассказываешь, будто сама побывала на съезде.

— Знаешь, с каким трудом я теперь учусь, — возразила я. — Боюсь, до конца года не дотяну».

Каким знакомым показался мне этот двойственный характер бабушкиной памяти, удерживающей только то, что затронуло ум и сердце!

С лесником Колей Топовым Богдан познакомился во время весенних студенческих волнений 1899 года. После очередной уличной манифестации они возвращались домой. Коля жаловался на то, что ему не дается математика.

— Да ты просто не любишь ее,— сказал Богдан.

— Потому и не люблю,— согласился Коля.

Они подошли к дому, где жил Топов.

— Если напоишь меня чаем,— сказал Богдан,— я попытаюсь на примерах, которые у тебя не получаются, показать, что математика — увлекательнейшая наука.

— У меня нет к ней способностей.

— Что за чепуха — нет способностей! Если хочешь знать, ты типичный математик. У тебя на лице написано.

Коля первоначально засмеялся, закашлялся, снял очки и протер их носовым платком:

— Давай же зайдем. Ты чаю хотел.

Они вошли в глухой колодец двора и поднялись по темной, мрачной, дурно пахнущей лестнице.

Коля жил вместе с матерью и старшей сестрой в небольшой трехкомнатной квартире, но сейчас никого дома не было. Коля открыл дверь, пригласил гостя в комнату, а сам пошел заваривать чай.

— Давай посмотрим, что у тебя там,— сказал Богдан, как только Коля вернулся.

Коля не без смущения достал учебник, листы бумаги и карандаш. Богдан быстро набросал несколько строк, и они углубились в систему дифференциальных уравнений.

— Это понятно,— сказал Коля.— А дальше?

— Дальше? — прикусил Богдан кончик карандаша.— Да, действительно, как же дальше?

— Может, так? — робко предложил Коля.

— Попробуем.

— Ну и так,— отобрал он карандаш у Богдана.

— Прекрасно.

— И...

— И все,— сказал Богдан.— Уравнение решено.

Коля с удивлением смотрел на него.

— Да как же это?

— Очень просто,— сказал Богдан, довольно потирая руки.— Фокус-покус. Я ведь говорил...

— Не понимаю,— растерянно пробормотал Коля.

— Тут и понимать нечего. Чтобы решить это уравнение, тебе требовалось напоить меня чаем. Только и всего.

— Ой,— воскликнул Топов,— совсем забыл! — и выскочил из комнаты.

Потом, уже за чаем, Топов принялся философствовать о призвании, о внутренней свободе, а также о том, как случаен выбор человеческого пути.

Почему, задавал он риторический вопрос, люди так плохо знают себя, почему они непременно расходятся в разные стороны и идут по пути заблуждений, ибо заблуждений великое множество, а истина одна. И так далее в таком духе.

— Потому,— ответил ему на это уже собравшийся уходить Богдан,— что если бы все шли в одну сторону, то земля бы перевернулась.

«Новое несчастье,— восклицает бабушка в своих записках, помеченных декабрём 1903 года.— Какне-то безумные письма стала я получать от Кирилла Грошева. Присылает целые тетради своих стихов, а мне читать некогда: то уроки, то подготовка к занятиям в школе или проагандистском кружке. Все вечера проводит под нашим окном в ожидании, когда я вернусь из Балаханов. Он такой одинокий и несчастный. Когда был совсем ма-

леньким, вся их деревня вымерла от какой-то заразной болезни. С тех пор пошел по людям. Кем только не был, где не скитался! После долгой босаячкой, бесприютной жизни попал сначала в Тифлис, потом в Баку. Устроился в редакции газеты разносчиком. Начал учиться, быстро пошел вперед, сдал программу за пять классов. Писал стихи. Нелепый, неорганизованный, талантливый...»

«— Чем мне утешить его, что сказать?» — спрашивает она друга гимназических лет Егора Мамулова.

«— То, что велит сердце. Выбирай...

— Между кем выбирать?

— Прости,— сказал он, потупившись».

«Я увидела в его глазах слезы»,— пишет бабушка.

«— Прости, это так...

Он вдруг бросился вон из комнаты и исчез на несколько дней».

Необычен копец этой записи. «Богдан,— восклицает бабушка,— что мне делать? Дай силы...» Видимо, двадцатипятилетний Богдан был для нее не только любимым братом, но отчасти как бы заменял ей и престарелых родителей, и бога, в которого она не верила с двенадцати лет.

«В январе 1904 года в Баку по делам приехал Аршак Зурабов. Я любила его уже за внешнее сходство с Богданом. Такой же добрый, веселый, общительный. Он почти ежедневно бывал у нас на Верхне-Тазапирской, а однажды мы так засиделись, что он остался у нас ночевать. Спали мы, сидя вчетвером на кушетке: Варя, Сато, я и Аршак.

Он много говорил о блестящих выступлениях на II съезде Богдана (под фамилией Русова), о том, что его очень полюбил Ленин. Что начиная с пятидесят второго номера «Искра» уже не наша, в Интернационале большой шум по поводу раскола. Рассказывал Аршак и о себе. Его

семейная жизнь не ладится, жена не понимает его, хочет жить «как все порядочные люди», а его революционная работа пусть будет «между прочим, для души».

«Как мало счастливых людей, счастливых семей на свете!» Этими почти толстовскими словами бабушка, мысленно возвращаясь к своей семье, как бы одобряет то, что выбор брата пал на Лизу Голикову, которая пользовалась ее неизменной любовью и уважением. Что касается эпитета «блестящие», относящегося к выступлениям брата на съезде, а также слов «Ленин в нем души не чаял», сказанных якобы Аршаком Зурабовым и встречающихся в дневнике, то при оценке их следует учесть два обстоятельства. Во-первых, речь идет о радости восторженной восемнадцатилетней девушки по поводу успехов любимого брата. Во-вторых, необходимо принять во внимание традиционную приверженность кавказцев к преувеличениям и цветистым выражениям. Во всяком случае, я очень сомневаюсь, что бабушка могла делать эти записи в расчете на читательскую аудиторию.

«Еще одна неприятность,— пишет бабушка.— У Сато болела голова, и она вернулась домой раньше обыкновенного. Когда я пришла из школы, она передала мне письмо, которое доставил посыльный из гостиницы «Старая Европа»...»

(Теперь это здание находится в проезде, носящем имя Богдана Кнунянца.)

«...Я крайне удивилась, вскрыла конверт и стала читать:

«Ориорт¹ Фаро, пишет Вам поэт Аветик Исаакян. Думаю, Вы меня знаете, так как мне передали, что на одной благотворительной вечеринке Вы читали несколько моих стихотворений. Это придало мне решимости. Я решил на-

¹ Ориорт — барышня (арм.).

писать Вам и просить зайти ко мне в гостиницу «Старая Европа», № 6, где я остановился. Конечно, я сам должен был зайти к Вам, но не ведаю, с кем и как Вы живете и можно ли поговорить с Вами наедине об интересующем меня деле. Уважающий вас Аветик Исаакян».

Я просто остолбенела. О каком деле может идти речь? Ведь Аветик Исаакян — дашнак».

При всей своей политической непримиримости бабушка все же решила идти к Исаакяну. Может, то было простое женское любопытство? Во всяком случае, для мечты о том, чтобы поехать сражаться за освобождение западных армян, живущих под турецким игом, в бабушкиной душе уже не могло остаться места. Дашнаки, сделавшие эту мечту своим знаменем, вынашивавшие идею возрождения «Великой Армении», стали ее политическими противниками. Полное бабушкино расхождение с ними закрепил памятный день начала прошлого, 1903 года, когда она стала членом Российской социал-демократической рабочей партии.

«Исаакян встретил меня радушно, стал расспрашивать о житье-бытье, и я удивилась, как много он обо мне знает.

— Ну как же, вы у нас знаменитость. И ваш арест, и исключение из гимназии... Редкий армянин, интересующийся судьбами Армении, не знает фамилии вашей семьи. Такие талантливые братья. Я узнал об успехах Богдана за границей от эмигрантов.

— Благодарю за комплименты в адрес нашей семьи, — сказала я. — Но позвольте узнать, ради какого дела вы пригласили меня? Я тороплюсь в Балаханы на уроки.

Исаакян молчал, устремив взор в одну точку.

— Много чудес в нашей жизни, — сказал он наконец. — Теперь, как никогда раньше, я понимаю, почему так жестоко страдает мой друг Егор.

— Какой Егор? — спросила я, хотя сразу подумала о

пушинском семинаристе. Может, именно потому, что и он — дашнак.

— Егор Арустамян.— Холодные нотки слышались в голосе Исаакяпа.— Надеюсь, вы помните его, знаете, где он, что с ним.

— Только знаю, что в начале лета прошлого года он собирался уехать куда-то.

— Это и есть, ориорт Фаро, та причина, которая заставила меня искать с вами встречи. Все это время Егор партизанил в Турецкой Армении. Был тяжело ранен и теперь лежит в одном из эриваньских госпиталей. К нему из Шуши приехала его мать. Доктора говорят, что положение безнадежное... Прощаясь со мной, он просил повидаться с вами и поведать о том, что долго таил от вас, не осмеливался сказать. Он любит вас больше жизни и умрет вместе с этой любовью. У него одно желание: чтобы вы в конце концов примкнули к тому освободительному движению, за которое он отдал жизнь».

«Твои блестящие глаза, как море в солнечных лучах, Как ветер волосы твои, огонь в дыхании и в речах. Ты ясным небом смотришь вниз, чтоб я, твой пленник, не зачах, Сжигаешь нежностью... Горю в огне благоуханном я... Ах, сжался, голодом томим, целую прах у ног твоих, Закрыться ранам дай на миг, и стану бездыханным я».

«— Он хотел написать, но не хватило сил. Просил, чтобы я передал устно. Что скажете, ориорт Фаро?»

Я молчала.

— Вы, конечно, знаете, что лучшие свои песни — он ведь и поэт, и композитор — Егор посвятил вам. Эти песни поет все Закавказье. «Тцову хузох»¹, «Ду чес хаватум, воркезем»², «Аракс».

¹ «Взволнованное море» (арм.).

² «Не веришь ты, что я тебя люблю» (арм.).

Я спросила:

— Почему вы думаете, что он умрет? Пусть обязательно поправляется. Право, мне грустно, что я доставила ему столько неприятностей.

— Не превращайте все это в шутку, ориорт Фаро. Ведь недаром я, взрослый человек, стал посредником в этом деле. Несмотря на вашу молодость, вы должны понимать, что значит любовь поэта.

Я была настолько взволнована, утомлена и так торопилась на поезд, что поднялась со стула и сказала Исаакяпу:

— У меня нет утешительных слов для него.

— Вы поймите, в каком он сейчас положении. Хотя бы напишите письмо.

— Я всегда хорошо к нему относилась. Пусть у нас разные взгляды — я уважаю его за храбрость и самоотверженность. А к любви я совсем не готова. У меня так много забот: окончить гимназию, помогать беспомощным старикам-родителям, строить жизнь так, чтобы суметь целиком посвятить ее тем революционным идеям, за осуществление которых я решила бороться.

— Ваш брат...

— Да, — воскликнула я, не сдержавшись, — брату я многим обязана. И, пожалуйста, не повторяйте слов Егора о том, что Богдан оказывает на меня дурное влияние. Спасибо вам, товарищ Аветик, за вашу заботу о друге и за добрые слова о нашей семье. Я опаздываю на урок. Извините.

Я выбежала из гостиницы как ошпаренная».

С девчоночьей непосредственностью бабушка делится со своей подружкой Лелей Бекзадян:

«— Леля, ты могла бы полюбить Егора Арустамяна?

— Если бы знала, что он меня сильно любит.

— Но ведь он дашпакцакан.

— Да, действительно.

— Как можно забывать? А помнишь, как мы, совсем еще девочками, сидели после занятий у парона Чилангаряна и обсуждали, сможем ли когда-нибудь выйти замуж за русского? И все сошлись на том, что это невозможно. Мы уже учились в русской школе. Тогда же поклялись ни при каких обстоятельствах не выходить замуж за русских. Смешно. С дашнаками никакой дружбы не может быть. Тем более любви.

— Я почему-то никого не люблю,— сказала с огорчением Леля.

— А я Богдана люблю. Ни для кого больше в моем сердце нет места».

Заставившее меня снова улыбнуться признание бабушки Фаро свидетельствует, видимо, о том, что брат заменял ей не только родителей, утраченного бога, но и возлюбленного.

«Узнав о его смерти в 1911 году,— сказала она однажды,— я долго плакала по ночам, ослепла от слез и несколько дней ничего не видела».

Снова и снова возвращался я к химическим реакциям на листке, обнаруженном в бабушкиных бумагах. Некоторые из структур оказались столь необыкновенны, что написать их мог разве что студент-фантазер, которому любой современный преподаватель без колебаний поставил бы двойку. Однако химические взаимопревращения были объединены в общую довольно стройную схему, и я подумал, что формулы написаны на основе какой-нибудь устаревшей теории, о которой я ничего не слышал по той причине, что о ней все забыли. Тогда я стал рыться в старых изданиях, в давних публикациях, прежде всего в работах Алексея Николаевича Баха — патриарха отечественной окислительной химии. Того самого Баха, который вместе с Германом Лопатиным занимался объединением народовольческих организаций, уцелевших от разгрома, и в начале восьмидесятых годов создал киевскую организацию «Народной воли».

Поиски не потребовали много времени. Тогда эта область органической химии занимала всего лишь небольшой островок. Это теперь она — огромный континент.

Как и следовало ожидать, ничего похожего на те формулы я не нашел.

Рядом с промежуточной структурой V стоял жирный вопросительный знак. Такой же знак подле казавшейся столь же невероятной структуры поставил и я, когда потребовалось объяснить наблюдаемый химический эффект с помощью веществ, от которых подобного действия невозможно было ожидать.

Таким вот довольно причудливым образом встретились мы впервые с Богданом Кнунянцем в химической лаборатории в 1899/1973 году, а несколько позже, когда я знал уже почти все о происхождении вопросительного знака, поставленного во время экзамена по химии профессором

Павловским, мы стали работать вместе, в одном направлении, как бы соединившись в одно целое.

Двусмысленное положение студента дореволюционных времен мешало мне воспринимать мощный поток ежедневной информации, которую во что бы то ни стало хотел впихнуть в меня ее неисчислимые современные средства. В то же время уже живущий во мне Богдан жадно следил за прессой в надежде уловить признаки пробуждения общественного сознания.

Пропустив около двух лет учебы в Петербургском технологическом институте после демонстрации на Казанской площади в 1901 году и высылки в Баку, я снова сел за учебники. Приходилось наскоро глотать всю эту мешанину, которая застревала во мне непереваренным комом. Впрочем, программа IV курса оказалась проще, чем я ожидал: я одолел ее почти незаметно, как если бы кратчайшим путем дошел от нашей мельницы до родника на краю нингиджанской тутовой рощи. Но химией в моем представлении было все-таки нечто иное, как бы совсем не имеющее отношения к учебному процессу. Особенно остро я ощущал скуку и мертвечину учебной программы, вспоминая факультативные лабораторные работы в химическом и микробиологическом кабинетах, которые начал еще в 1897 году.

Я усиленно трудился тогда под наблюдением доцента Виктора Никодимовича Пилипенко. В студенческой молодости он горячо сочувствовал народникам, восторженно отзывался об Алексее Николаевиче Бахе, чьи химические опыты по окислению превозносил до небес, а его самого называл своим учителем и духовным отцом. Вполне естественно, что он проводил исследования в той же области, что и Алексей Николаевич, находившийся в эмиграции. Словом, Виктор Никодимович и все мы, преуспевшие в

химии студенты, занимались окислением органических соединений природного и искусственного происхождения. Виктор Никодимович выдвинул ряд дерзких, едва ли не фантастических идей, которые мы, студенты, воспринимали как самые смелые, передовые отчасти потому, что большинство профессоров скептически относилось к его более чем нетрадиционным научным исканиям. Развивая представления Алексея Николаевича Баха о влиянии перекисей на существование клетки, Виктор Никодимович утверждал, что перекиси в живом организме являются неким всемогущим универсумом. Они управляют не только дыханием, обменом веществ, но и различного рода заболеваниями. От их избытка или недостатка, считал он, зависит возникновение опухолей, лихорадок, а также продолжительность жизни.

— Если мы научимся, господа, регулировать процесс образования перекисей в клетке, — бывало говаривал он, — мы сможем продлить жизнь человека в два-три раза. И это не предел. Ведь как долго живут иные деревья, животные. Пытались ли вы когда-нибудь спросить себя: почему? И потом, господа, вам ведь хорошо известно, что ветхозаветный Енох, скажем, жил триста шестьдесят пять лет, а Мафусаил — девятьсот шестьдесят девять!

Готовясь сдавать за IV курс профессору Павловскому, я с благодарностью вспоминал шумные речи Виктора Никодимовича, одержимого идеей всеобщего блага, к которому он надеялся прийти посредством химии. В сильном возбуждении он ходил в проходе между длинными столами и, заглядывая через плечо, дабы проверить температуру в колбе или проследить, сколь тщательно оттитровывается выделяемый перекисями йод, произносил свои знаменитые монологи, которые мы не раз вспоминали с Сашей Меликовым и Вапей Мелик-Осиповым во время летних каникул в Шуше.

Он неизменно заставлял нас штудировать статью Баха

«О роли перекисей в процессах медленного окисления», подготовленную к печати в Париже, в лаборатории профессора Шюпенберже в Collège de France, а также сообщение в «Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft» под названием «О роли перекисей в экологии живой клетки».

Образ одного из последних героев «Народной воли» с ранних студенческих лет был связан с пламенными речами Виктора Никодимовича Пилипенко, со всей его увлеченной, порывистой фигурой, с воспламененной им любовью к химии.

Когда в 1896 году мы с Людвигом приехали в Петербург сдавать вступительные экзамены, я подал заявление на химический факультет Технологического института с надеждой по окончании курса наук вернуться на инженерскую работу в Баку, поближе к дому. Пожалуй, по той же причине я начал посещать лабораторию Пилипенко, который работал в области, довольно близкой к нефтехимической, хотя и с биологическим уклоном. Таким образом, мою связь с химией можно считать счастливой случайностью или, скорее, счастливым совпадением, поскольку неоднократное упоминание Виктором Никодимовичем имени знаменитого в студенческой среде Баха сыграло гораздо большую роль в моем выборе, нежели собственно химическая сторона, о которой по совершенной неопытности я имел тогда весьма смутное представление.

Много лет спустя о событиях тех лет вспоминал ректор Ереванского университета Александр Николаевич Меликов. Описывая экзамен по химии, который (по пути в Женеву на II съезд партии) сдавал его вернувшийся из бакинской ссылки сокурсник Богдан Кнунянц, Александр Николаевич отметил, что экзаменовавший Богдана

седобородый профессор Павловский, по кличке Козел, терпеть не мог вечно всем недовольную, перяшливую разночинную публику. Пилипенко, сочувствовавший студентам в пору организованных ими беспорядков, вызывал в нем смешанное чувство отвращения, боязни и ненависти. Любого из этих чувств было достаточно для возникновения непроизвольных жевательных движений, будто во рту у профессора постоянно находился недожеванный кусок. Кроме того, Пилипенко занимал большую лабораторную комнату, в которой, не будь его, хозяйничал бы Павловский. Мелочь, разумеется, но мелочь немало важная.

При всем том профессор был столь искушен в органической химии, что, как всякий хорошо знающий свой предмет экзаменатор, мог представлять реальную опасность даже для самых способных студентов злосчастного доцента.

По счастью, Богдану досталось окисление углеводов. Он уверенно отвечал до тех пор, пока профессор не принялся стучать сухим своим пальцем по одной из формул.

— Что это вы тут написали?

— Где?

— Вот здесь, под римской цифрой пять.

— Одно из возможных промежуточных состояний окисляемого вещества.

— Промежуточных между чем и чем, позвольте спросить?

— Между углеводородом и его перекисью.

— По-вашему, выходит, что это промежуточное, как вы изволили выразиться, состояние способно затормозить развитие процесса, его породившего.

— В определенных условиях.

— В каких именно?

— Затрудняюсь ответить, профессор.

— Тогда на основании каких же умозаключе-е-ений,— пропел профессор, все более наливаясь краской,— вы написали эту формулу?

— На основании собственных экспериментальных наблюдений.

Саше Меликову, русоволосому, голубоглазому шушипцу, который вместе с несколькими другими студентами при сем присутствовал, стало даже страшно за Богдана. Сдерживая гнев, Павловский заметил с издевкой:

— А не кажется ли вам, молодой человек, что выводов из ваших собственных экспериментальных наблюдений может оказаться недостаточно для получения удовлетворительной оценки на экзамене по химии?

Павловский вдруг успокоился, краска сошла с его лица.

— По-вашему получается,— сказал профессор, словно бы стыдясь недавней вспышки,— что такой всеобщий и неумолимый процесс, как окисление, может тормозить сам себя? Получается,— развивал он свою мысль,— что ржавчиной можно бороться с ржавлением, дрожжами — с брожением, что дыхание может не только старить, но и омолаживать организм. Это абсурд.

— Или диалектика?

— Так можно договориться бог знает до чего.

«Его блестящие ответы,— несколько патетически вспоминал Александр Николаевич Меликов шестьдесят пять лет спустя, в год девяностолетия со дня рождения Богдана Кнуныпца,— вызвали среди студентов бурные рукоплескания. Все удивлялись его эрудиции и спрашивали друг друга: каким образом за столь короткий срок наш занятый большой общественной работой товарищ сумел подготовиться к экзаменам?»

Приведенный диалог с профессором Павловским я записал как перевод на общедоступный язык того, что было

написано твердым карандашом на пожелтевшем листке бумаги, исходя из предположения, что именно в него тыкал сухим своим пальцем профессор Павловский и что вопросительный знак рядом с наиболее непонятной структурой был также поставлен им.

«Если бы он имел счастье жить дольше,— продолжал свои юбилейные воспоминания Александр Николаевич Меликов,— из него несомненно бы вышел великий ученый».

Ссылки на работы А. Н. Баха, которые в скрытом виде присутствовали на том же листке рукописного химического текста, заставили меня внимательнее взглянуть на старые статьи, опубликованные не только в «*Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft*», но и в санкт-петербургском «Журнале Русского физико-химического общества». Видимо, личность Баха, действительно, не в малой степени определила химические увлечения Богдана. Даже их биографии, которые я попытался сравнить, имели нечто общее, с той разницей, что Алексей Николаевич прожил восемьдесят девять лет, а Богдан — неполных тридцать три, то есть умер в том возрасте, когда Бах только еще начинал свои знаменитые научные исследования у Поля Шюценберже в Париже.

Сходные деревенские впечатления детства. Отец Алексея Николаевича был техником-винокуром, а Мирзаджан Иванович Кнузянц курил тутовую водку в своем нигиджанском саду. Оба хотели видеть своих сыновей учеными. Оба сына стали студентами-химиками. Одного выгнали со второго курса Киевского университета, другого — с третьего курса Петербургского технологического института. Раздвоение между наукой и революцией. Лабораторные занятия органической химией с биологическим уклоном. Полный уход в революцию. (Алексей Николаевич успел вернуться к занятиям химией, а Богдан не успел.) И, на-

конец, в июне 1903 года, хотя и по разным причинам, оба оказались в Женеве.

Смерть Богдана в тюремной больнице была безвременной и загадочной. Дважды фигурирующий в полицейских материалах белый порошок неизвестного происхождения, всякий раз обнаруживаемый среди вещей, принадлежавших Богдану, а также следы порошка на красной матерчатой подкладке серебряного кошелька, памятного мне с детства, наводят на мысль о страшной связи между ними и опытами учеников доцента Пилипенко. Из-за отсутствия в то время слова «геронтология» область научных интересов пилипенковских сотрудников уместно было бы назвать «мафусаилологией» (при попытке продлить жизнь до 969 лет) или «эпохологией» (до 365 лет).

Теперь такой термин имеется. Имеются лаборатории, занимающиеся геронтологическими исследованиями и синтезом потенциальных геропротекторов. В одну из них я и обратился с просьбой синтезировать химическое вещество, близкое к обозначенному римской цифрой V на листке со схемами реакций. Потом я надеялся провести у себя в институте испытания на мышах или на лучших наших крысах линии «Джистар».

Действительно, если структуру V, с поправкой на современное ее написание, удалось бы реализовать, то с ее помощью, пожалуй, можно было бы вылавливать из организма опасные, губительные для жизни свободные радикалы. Во всяком случае, уже сегодня с помощью химических веществ мы в полтора раза увеличиваем продолжительность жизни маленьких легкокрылых *Drosophila melanogaster*.

...Да, было просто невозможно не описать наш кратовский сад и медный аппарат для винокурения, стоящий у истоков всей этой чертовщины, и полученный в Пилипенковской лаборатории белый порошок, каждый раз об-

наруживаемый полицейскими. Не рассказать о рукописях Ивана Васильевича, об осенних листьях на мостовой и о бесконечных наших опытах на мышах *in vivo*.

Хотелось описать горячую золу, выгребаемую из-под чана, само колдовское варево, летний день и запах земли, босоногого мальчика рядом с отцом — то ли юного Баха в его Борисполе, то ли маленького Богдана в нигиджанской роще, стоящего подле чана и наблюдающего, как из змеевика, погруженного в старую бочку с водой, капля за каплей стекает в бутылку чистый, с голубоватым отливом, обжигающий и горький на вкус, перебродивший, дистиллированный сок сладкой туты.

«Кто виноват в том, что льется человеческая кровь, — русский царь или японский микадо, кто вызвал эту жестокую, братоубийственную войну, которая вот уже две недели тянется и неизвестно еще сколько протянется?» — писал Богдан Кнунянц незадолго до того, как был арестован в шестой раз и заключен в Таганскую тюрьму, вскоре после возвращения из Женевы, где он, возможно, встречался с Алексеем Николаевичем Бахом.

Во время ареста, 15 февраля 1904 года, у него отобрали черновик этой листовки под названием «Кто виноват?». Переписанный ее текст я обнаружил в тетради, одновременно содержащей наброски под общим названием «Детство» и записи, относящиеся к 1905 году, о котором бабушка Фаро как-то сказала: «Пятый год был для меня бесконечным».

Озаглавив первую половину тетради «Отец. Мать. Коротко о Богдане», бабушка писала: «Отец рано бросил школу, где, по его словам, почти ничему не учили, а только издевались над детьми, и стал заниматься самостоятельно. К 18 годам он был уже настолько подготовлен, что смог отправиться учительствовать в деревню, и

преподавал в сельских школах более 25 лет. Благодаря большой усидчивости, хорошей памяти и способностям к языкам он в совершенстве изучил русский, персидский, арабский, русскую историю, историю религий Востока и историю армянского народа. В Шуше представители враждующих магометанских сект не раз обращались к нему за разъяснениями спорных положений Корана, а местное христианское духовенство при переводе или издании отдельных глав Евангелия всякий раз прибегало к его помощи. По рассказам Тиграна, который был старше меня на четыре года и больше знал о молодости родителей, отец одно время именовался правительственным старшиной, имея под своим началом сорок всадников. Правительство назначало на эту должность грамотных людей.

Отец тогда только начал учительствовать. Молодые родители разъезжали вместе по соседним с Нинги селам, бывали в Гадруте, Нигиджане, Тринаварзе. Мама научилась хорошо ездить верхом на лошади. Однажды поздней осенью, когда она ехала с первым своим годовалым сыном Иване на руках из Нинги в Шушу, на нее напали волки. Ей удалось отбиться от них плеткой и ускакать. Но рассказы об этом я уже смутно помню».

Сбоку, на полях, имелась мелкая бабушкина запись: «Узнать возможно подробнее, что такое правительственный старшина».

Если принять во внимание, что молодость нингинского учителя совпала с Крымской войной, знаменитым Зейтунским восстанием, созданием многочисленных конных и пеших добровольческих отрядов, охранявших границы и убиравших урожай крестьян, то сорок всадников, им возглавляемых, были скорее всего чем-то вроде отряда самообороны или народной милиции. Способность руководить военным отрядом была, пожалуй, не только обусловлена грамотностью сельского учителя, но и упя-

следована им от своего отца, Ивана Гнуни, служившего в пограничных войсках и воевавшего за присоединение Карабаха к России. В «Истории армянского народа» эта бабушкина запись находит документальное обоснование, ибо там сказано, что добровольческие отряды «были созданы также и в Шуше». (Нгиги — одно из близко расположенных к Шуше сел.)

«В 1872 году», — пишет бабушка...

«...в год выступления крестьян села Бжни против помещика Гегамяна, — читаю я в «Истории армянского народа», — и основания в Ване тайного общества «Союза спасения»...

«...отец оставляет учительствование, — продолжает бабушка, — и перебирается с семьей в Шушу. Мать по секрету рассказывала нам о причине, вынудившей отца бросить любимую работу.

Его постигла участь дедушки Ивана, который тоже в свое время был обвинен в «богохульстве». Нашему же отцу поставили в вину распространение атеистических идей среди населения. Его уволили из школы и публично высекли. На всю жизнь, говорила мать, отец сохранил обиду на местные власти, на церковь и просил никому не говорить о великом позоре.

Приехав в город, отец занялся юридической практикой. Брался он в основном за крестьянские дела, хорошо зная деревню и ее нужды. Со временем он стал пользоваться большой популярностью среди армянских и турецких крестьян уезда за свою неподкупность, честность и прямоту. Поэтому, несмотря на наличие в Шуше нескольких полудипломированных юристов, выходцев из дворянства (братья Ишхановы, Юзбашевы), крестьяне все же предпочитали обращаться к отцу со своими жалобами.

Его труд чаще всего оплачивался натурой. У крестьян и бедняков-горожан брал он мало, иногда вовсе бесплатно

вел дела, что также влекло к нему простых людей. Он был разборчив и придирчив, говорил клиенту открыто, справедлива ли его тяжба, стоит ли затевать дело, можно ли добиться благоприятного решения при существующем соотношении сил истца и ответчика. Крестьяне верили ему, из деревень приходили группы ходатаев. Жалобы касались пастбищ для скота, водопоев, межей, расценок за труд на помещичьей земле. В основном это были дела, направленные против имущих. Не случайно поэтому через несколько лет после пачала юридической практики отцу пришлось скрываться в горах от бандитов, панятых местной знатью.

Мы все с малых лет слышали бесконечные жалобы крестьян на тяготы жизни в нищих армянских и татарских деревнях (тогда азербайджанцев называли татарами). После таких разговоров отец вымещал свое недовольство на матери, на пас, детях, особенно если кому-нибудь случалось получить в тот день посредственную оценку в школе, а также на родственниках матери, происходившей из купеческой семьи. В сильном возбуждении ходил он по дому и кричал:

— Видите, до чего доводит невежество и отсталость крестьянской жизни? Как тяжело живут люди! Я хочу, чтобы вы получили образование и порвали все связи с этим несчастным, преследуемым сословием. Чтобы вы не были вынуждены гнуть спину перед каждым мерзавцем. Но и с этими торгашами у нас нет ничего общего. Нечего ходить к ним. Какие они нам родственники?

Бедная мама бегала, суежилась, стараясь восстановить мир в доме. Мы знали, что мама очень религиозна, хотя она скрывала это от нас, стеснялась посещать церковь. Постоянная ругань отца по адресу местных священников, которых он называл не иначе как «продавцами душ», причиняла ей невыносимые страдания.

Мы жили на окраине города, в самой верхней, горпой

его части. Семья наша считалась обеспеченной. Кругом в землянках жила городская беднота. Мать тайком делилась с соседями чем могла, и это было, пожалуй, самой большой радостью в ее жизни. Помнится, как она была однажды смущена и обижена, когда Богдан, будучи уже взрослым, назвал ее «врожденной благотворительницей», с насмешкой заметив, что бедным людям благотворительностью не помочь — нужны более действенные меры.

— Что же, по-твоему, — возмущенно воскликнула мать, — сидеть сложа руки и смотреть, как люди голодают?

Он поцеловал ее и заметил с грустью:

— Мама, дорогая, делай как знаешь. Я совсем не это хотел сказать.

— Не поймешь тебя.

С годами я узнала, что и отец религиозен, только церкви не признает.

Мама погибла вместе с братом, с дядей моим Александром, во время армяно-татарской резни в Шуше в 1920 году. Сгорела с ним в нашем шушинском доме во время пожара...»

В записях Ивана Васильевича имеется почти мистическое замечание об огне. Когда прабабушка Сона ждала рождения дочери, в Шуше случился пожар. Она увидела огонь и очень испугалась. Видимо, последствием этого испуга явились родимые пятна у бабушки и у ее дочери — моей мамы. Их почти невозможно отличить от старых следов ожогов. В связи с огнем шушинского пожара Иван Васильевич упоминает и о моем ожоге ноги третьей степени в 1944 году, от которого я чуть не умер, пролежав в Морозовской больнице около года. Все эти факты, сведенные воедино, должны были, видимо, навести на мысль о том, что генетический наш «огонь» перемещается из рода в род. Тут же Иван Васильевич приводит слова из некролога, написанного Степаном Шаумяном о Богдане

Кнунынце: «Он не жил, а горел в течение этих десяти лет своей красивой жизни»,— причем, слово «горел» подчеркнуто Иваном Васильевичем двумя жирными чертами.

«Богдан с детства отличался большими способностями, особенно по математике,— пишет бабушка.— Не было по соседству старика, старушки, юноши или девушки, взрослого мужчины или женщины, кто бы не здоровался с ним, не приглашал зайти в дом. Со всеми находил он общий язык. Что-то неудержимо влекло к нему людей. Может, доброжелательность, которой он был одарен в избытке? Когда я приезжала в Шушу на каникулы, самые разные люди спрашивали меня о нем. Остановит, бывало, на улице женщина, помогавшая нам обычно печь хлеб на зиму:

— Фаро, можно тебя на минутку.

Оглядит меня с головы до ног, стянет одной рукой платок у подбородка и тихо, вкрадчиво спросит:

— Скажи, когда приедет Богдан?

— В этом году не приедет,— отвечаю.— Зачем тебе? Может, я чем могу помочь?

— Нет, у меня о с о б ы й разговор.

И отойдет тихо.

В Богдана верили. Ему доверяли. Считали всесильным. Он обладал особым даром убеждения, что и помогло ему стать яркой политической фигурой.

А вот Людвиг был совсем другим — пелюдим, прирожденный конспиратор. И хотя они и в Тифлисе, и в Баку вместе вели революционную работу, о Людвиге почти ничего не известно. Он как бы постоянно находился в тени, на втором плане, заслоняемый младшим братом.

В 1914 году наш Тигран поехал в высокогорный район Карабаха, в деревню Патар, принимать дубовые шпалы для строившейся тогда железной дороги Шуша — Евлах, которая к концу империалистической войны была закон-

сервирована, а в дальнейшем так и не построена. В одном из окраинных домов ему предоставили ночлег. Там на старом комодѣ он совершенно неожиданно обнаружил большую стопку прокламаций, выпущенных Бакинским комитетом РСДРП в 1902—1908 годах. Среди них оказались листовки, написанные Богданом, а также карикатура на царя, нарисованная Тиграном и выпущенная Бакинским комитетом (БК) в количестве 1500 экземпляров к мартовской демонстрации 1903 года. На полулисте бумаги был изображен царь, сброшенный с трона, рядом валялись корона и разломанный пополам скипетр. Рабочий со знаменем в одной руке и с молотом в другой наступал на спину царя. На флаге написано: «Долой самодержавие! Да здравствует свобода! Да здравствует 8-часовой рабочий день!» А сверху на листовке: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Тигран рассказывал, что четыре дня и четыре ночи печатали они вместе с Мехакком Аракеляном эту карикатуру. Чтобы сделать на гектографе 1500 экземпляров, надо было нарисовать ее пятнадцать раз. Чтобы знамя получилось красным, нужно было очень тщательно накладывать листы. Словом, когда последний экземпляр был готов, Тигран находился почти в бессознательном состоянии. К тому же ему в эти дни пришлось написать большой портрет Карла Маркса, который во время демонстрации был прострелен и куда-то пропал. Что касается знамени, которое спрятали в палку и принесли на Парапет, то его изготовили на квартире Розы Бабаковой, жены Людвиг.

И вот, находясь в глухой деревушке по делам Инженерной дистанции, Тигран обнаружил эту листовку среди других, лежащих на комодѣ. Он спросил хозяйку, зачем та держит в доме открыто такие опасные бумаги. Хозяйка ответила, что подобные листки можно найти во многих деревенских домах. Их привозили или присылали родственники, работающие в Баку. Ее сыновья велели

хранить листки как зеницу ока, давать читать, кто попросит, но не выбрасывать.

— Так все и делают, — сказала она.

В 1915 году вместе с братом Тарсаем, акцизным чиновником, инспектирующим винокурение в Карабахе, я объезжала армянские деревни. Узнав, кто мы такие, люди приходили из окрестных деревень, чтобы спросить об отце и о Богдане.

— Такой веселый, живой парень, — вспоминали они. — Хоть и не наступила та хорошая жизнь, которую он обещал нам, все равно хотелось бы еще раз встретиться с ним, поговорить.

И сокрушались, узнав о печальной его судьбе.

Через товарищей Богдан присылал отцу отдельные номера журналов со своими статьями, брошюры и листки, изданные в октябре — ноябре 1905 года, в частности издательством «Молот», под псевдонимом Радин. «Организуйтесь!» — $\frac{1}{2}$ коп. листок, «Нужна ли рабочему политическая борьба» — 1 коп. листок, «Политические партии и формы государственного строя» — 3 коп. брошюра, «Государственное устройство Франции» и «Какое избирательное право нужно рабочему классу». Все это я нашла в 1916 году в нашем шушинском доме, в библиотеке отца.

Богдан был хорошим популяризатором и на досуге, которого, впрочем, оставалось мало, кроме статей на политические темы писал статьи в брошюры научно-популярного характера. Часть его работ перечислена в библиографическом указателе «Библиотеки социал-демократа» Платона Лебедева, вышедшем вторым изданием в Нижнем Новгороде (изд-во «Н. И. Волков и К^о») в начале 1906 года».

К сожалению, научно-популярных статей Богдана пока обнаружить не удалось. Хотелось бы думать, что они ка-

сались не только химии нефти, но и результатов, полученных в лаборатории В. Н. Пилипенко. Прежде всего, я имею в виду геронтологические опыты студента из Шуши, а также научно-фантастические предвидения его руководителя, в чем-то сходные с инженерно-техническими прожеками американца Беллами, автора книги «Через сто лет» — предмета страстных увлечений молодых обитателей шушинского дома.

Глядя на бабушку Фаро, над которой словно бы не властно время, я невольно думаю, что кто-то когда-то подсыпал ей в кубок с вином таинственный порошок, изготовленный студентом Богданом Кнунянцем в петербургской пилипенковской лаборатории. Но кто бы мог подсыпать его мне?

ГЛАВА VIII

Именно к той, подготовительной поре относятся многочисленные мои записи в блокнотах, на тетрадных листках и даже на полях газет. Беглые зарисовки пейзажа, отдельные фразы, химические формулы, адреса, телефоны — все это, вместе взятое, оказалось, пожалуй, сродни некоему рукописному средневековому сборнику, где без всякого порядка чередовались высказывания отцов церкви, полезные рецепты, поучения, гимны, исторические сведения, копии документов и даже стихи.

*Летописцы грядущих веков,
Вот я открою,
что скрыто за этим бесстрастным лицом,
И скажу вам, что написать обо мне.
Напечатайте имя мое
И портрет мой повесьте повыше,
Ибо имя мое — это имя того,
Кто умел так нежно любить,
И портрет мой — друга портрет,
Страстно любимого другом...*

Это из Уолта Уитмена, стихи которого любил Алексей Николаевич Бах.

«Царь-голод орудует людьми... Отчего одним хорошо, другим худо, отчего одни роскошествуют, другие пухнут от голода?

Много мук приняла человеческая душа, пока разрешила себе эту задачу, пока дозналась, где правда, где кривда в людских порядках».

Это уже сам Алексей Николаевич Бах.

Следующий бумажный обрывок я извлек, наподобие ярмарочного попугая, предсказывающего судьбу, из кучи других.

«Баку. Конец декабря 1903 года. Б. К. встречается с Красиным. В письме Ленину имеется упоминание об этой встрече, состоявшейся в один из дней, предшествующих выступлению Б. К. на Асадулаевской фирме».

Наверное, это было уже началом книги, в которую я вступал с превеликими опасениями, будто вода оказалась слишком холодной и следовало по крайней мере постараться привыкнуть к ней.

Я едва поспевал за моим героем, который то и дело менял имена. То он был вольноопределяющимся 262-го пехотного резервного полка Богданом Мирзаджановичем Кнунянцем, то безымянным горожанином в весеннем костюме с блестящими пуговицами, то рабочим Леоном. Потом Кавказцем. В Санкт-Петербурге, куда поехал сдавать за IV курс по окончании срока высылки, он снова стал Кнусянцем, через месяц, в Женеве, — Рубеном, а еще через неделю, в Брюсселе, — Русовым.

Когда его окликали на улице, он не останавливался. Привык к тому, что за ним следят. Привык расслабляться, если нигде не спешил. Научился не чувствовать пристальных взглядов филеров в спину. Умел быстро скрываться, проваливаться сквозь землю.

Это была странная жизнь после устойчивой, неторопливой шушинской жизни. В нем проснулся талант пегала, разбуженный некогда братом Людвигом. Химические опыты в пилипенковской лаборатории на фоне сегодняшних забот и неотложных партийных дел казались такими же далекими, как тутовый сад в Нингиджане, винокурня, застывший в неподвижности мир, бескопечные трели цикад, сбивающие воздух до густоты яичного желтка. Впрочем, тогда он еще верил, что вернется в лабораторию.

В начале года, зимой, когда их с Тиграном арестовали, обнаружив при обыске тинографский пресс и шлифовальную доску, он заявил, что пресс надобен ему для раз-

личных химических опытов. Тогда он делал вид, что увлечен исключительно химией, и в заключении занимался лишь ею, для чего просил сестру приносить из библиотеки пужные книги. Обвинение, которое могли предъявить братьям, было слишком серьезно: в Баку искали тайную типографию — знаменитую «Нину».

Разумеется, одного железного пресса с ключом для гаек к нему да шлифовальной доски было недостаточно, чтобы начать судебное дело. До шрифта, к счастью, не добрались.

В камере предварительного заключения он читал журналы и книги по химии, делал выписки, вспоминал результаты собственных экспериментов. Он увлекся, попав в самую собой поставленную ловушку, и с нетерпением думал о возвращении в Петербург.

Что же касалось недавно организованной типографии Бакинского комитета, то она была спасена.

На следующий день после обыска шрифт был переправлен к банвору¹ Мехаку Марией — матерью арестованного рабочего. После ареста сына она жила у братьев, помогая вести хозяйство.

Шрифт был тяжелый. Мария торопилась. Вспоминая минувшую ночь и тайком крестясь, она дивилась собственной смелости. «Страшен сон,— думала,— да милостив бог».

В это зимнее время приморский город, сотканный из паутины азиатских улочек, в которую, словно черные жирные мухи, влипли дома разбогатевших на нефти дельцов, каждый день, в пятом часу пополудни надолго погружался в беспросветный мрак. Словно кто-то набрасывал на город темное покрывало и только в десятом часу утра потихоньку снимал его.

В полутьме наступающего утра Мария открыла голу-

¹ Банвор — рабочий (арм.).

бую деревянную дверцу в саманной стене татарского дома и вздрогнула от мысли, что могла перепутать адрес. Увидев банвора Мехака, спускающегося с крыльца, успокоилась.

— Заходи, Мария-джан. Что так рано? Птицы еще не проснулись.

— Обыск у наших был,— прошептала Мария.

— Шрифт взяли?

— Вон он, твой шрифт, в сумке.

Мехак еще хотел спросить, но Мария ответила, не дослушав:

— Забрали. И того, и другого. Книжки нашли. Станок.

— Заходи.

Мария вытерла ноги о тряпочку, вошла.

— Ночью, когда постучали, я уже спала. Разбудили, изверги. Хотела мешок в окно выбросить, а там люди. Папироски тлеют. Выгребла я мусор из помойного ведра, шрифт туда бросила, мусором сверху присыпала. Они в комнате книжки нашли, станок, а потом на кухню ко мне. Я уж легла, а они, нехристи, прут. Я и закричала. «Мало вам,— кричу,— моего сына, изверги? Если,— кричу,— войдете, я еще громче закричу, весь дом разбужу. Всякий срам потеряли!» Они и отступились.

Когда Мария ушла, банвор Мехак отправился к Симе¹, отвечавшему за технику. Решил спросить: что делать с типографией? Ее устроили в только что снятом доме (две комнаты и кухня).

Выслушав Мехака, Сима, опасаясь, что его арестуют следом за братьями, поспешил передать дела Семену².

Семен связался с Никитичем³, и они обсудили даль-

¹ Сима — Л. М. Кнуляниц.

² Семен — Т. Т. Епукидзе.

³ Никитич — Л. Б. Красин.

нейшую судьбу типографии. За квартиру было заплачено вперед. Поскольку Никитич был не только «электрической силой», но и основной экономической силой подполья, вопрос о переносе типографии в другое место без него решен быть не мог.

— Нет пока оснований для беспокойства, — сказал Никитич. — Оставим все, как есть. Сима любит конспирировать. Дай ему волю, он так законспирирует типографию, что мы и сами ее не найдем.

Посмеялись. Тогда, при начальнике Бакинского жандармского управления полковнике Дремлюге, над такими вещами смеялись легко и часто. Еще не вошли в моду «столишинские галстуки», и самоубийства революционеров-подпольщиков были, в общем-то, редкостью.

В разноплеменном либеральном Баку начала девятисотых годов полиция лениво закидывала неловко связанную сеть, сквозь ячейки которой в лабиринты улиц уходила не только вся мелкая, но и крупная рыба. Будущий член ЦК РСДРП Леонид Борисович Красин являлся заведующим биби-эйбатской станции общества «Электрическая сила», а будущий председатель Совнаркома Армении Саак Мирзоевич Тер-Габриэлян работал в Каспийском товариществе.

Это была почти безобидная игра в прятки.

«Кроме общего характера объяснений, никаких других от обвиняемого добыть не удалось, ибо на все вопросы, касающиеся его личности и обнаруженной у него переписки, Богдан Кнунянц высказывал нежелание давать показания.

Тигран Кнунянц, как и брат его, не признавал себя виновным, относительно найденного у них давал объяснения, согласные с объяснениями Богдана».

Такая вот невинная игра в кошки-мышки. Веселая игра! На отпечатанной банвором Мехаком первой листовке, присланной в полицейское управление, от руки

приписано: «Вы думаете, что нашли тинографию, ошибаетесь! Ее ищите не там, где следует».

Как удержаться от соблазна и не процитировать веселый финал?

«Признано было возможным освободить их от дальнейшего содержания под стражей».

Тем и кончился для братьев этот арест (для Богдана — четвертый).

За шесть месяцев, то есть с момента организации типографии и до отъезда Богдана в Женеву, банвор Мехак вместе с помощниками отпечатал более тридцати тысяч листовок на русском, армянском и татарском языках.

«В каждом из наших городов существуют комитеты партии, работающие на нескольких языках, до сих пор на трех (русский, грузинский и армянский), — делился своим опытом Богдан Кнунянц на пятом заседании II съезда, — а если понадобится, и на четырех (еще татарский). И несмотря на это, до сих пор никаких неудобств от этого не создавалось и успех движения на Кавказе не ослаб».

Я вижу высветленную весенним солнцем жизнь бакинского дворика, вылезшую кое-где травку, которую жует, пачкая мокрый нос в сухой земле, дворовый пес. Жует, чихает и кашляет. Во дворе я вижу Мехака Аракеляна — банвора Мехака, или, по-русски, рабочего Мехака, — с изнуренным, заросшим щетиной лицом, точно после тяжелой болезни. Как и Тигран, он не спал две ночи, печатая на гектографе листки к предстоящей демонстрации, — те самые, со сваленным с трона царем, валяющейся короной и сломанным скинетром.

Банвор Мехак щурится от яркого света, гладит собаку, затягивается папирсой.

Тигран, пошатываясь от усталости, незлобиво дразнит хозяина дома Мешади Абдул Салама, будто для того только, чтобы не заснуть.

Зашедшим сюда ненадолго Людвигу, Богдану и Авелю Енукидзе кажется, что эти бледные тени, громко именуемые работниками типографии Бакинского комитета РСДРП, тотчас исчезнут, стоит подойти к ним ближе.

— Как дела? — спрашивает Авель.

— Еще половины не сделали, — отвечает Мехак.

— Сколько же все-таки?

— Считайте. Шесть с половиной тысяч печатных и полторы тысячи гектографированных. Ваш брат измучился, — обращается он к Людвигу и Богдану. — Что делать, я ведь рисовать не умею.

— Э, — машет рукой Тигран, — ничего особенного.

— Наш Тигранчик выносливый, — говорит Богдан.

— Мелик научит не есть и не спать, — жалуется Мехак. — Мелик сам может неделю так.

— Где он, злодей?

— Печатает. Они там на нару с Ваню. Хотите посмотреть работу?

— Для того и пришли.

Мехак скрывается в доме. Собака лениво жует траву.

— Сегодня должны собраться представители районов, — говорит Людвиг. — Будем решать вопрос о демонстрации.

— А что, — с подозрением оглядывает братьев Тигран, — может, зря стараемся?

— Какой там зря! Рабочие возбуждены. Самым трудным будет убедить их не брать с собой на демонстрацию оружие.

— В прошлом году, — включается в разговор Мешади

Абдул Салам,— многие не пошли, боялись резни. Говорили, мусульман бить будут.

— Сознательные рабочие такого не скажут,— важно замечает Тигран.

Богдан слушает его, не улыбаясь. Он вспоминает, как маленький Тигран стрелял из рогатки в мусульманина, продавца туты, за что получил от отца изрядный пагоний. И еще вспоминает: они с Людвигом в нигиджанском саду. Разве все это было с ними? Нет, конечно. С кем-то еще.

— Что ж,— продолжает Тигран,— они стрелять будут, а мы, как овцы, ждать, пока нас убьют?

Солнце. Утро. Бакинский дворик. Глухая глинобитная стена. Молодой Богдан. Молодой Авель. Молодой Людвиг. Юный Тигран. Весна революции.

Банвор Мехак приносит листки.

— Нужен еще станок,— говорит Людвиг.— «Гутенберг» один не справляется.

Тихо, скороговоркой говорит, слов почти не разобрать.

— С Леонидом Борисовичем посоветоваться надо.

— Ваню,— зовет Богдан,— иди сюда.

— Он прав,— подходит Ваню,— станок нужен. Пусть Никитич расщедрится еще рублей на сто. С тремя наборами как справиться? Если бы только один русский текст.

— Может, еще одного наборщика нанять? — предлагает Мехак.

— Денег нет,— не смотрит на него Людвиг.

— Они с Меликом хотят из нас святых сделать. По пятьдесят копеек на два дня выдают. А ипогда вовсе голодом морят.

— Вы и есть святые.

— Ты уж точно святой Петр,— подтрунивает «Дедушка»-Мелик над Мехаком.— Ей-ей, он похож на этого святого соню.

— Нужно еще найти того, кто продаст станок.

— «Гутенберга» ведь удалось купить.

— Разве апостол Петр был соней? — начинает злиться Мехак.

— Товарищи, что за глупости, ей-богу. Как не стыдно?

— На татарском будет набирать Мешади.

— Красной краской печатать будем, — говорит Мешади Абдул Салам.

— Да, — говорит Богдан, рассматривая карикатуру. — Молодец Тигранчик. Красное с черным — просто замечательно.

— Красной краской на татарском печатать будем. Один мудрый человек сказал, что красный цвет — это цвет радости. Красный цвет самый лучший для глаз. От него расширяется зрачок. А от черного сужается.

— Вот и все, что известно о той типографии, — говорит Мешади. — Это все, что от нее осталось. Здесь, под стеклом. Между прочим, хозяина дома, где они устроили типографию, тоже звали Мешади. Мешади Абдул Салам Мешади Орудж-оглы. Запишите лучше, а то трудно будет запомнить.

— Надо же, такое совпадение.

— Он помогал им печатать листовки. К сожалению, слишком многое утеряно. Конспирация. Известно, что дом находился в крепостной части города. Вы там были? Я могу отвести, показать, если хотите. Как у вас со временем?

— Неважно, — признался я. — Я ведь здесь, в Баку, в командировке по химическим своим делам. Разве что вечером, если вам удобно.

— Давайте вечером. Мы переписываемся с сестрой Богдана Кнупянца. Это ваша бабушка? Забыл ее имя.

— Фарандзем Мипаевна.

— Да-да, — качает головой Мешади. — Трудное имя.

— Редкое. Как, бедную, ее только не называют: Фарандзема, Фаранзель, Фара.

— Обычно,— смеется Мешади,— когда речь идет о рукописи, то обилие вариантов служит признаком ее древности.

— Во время празднования бабушкиного девятидесятилетия в одном из наших московских учреждений докладчик упорно называл ее Сарой Наумовой и женой Богдана Кнулянца.

— В таком случае говорят: в докладе имелись отдельные неточности.

Мы посмеялись.

— Взгляните на эту фотографию. Не узнаете? Это Парпет, где происходили веселые демонстрации 1902 и 1903 года. Совершенно была голая площадь, не то что теперь. Собираетесь писать историческую книгу?

— Скорее что-нибудь вроде сборника сохранившихся текстов, воспоминаний, сцен, воссоздающих события того времени.

— Вы слышали,— спросил Мешади,— о писателе ал-Джахизе? Это имя означает «лучеглазый». Его дед был негром. Жил он около пятисот лет назад. Он писал о школьном учителе и о разбойниках, о ящерице, об атрибутах Аллаха и о хитростях женщин. Опасаясь наскучить читателю, он то и дело переходил от печального — к шутке, от серьезного — к изящной причудливости. Его ценили за многогранность и разнообразие приемов, сравнивая с человеком, который ночью собирает хворост.

Корреспондент газеты «Борьба пролетариата» о демонстрации 2 марта 1903 года: «10 часов утра. Парпет полон народа. Сюда собрались рабочие, торжественно несущие в руках налки, студенческая молодежь, интеллигенция, мелкая буржуазия и другие...

Ровно в 11 часов около 200 рабочих направились к середине улицы с призывом «Товарищи, сюда!», подняли красное знамя и, разбрасывая разноцветные листовки, с возгласами «Долой самодержавие!», «Да здравствует революция!» перешли на Марийскую улицу... Когда достигли Петровской площади, нас было уже 400 человек».

Из донесения: «Около полудня в Молоканском саду собралась группа рабочих, среди которых встречалась и учащаяся молодежь. Постепенно группа увеличивалась и вскоре превратилась в толпу, запрудившую прилегающую к саду улицу; послышались крики «Ура!», «Долой самодержавие!» и пр., при этом многие из толпы стали разбрасывать по улицам для публики листовки — небольшие листки цветной бумаги — с преступной надписью на русском и армянском языках, гласившей «Долой самодержавие! Да здравствует политическая свобода! Да здравствует социализм! Бакинский комитет РСДРП»... Когда стали разгонять толпу, часть рабочих, вооружившись камнями и палками, оказала было сопротивление, но была все-таки рассеяна... Кроме вице-губернатора ранен был один казак, и несколько чинов полиции получили легкие ушибы. Из публики же никто ранен не был... После демонстрации задержан был в числе других армянин житель села Шуши Баграт Калустов Авакянц...»

«Тот самый студент Авакян,— напишет в «Хронике одной жизни» И. В. Шагов,— который в день пятидесятилетия Фаро припес цветы в двухэтажный шушинский дом на горе».

Друг детства и товарищ Богдана Кнунянца, будущий комендант города Баку Багдасар Авакян, один из двадцати шести комиссаров.

«...житель села Шуши Баграт Калустов Авакянц, при котором найдена пачка (54 экземпляра) литографированных воззваний в $\frac{1}{8}$ долю листа...»

«На полулистке бумаги», — ошибочно будет вспоминать бабушка.

«...с рисунком: посредине листка изображен императорский трон, а слева, у подножия его, фигура лежащего императора, под которою надпись «деспот», над императором стоит наступающий на него левою ногою рабочий с молотком в одной руке и со знаменем в другой. На знамени надпись «1903 — 2 марта», «пролетариат»; справа рисунка написано следующее: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Долой самодержавие! Да здравствует политическая свобода! Да здравствует социализм! ВК РСДРП».

Описания листовки бабушкой Фаро и чиновником, доносящим по начальству, различаются лишь в деталях. Бабушка, однако, ошибочно отпосит издание нарисованной братом Тиграном листовки к апрельской демонстрации 1902 года.

«В числе арестованных накануне мартовской демонстрации были Б. М. Кнунянц, Е. В. Голикова и другие».

«Арестовав руководителей, власти надеялись сорвать демонстрацию 2 марта...»

Но тщетно. Последовавшая за ней демонстрация 27 апреля, в которой участвовало свыше 5000 человек с семью знаменами...

«...приняла у нас неожиданные размеры, она превзошла самые оптимистические желания комитета, — докладывал II съезду партии от имени Бакинского комитета Богдан Кнунянц. — Демонстрации имели у нас громадное значение: они сильно подняли в глазах рабочих и местного общества престиж социал-демократического движения».

В автобиографии бабушки Фаро издание цветной листовки отнесено уже вполне верно — к весне 1903 года. «Большая подготовительная работа, проведенная Бакинским комитетом РСДРП в 1902 году, — пишет бабушка, —

сказалась на массовости движения. Достаточно вспомнить про мощную бакинскую демонстрацию 2 марта 1903 года, посвященную 42-й годовщине крестьянской реформы 1861 г., и внушительную первомайскую демонстрацию, которой предшествовали массовые рабочие собрания по всем районам, воззвания к безработным, казакам, солдатам, учащимся с призывом к однодневной политической забастовке. Помнится, на демонстрации были разбросаны листовки на ярко-красной бумаге. Наряду с флагами, демонстранты несли плакат, нарисованный братом Тиграном, который учился в петербургской школе живописи и ваения барона Штиглица, но в последний год учебы был выслан в Баку за участие в студенческом движении. На плакате был изображен рабочий с флагом в одной руке и молотом в другой...»

Далее бабушка описывает плакат, повторяющий изображение листка, изготовление которого включало занятые подробности кулинарного характера.

«Богдан одобрил проект, а также текст листка, и мы с Тиграном приступили к работе. Нам помогала восьмиклассница Соня Пирбудагова, активистка при ученическом комитете. Мы заказали для гектографа две большие железные формы, якобы для печения пирогов. В этих формах мы сварили гектографическую массу и спрятали в одной из русских печей пустой казармы, рядом с которой занимал небольшую отдельную комнату наш Тигран, отбывающий воинскую повинность как вольноопределяющийся. Каково же было наше огорчение, когда, встретившись у брата, чтобы начать печатание, мы обнаружили, что оба гектографа безнадежно испорчены. Солдаты, убирая казармы к пасхе, нашли противни и, приняв гектографическую массу за сладкое (ведь глицерин с желатином сладкие на вкус), стали есть ее, отщипывая от края. Мы вынуждены были начать все сначала, когда до демонстрации оставались уже считанные дни...»

После пропущенного — видимо утерянного — листа машинописи следует описание первомайской однодневной забастовки...

«...охватившей буквально весь город. В забастовочную волну были втянуты самые отсталые слои рабочих, вплоть до служителей лавок, магазинов, кондукторов, кучеров конок и т. д. Забастовали учащиеся средних школ. Возбуждение было огромное. Мы, молодежь, бегали во все концы города, заходили в скверы, прислушиваясь, собирая сведения об откликах на демонстрацию для прессы и лично для Богдана. В Баку начались разговоры о том, что страна переживает канун больших политических событий.

Вернувшись после первого Закавказского съезда социал-демократических организаций из Тифлиса, Богдан несколько вечеров кряду работал над каким-то документом, спорил с Лизой, волновался, рылся в литературе, посылал нас с Тиграном в библиотеку Армянского человеколюбивого общества за статистическими справками. Мы знали, что он собирается куда-то на север, даже догадывались куда, так как много разговоров было тогда о готовящемся II съезде партии. Совещаясь с представителями различных районов Баку, Богдан требовал от них точных сведений, много ездил сам по районам.

А в июле на машиностроительном заводе Бакинского общества на Биби-Эйбате, где проходил практику Людвиг, началась всеобщая забастовка. Собственно, никакой практики он не проходил — лишь получал зарплату и вел партийную работу. Насколько помнится, устроился он там через т. Красина, имеющего большие связи на Биби-Эйбате. Людвиг стал председателем стачечного комитета. В течение нескольких дней забастовка охватила все промыслы, заводы, железнодорожные мастерские, порт».

В конце декабря 1903 года Богдан встретился с Красиным. В письме последнего к Ленину упоминается об этой встрече. Она состоялась 30 декабря 1903 года перед вечерним выступлением Богдана на Асадулаевской фирме. Возможно, в день выступления.

Я снова вынужден констатировать: «их многое объединяло», — имея в виду не только принадлежность к одной партии, но и некоторые другие события биографического характера, смещенные друг относительно друга на восемь лет, разделяющие день рождения бывшего студента Петербургского технологического института Леонида Красина и студента V курса того же института Богдана Квуянца.

Оба были исключены из института за участие в студенческих беспорядках. Оба служили в армии вольноопределяющимися. Для обоих Баку стал школой революционного подполья.

Все-таки к Леониду Борисовичу Красину судьба была более милостива. Элегантный, преуспевающий инженер, заведующий «Электрической силой», «ответственный техник, финансист и транспортер» партии с дружелюбной снисходительностью встречал в хорошо обставленной бакинской квартире двадцатипятилетнего студента, так и не закончившего свои скромные химические опыты в пилипенковской лаборатории. Внешний вид «финансиста» вполне отвечал его положению, тогда как поношенный пиджачок и застиранная косоворотка делегата II съезда были неизменной одеждой вечного студента.

— О, путешественник наш, заморский гуляка! — приветствовал его Красин. — Какие новости привезли?

Они пожали друг другу руки, и Красин усадил гостя.

— Ваше письмо об итогах съезда читали, обсуждали.

— Нужно собирать новый съезд.

— Зачем?

Красин насмешливо взглянул на гостя, который горячо принялся доказывать, что III съезд при создавшемся в партии кризисе необходим.

— В вас кипит молодая кавказская кровь, дорогой Богдан. Погодите, страсти улягутся, все образуется. Наши заграничные организации живут несколько искусственной жизнью. Оторванные от практической повседневной работы, они тратят много сил понапрасну. Честное слово, если бы им приходилось заниматься тем, чем занимаемся здесь мы, они поумерили бы свой пыл. Уверен, что Бакинский комитет целиком станет на сторону большинства. Сейчас не время ссориться. Наши противоречия менее существенны, чем то, что объединяет нас.

— Расхождение с меньшевиками — сугубо практический вопрос. Либо мы будем иметь действительную, боеспособную партию, либо...

— Вы отдаете себе отчет в том, что значит в нынешних условиях созывать новый съезд? — перебил Красин. — Во-первых, он решительно ничему не поможет, только запутает нас. Во-вторых, откуда взять средства? Одна типография Бакинского комитета обходится в двести рублей в месяц. О чем говорить? Расскажите лучше, как поживает distinguished ваш брат Тарсай Мипаевич? Несмотря на непродолжительное знакомство, я часто о нем вспоминаю и снова хотел бы встретиться. Кроме изобретательства он увлекается, кажется, живописью?

— Да, он недурно рисует. В родительском доме висят написанные им портреты. Тиграп тоже рисует. Но кто был истинным художником, так это старший брат Ивапе. Представьте себе: тонкие контурные линии — ничего больше. Когда рассматриваешь их, кажется, что никак не можешь ухватить главного, и тогда начинаешь смотреть с еще большим напряжением, пытаюсь понять. Не-что подобное я испытал недавно в галерее Тэйт в Лондоне, где выставлены картины одного английского худож-

ника. В них много неясного, изображение смазано, размыто. Море. Виды Италии. Обратив внимание на даты, я не поверил глазам. Этот художник, показавшийся мне более чем современным, родился в восемнадцатом веке.

— Я запомнил, где служит ваш брат?

— Тарсай — акцизный чиновник.

— Ну, это не для него. Пусть приходит в «Электрическую силу». Я попытаюсь подыскать для него достойное дело.

— Теперь он живет в Тифлисе. У его жены умерла мать, и они всей семьей туда переехали.

— Между прочим, меня с ним познакомил Людвиг. А с вами?

— Тоже он.

— Вы, кажется, приехали тогда ненадолго в Баку?

— Да, и остановился у Тарсая. Он жил в гостинице «Старая Европа». Так будем готовиться к новому съезду, Леонид Борисович?

— Исключено. После объезда комитетов вы придете к такому же выводу.

В письме Ленину от 1(14) января 1904 года Красин писал: «Третьего дня был здесь Богдан. Переданные им доводы мало меня убедили».

Миновал год, прежде чем, находясь уже в Петербурге, Красин понял, что время внутрипартийных диспутов невосвратимо ушло. Против винтовок требовались винтовки. Против пашек и вспененных лошадей, затаптывающих безоружную толпу, могла бороться лишь монолитная, сильная, боеспособная организация. И тогда, став одним из организаторов III съезда и перейдя на нелегальное положение, Красин вспомнил тот бакинский разговор с Богданом. «Откуда в этом молодом человеке такая искушенность? — подумал он. — Откуда такое острое политическое чутье? И к чему это он заговорил тогда о художнике, живописующем море и виды Италии?»

Накануне 1977 года возникла насущная потребность съездить в Тбилиси. Следовало преодолеть более тысячи километров пути, чтобы в более чем полувековом прошлом разыскать дом Меликонидзе и встретить героя задуманной книги. Ровно семьдесят три зимы назад ночной поезд Баку — Тифлис катил сонного члена Кавказского Союзного Комитета, встряхивая на недолгих остановках.

По окончании доклада он покинул неуютный сарай, принадлежащий Асадулаевской фирме, и в сопровождении высокого человека, имя которого так и осталось неизвестным, направился на вокзал. Чисто выбритый, он вновь превратился в шушинского реалиста — невысокого юношу с округлым лицом, какое можно теперь увидеть лишь на двух фотографиях: одна из них относится к годам учебы в реальном училище, а другая сделана в середине или конце двадцатых годов, и на ней — его единственный сын, очень юный тогда Валентин. Сбрав бороду и усы, Богдан резко изменил свою внешность.

Пассажир ночного поезда спешил на совещание Кавказского Союзного Комитета второго созыва.

Мне хотелось поехать в Тифлис, чтобы свидеться с ним на квартире Аршака Зурабова и познакомиться с тбилисским архивом, где хранится подробное описание той встречи, сделанное одной из активных участниц Кавказского Союза, бывшей петербургской консерваторкой Ниной Аладжаловой.

Я без труда представил себе, как приеду в слякотный Тифлис, найду нужный дом, поднимусь по знакомой лестнице в знакомую квартиру и сяду на свободный стул между Миха Цхакая и Дмитрием Постоловским, за праздничный крещенский стол, накрытый в ночь на шестое января не только ради конспиративной бутафории, но и

по случаю встречи старых друзей. Как услышу отрывок кем-то брошенной фразы, будто ворвусь в давно начатый разговор, возникну как-то вдруг, неожиданно — дух, вызванный из будущего. Еще только что меня не было, но этого никто не заметил. Я вторгся в прошлое, как если бы включил радиоприемник посреди передачи, вошел в темный зрительный зал, наполненный металлическими головами с экрана. И тотчас прижился, привык, стал участником дружеского застолья.

— ...дабы не уподобиться Топуридзе,— уловил я конец кем-то брошенной фразы.

— Не остроумно.

— Будет вам препираться, товарищи, в столь торжественный праздник.

— Обращаю внимание присутствующих на то, что все сидящие за этим столом — исключительно христианского вероисповедания,— хохотал Миха.— Редчайший случай, но факт, товарищи, факт.

— Топуридзе теперь тоже крещеный. Меньшевик во Христе.— Постоловский весело взглянул на меня, как бы передавая слово.

«Я» уже снова был не я, а недавний пассажир ночного поезда Баку — Тифлис.

Нас было трое, делегированных на II съезд РСДРП, а за этим столом сидели только два делегата. Топуридзе переметнулся в другой лагерь. Многие из нас болезненно восприняли разрыв с товарищем Топуридзе. А я почему-то вспомнил в связи с этим старые обиды и подумал, как сходны порой наши переживания, вызванные разными событиями, бедами и утратами.

В далеком детстве брата и меня наказал отец. В этом необычном человеке причудливо сочетались доброта и жестокость, щедрость и скарденность, широкий, образованный ум и провинциальное самодурство. Он жестоко наказал нас, провинившихся, посадив в мешок и завязав

веревкой, точно щенков, которых собирался утопить. До сих пор не могу вспомнить без содрогания ту униженность, беспомощность, незащищенность. В подвале шушинского дома было темно, и казалось, что холодный пол под нами ходил ходуном. Да, мы были подобны барахтающимся щенкам, выброшенным с лодки, охваченным животным страхом, ожидающим неминуемой гибели. Вот-вот воздух выйдет, мешок наполнится водой и нас поглотит пучина. Чувство верха и низа исчезло, ничтожно малое прошлое посылало сигналы бедствия будущему.

Что касается отступничества Топуридзе на съезде закавказских комитетов, то оно подействовало на меня угнетающе — ничуть не меньше, чем политиканство и отступничество тех, с кем столкнула другая, на несколько десятилетий вперед перенесенная жизнь.

Рослый, сероглазый Постолюковский весело взглянул на меня, а мне вдруг почудилось — нет, ясно представилось, что его жене Елизавете Борисовне спустя более пятидесяти лет после того памятного вечера захочется подарить в день пятидесятилетия моему внучатому племяннику, то есть мне другому, кожаную записную книжку, подобно тому как нашему общему приятелю Багдасару Авакяну, пережившему меня всего на семь лет, в июле 1900 года захотелось подарить моей пятнадцатилетней сестрице Фаро букет цветов, им самим собранных на высочайшей, почти всегда подернутой дымкой шушинской горе Кирс. На первой странице записной книжки Елизавета Борисовна напишет своим узким, острым, с сильным наклоном почерком:

*Ночь смотрит тысячами глаз,
А день глядит одним...
Но солнца нет, и день погас,
Ночь стелется как дым.*

*Уж смотрит тысячами глаз,
Любовь глядит одним...
Но нет любви, и свет погас,
Ночь стелется как дым.*

Эти стихи я извлеку из небытия и перечитаю, когда Елизаветы Борисовны уже не будет в живых. Я сумею постичь истинный их смысл, глядя на далекий огонь — освещенное окно тифлисской квартиры Аршака Зурабова. Выхватив наугад песколько фигур из ночи, тот свет преодолеет время и дойдет до сегодняшних дней как свидетельство давней жизни в окаменевшем куске прозрачной смолы.

— Топуридзе теперь крещеный, — говорит Постоловский, весело взглянув на меня, но в это время в наружную дверь звонят и жена Аршака идет открывать.

— Полиция, полиция! — доносится из передней грубый мужской голос.

И возмущенный женский. И снова мужской:

— Пропустите!

Голос звучит лениво, точно его обладатель знает все наперед и, скучая, ожидает, когда утомительно знакомые, однообразные протесты сменятся неизбежным смирением.

В комнату входят ротмистр и два жандарма. Дворник и еще один, штатский, остаются в прихожей.

— Господин Зурабов?

— Да. В чем дело? — спрашивает Аршак, на мгновение смешавшись.

— Я должен произвести обыск в вашей квартире.

— По какому праву?

— Вот, — говорит ротмистр, протягивая Аршаку документ.

— Я буду жаловаться.

— Извольте.

- Вам известно, что я служу в городской управе?
- Нам это известно. По какому случаю сборище?
- Крещенский праздник, — пожимает плечами Аршак.
- Приступайте, — говорит ротмистр жандармам.
- Но, господин ротмистр... Простите?..
- Моя фамилия Бугайский.

— Господин Бугайский, это недоразумение. Однако... если угодно... прошу. Пока ваши подчиненные будут искать бомбы, которых у меня нет, не присядете ли с нами к столу?

— Благодарю. Мы ищем не столько бомбы, сколько руководителей социал-демократической организации. Кстати, кто нам открыл дверь?

— Моя жена.

— А это...

— Двоюродная сестра Татьяна, — поспешил с ответом Аршак. — В настоящее время проживает у меня.

Нина Аладжалова скромно потупилась.

— Господин Постоловский, господин Цхакая — друзья дома. Господин...

— Арамаис Ерзинкианц, — представился я.

Ротмистр Бугайский повертел мою визитную карточку.

— Вы бакинец?

— Совершенно верно, бакинец.

— В Тифлисе давно?

— Нет. Впрочем, можете справиться у господина Меликопидзе, в доме которого я остановился.

— Это ваш знакомый? — почтительно осведомился ротмистр.

— Родственник, — не вдаваясь в подробности, отвечал я.

Через полтора месяца, когда меня арестовали в Москве, та карточка помогла полиции установить мою личность, поскольку адрес Меликопидзе для ротмистра Бугайского и принадлежавшая мне рукопись были па-

писаны одним почерком, а паспорт, выданный бессрочно Озургетским уездным управлением, оказался не лучшего качества.

— Господин Бугайский! Господа! Прошу за стол.

— Благодарю.

— Ведь праздник, господа, праздник...

Бугайскому потом сильно нагорело от начальства. Шуточное ли дело — упустить руководителей Кавказского Союзного Комптета! Ротмистр Бугайский был молодым, неопытным человеком. Ему простили.

В тот день быстро стемпело, помягчало и повалило с неба. Мокрый снег засыпал мостовые, тротуары, крыши, покосившиеся балкончики и веранды города.

Арамаис Ерзинкианц, оп же Кавказец, Русов, Рубен, а через несколько дней — дворянин Алексей Моисеев Гогиберидзе, то есть с приездом в Москву как бы превратившийся в грузина, Богдан шел по вечернему Тифлису, оставляя за собой глубокие черные следы. Город истаявал, растворялся в мелком кружении хлопьев, обретая особую, не свойственную ему красоту, напоминавшую фантазии художника, чьи полотна, вывешенные в лондонской галерее Тэйт, так поразили Богдана летом 1903 года, а меня — зимой 1975-го на выставке, привезенной в Москву из Лондона. В размытых, как Тифлис снегопадом, морских пейзажах мерещились бури, в растрепанных ветром деревьях Италии — мифические фигуры пророков, в прошлом угадывалось настоящее, в реальном — идеальное.

Идя по завьюженному Тифлису, Богдан вспоминал Лондон, недавний съезд, пуганицу, вражду и раскол — все то, что сделало двадцатипятилетнего юношу усталым взрослым мужчиной, каким он выглядит на фотографии, сделанной Московским охранным отделением 15 февраля 1904 года, в день ареста.

Иногда я спрашиваю себя, что побудило его оставить опыты в пилипенковской лаборатории. Какая сила оторвала от увлекательных занятий химией? Бабушка говорит: доброта. «Он был очень добрым, отзывчивым человеком,— говорит бабушка.— Не мог видеть несправедливость, страдания наших бедных пушинских соседей, бесправие рабочих на нефтяных и рыбных бакинских промыслах. И конечно, большое влияние на них с Людвигом оказала первая поездка в Тифлис в 1895 году, когда, зарабатывая уроками на жизнь и для будущей учебы, они познакомились с местными социал-демократами, прочитали «Капитал» и «Манифест Коммунистической партии».

Работе подпольной типографии в доме Мешади Абдул Салам Мешади Орудж-оглы помогал доктор химии из бакинского отделения Императорского технического общества С. М. Гуревич. Эта краткая справка в «Бакинском рабочем» навела на мысль о том, что через пять лет после известной встречи в квартире Аршака Зурабова, после разгрома первой русской революции и возвращения Богдана в Баку он имел возможность возобновить свои химические опыты в лаборатории доктора Гуревича, который заменял одно время Эйзенбета, члена Бакинского комитета, поддерживавшего связь подпольной типографии с внешним миром.

Имела ли какое-нибудь отношение фамилия Гуревича к листкам с химическими формулами? Посетил ли Богдан в тот кратковременный свой приезд частную химическую лабораторию Гиви Меликонидзе? Бабушка Фаро не могла ответить ни на первый, ни на второй вопрос.

В ее неразобранных бумагах я нашел тетрадь, относящуюся к 1904 году.

«Началась русско-японская война»,— констатировала в своих записях бабушка. И несколько страниц спустя: «Авель Епукидзе, зайдя к нам ненадолго проездом, оста-



вил для меня записку, в которой Богдан сообщал, что он жив, здоров, бодр, весел, чего и мне желает. Просил не оставлять учебу. Сато сказала, что торопившийся на вокзал Амель спрашивал обо мне.

— Очень уж он интересуется тобою, — лукаво прищурилась она. — Это неспроста».

И дальше:

«Созданный Богдапом ученический комитет превратился в партийный кружок. Мы считаемся полпоправными социал-демократами, большевиками, выполняем все поручения БК. Егор Мамулов, Ходжамиров, Лиза Кафиева и я работаем пропагандистами. Рюша Бапович, Яша Цыпин и Ваня Шагов ответственны за печать. Теван и Трдат организуют явки, кружки.

Вопреки советам Богдана, я совсем забросила школьные свои дела. Пропадаю на дискуссиях с дашнаками, сионистами, социал-революционно настроенными учащимися. Все осмелели, наклеили на себя ярлыки.

На днях в гимназии ко мне подошли Караджева и Кригер:

— Мы решили собрать деньги на подарки нашим бедным солдатикам.

Меня чуть не стошнило. И кто это говорил? Караджева — дочь богача, избалованная, взбалмошная девчонка. Видно, у меня сделалось такое лицо, что Кригер потянула Караджеву за рукав:

— Ладно, пошли.

— Да, — согласилась Караджева, — мы обратились не по адресу. Она однажды сказала, что если нас победят, случится революция. Кнунянц за то, чтобы нас победили япошки.

Если они нажалуются начальнице, меня снова выгонят из школы.

Этих девочек никогда ничего не интересовало, кроме причесок, разговоров о модах и красоте. Но стоило на-

чатся войне, и они стали другими: жалеют «душек офицеров», посылают подарки «бедным солдатикам». Во всяком случае, в них пробудилось нечто похожее на интерес к общественной жизни.

В те дни началась забастовка приказчиков магазинов. Бакинский комитет поручил мне провести собрание, познакомить приказчиков с требованиями, выработанными их представителями и утвержденными БК. Требования были мелко написаны на клочке бумаги, который в случае появления полиции следовало проглотить или уничтожить другим способом. Собрались в дровяном складе Сагатовых на Гимназической улице. Я сильно волновалась, но все прошло хорошо — ни одного голоса против.

Под пасху организатор нашего куста ретушер Левон из фотографии Ростомяна дал мне знать, что вечером снова состоится собрание. Условились, что я приду за 2 — 3 минуты до закрытия склада. Со сторожем — дядей Левона — все было договорено: он отдаст Левону ключи. Левон встретил меня, торопливо отвел в дальний угол под небольшой навес и ушел, пообещав вскоре вернуться с товарищами.

Пасху договорились встречать у Лели Бекзадян, поскольку Сато уезжала в Балаханы к брату, а Варя уходила к родственникам. Перед ужином мы с Лелей собирались пойти в армянскую церковь, а после ужина — в русский собор, где богослужение продолжается всю ночь.

Я ждала кого-то в огромном пустом дровяном сарае, но никто не шел.

Я ждала час, два, три.

Над самой головой стоял оглушительный колокольный звон. Темная ночь, звезды. По углам громоздятся какие-то чудища — доски, рамы, бревна, что-то поскрипывает, потрескивает. Ворота заперты, обо мне забыли и не вспомнят теперь до утра. А кто вспомнит утром после пьяной, разгульной ночи?

Было холодно. Я ведь пришла на склад ненадолго — в легкой кофточке, в парусиновых туфлях.

Зуб на зуб не попадал. Хотелось есть, спать, но нельзя — замерзнешь.

Когда начало светать, в армянской церкви зазвонили к заутрене. Тело было ватное, а ноги стопудовые.

Стало совсем светло. Прилетела какая-то птичка, села на забор, повертела головкой, будто удивляясь, откуда взялся здесь, за досками, человек. Я боялась, что у сторожа окажется второй ключ, он откроет и обнаружит меня.

Кончилась заутреня. Послышались шаги возвращающихся из церкви. Кто-то открывал ворота. Я сжалась, спряталась в своем укрытии. Подошел Левон — с красным лицом, распухшими от пьянства глазами. Лицо виноватое, в глаза не смотрит. Бурчит:

— Ради бога, скорее. Поздно уже. Могут заметить. Иди вдоль стены и тихонько выйди. Я следом. Только чтобы не видели, что мы вышли отсюда вместе. Ночной сторож уже ушел, а дневной еще не явился.

Так было обидно, что плакать хотелось. Если бы хоть за дело пришлось страдать. И пекому было меня защитить. «Где ты, Богдан?» — повторяла я про себя, пока не добралась до своей постели и не заснула как убитая».

6 января 1904 года Богдан выехал из Тифлиса в Москву. Прямо из квартиры Аршака Зурабова он отправился на вокзал. Будто чувствовал, что одним визитом ротмистра Бугайского дело не обойдется. И ведь правда не обошлось. Интуиция у него была удивительная. Не только та, что касалась конспиративных дел, но и другая — химическая.

Знакомство со статьями А. Н. Баха о процессах медленного окисления и о роли перекисей в экономии живой клетки породило множество вопросов, которые Виктор Никодимович особенно ценил как проявление самостоя-

тельного мышления у начинающего исследователя. Сам Виктор Никодимович любил порассуждать о том, что жизнь-де — это медленное сгорание, что без горения нет жизни и т. д. «Если бы удалось создать вещества, которые замедляют разрушение,— говаривал Виктор Никодимович,— но не оказывают заметного влияния на другие жизненные процессы, то Фаусту не пришлось бы продавать свою душу дьяволу. Несомненно, древние знали секрет, ныне утерянный. Я думаю, что некоторые ваши земляки-долгожители все еще помнят его, господин Кнунянц».

Однажды что-то разбудило «господина Кнунянца» среди ночи. Он зажег свет, не одеваясь, подошел к столу, присел на краешек стула и принялся писать карандашом. Голова была светлая, мысль работала быстро, необычная легкость ощущалась в теле.

Утром он поспешил в лабораторию и поставил очень странный опыт: окисление легкого углеводорода, загущенного смолой, полученной в результате перегонки нефти. Титруя окисленный раствор, он обнаружил более высокое, чем обычно, содержание перекиси. В следующий раз перед окислением он добавил небольшое количество изготовленного им с помощью нескольких химических реакций вещества, рядом с предполагаемой формулой которого профессор Павловский впоследствии, уже на экзамене, поставил жирный вопросительный знак. В отсутствие смолы это вещество, по всем признакам пассивное, не влияло на окисление. Но стоило добавить смолу — и перекиси не образовывались! Он даже статьи не успел тогда написать, хотя полученные результаты были поистине необыкновенные.

Вот и сейчас что-то гнало его на вокзал, хотя в Тифлисе еще оставались дела.

В ту же ночь по возвращении в свою квартиру был арестован Дмитрий Постолюнский. Через два дня к Михе явились с обыском. Что касается третьего гостя Аршака

Зурабова, то в допесении Тифлисского охранного отделения директору департамента полиции было сказано, что «неизвестный, назвавшийся Арамаисом Ерзинкианцем, не был разыскан». Его искали по адресу, указанному в визитной карточке. И по всему городу. «Тем не менее, принятыми мерами лицо это в Тифлисе обнаружено не было».

Москва встретила Кавказца крещенскими морозами. В его распоряжении было несколько явок, но прежде всего надлежало встретиться с Сорокиным. В Москве должны находиться также Землячка, Гальперин, Носков.

— Здравствуйте, господин Сорокин!

Элегантно одетый господин, с едва отросшими усами и бородой, энергично поздоровался, расстегнул пальто, поправил с непривычки врезавшийся в шею стоячий воротничок рубашки с галстуком.

— Рубен?

— Алексей Моисеев Гогиберидзе. Вы меня с кем-то путаете. Тогда как последние наши встречи в Брюсселе и Лондоне давали мне право надеяться...

— Помню, помню,— смеялся Бауман.— Давно в Москве?

— Только что приехал.

— Откуда?

— Из Тифлиса.

— Вот и прекрасно. Вместе позавтракаем. Вас в самом деле почти не узнать. Барином стали.

— Да и вы, дорогой товарищ, насколько известно, из простого Грача¹ превратились в важную птицу.

— Что ни говорите, на нас теперь больше надежды, чем на Петербург. Там примиренцы все дело портят.

— Я недавно встречался с Красиным.

— Ну и как?

¹ Грач — один из партийных псевдонимов Н. Э. Баумана.

— Не договорились.

— Он частенько теперь бывает в Москве. Кстати, мы кооптируем вас в Московский комитет.

Они пили чай из голстостепных фаянсовых чашек. Жидкий московский чай, совсем не такой, какой подавали в маленьких стеклянных стаканчиках грушевидной формы — армуды — в крошечных татарских чайных во время долгих стоянок дилижанса на пути из Евлаха в Шушу.

Несколько дней ушло на знакомство с делами организации. Позже, уже в феврале, он ездил в Высшее техническое училище, расположенное в Немецкой слободе, среди деревьев, сплошь усыпанных птичьими гнездами. По утрам здесь стоял оглушительный гомон проснувшегося воронья, будто над головами идущих на занятия студентов распарывали простыни. Сорокин и Гогиберидзе шли по мостовой, чтобы не попасть под проливной дождь птичьего помета.

— Этот шум напоминает патристические вопли нашей официальной прессы в связи с войной, — заметил Бауман. — Не находите? Только совсем непонятно, на кого они рассчитаны. Несмотря на то, что высокопросвещенная публика все знает, все понимает и морочить голову вроде бы некому, газеты продолжают лгать и лицемерить с непонятным усердием.

— Ничего не слышно, — жестами показал гость.

Вороны рассаживались на деревьях, затихая.

— Я говорю, — прокричал Бауман, — что оболванивание умов продолжает оставаться хотя и примитивным, но действенным средством.

— Почему бы не свалить все грехи на «вероломных и кровожадных азиатов»? — усмехнулся гость. — Ведь «наш царь всегда против войны», — процитировал он, — но «азнавшие японцы коварно напали на наш флот и принудили взяться за оружие».

— Высочайшие торжественные речи, — Бауман потряс в воздухе свежей газетой.

Московский комитет развернул пропагандистскую работу не только в Высшем техническом училище, но и среди студентов Московского университета, Строгановского художественно-промышленного училища, ряда других учебных заведений. Агитаторы из «Группы студентов социал-демократов» шли к рабочим, агитировали за проведение 19 февраля уличных демонстраций политического характера. Начиналась цепная реакция. Радикалы поднимали голову. Зима 1904-го готовила зимние события 1905 года, и бог ведает, какой ингибитор мог бы тогда задержать начавшееся брожение — нарождающееся дыхание первой русской революции.

Почтительное отношение к верховной ректорской власти истаявало на глазах. Оно испарялось, как оставленный на часовом стекле кристаллик йода. Но что значило неуважение к камергеру его величества, директору Строгановского училища господину Глобе в сравнении с тем, какое будущее художники оказали великой княгине, сестре императрицы, и даже самому государю императору, всемирлостиво пожелавшему обратиться к молодежи — будущему российской культуры? Нет, что бы ни говорили консерваторы-оптимисты о том, что в агитации молодежи, в ее апломбе и франировании общественного порядка нет ничего нового, что самые горячие, когда повзрослеют, станут вполне достойными отцами семейств, что-то кончилось безвозвратно, ушло в прошлое. Это по-разному, но тем не менее совершенно отчетливо чувствовали и директор художественного училища господин Глоба, и начальник Бакинского жандармского управления полковник Дремляга, и ротмистр Бугайский, и государь император, и молодой дворянин Гогиберидзе, выходящий из сумеречного подъезда Сельско-

хозяйственной академии на яркий, искрящийся снег.

Парк был пустынен. Темная фигурка грузинского дворянина, затерявшаяся в протоптанных аллеях старого парка, и та была похожа на дьявольский запад, готовый взорвать это заваленное снегом величавое безмолвие провисшего ельника, неподвижных сосен и голых корявых дубов, быть может помнящих еще шумные царские забавы Петра. А человечку в надвинутом на уши котелке, следующему в заметном отдалении, черная на белом снегу фигура напомнила жука-древоточца.

10 февраля за Богданом Кнунянцем была установлена слежка. В этот день он виделся с Ф. А. Шпеерсон, Р. Е. Фрумкиной, крестьянином Курского уезда А. А. Дюминным, а также студентом Московского университета Л. Д. Жбанковым. Совещались в течение двух часов.

11 февраля в управлении Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги он встречался с А. Е. Забужным, вечером опять с ним, Л. Д. Жбанковым и Ф. А. Шпеерсон — в районе Сокольников.

14 февраля снова встречался с Л. Д. Жбанковым и другими лицами, состоящими под негласным наблюдением полиции.

15 февраля 1904 года. Из донесения начальника отделения по охранению общественной безопасности и порядка в г. Москве. Директору департамента полиции. № 1495.

«В дополнение к донесению от 13.2 за № 1415 имею честь представить Вашему превосходительству: в виду полученных сведений, что «Московский соц.-дем. комитет усиленно занят подготовлением к 19 числу текущего месяца уличной демонстрации при участии рабочих», — было признано необходимым произвести обыски и аресты у наиболее активных, известных охранному отделению членов местной соц.-дем. организации, как интеллигентов, так и рабочих, попавших в пред-

ставленном списке, с указанием результатов обысков. Упоминаемый в вышеназванном допосении за № 1415 неизвестный, наблюдавшийся под кличкой «Жук», оказался, действительно, нелегальным и проживал в меблированных комнатах Карпенко (Рождественка, дом Международного банка) по бессрочной паспортной книжке за № 195, выданной 17 августа 1898 г. из Озургетского уездного управления на имя дворянина Алексея Моисеевича Гогиберидзе, 23 лет, каковой фамилией он и назвался чинам полиции, производившим у него обыск,— причем, кроме указанного паспорта, у названного лица отобрана другая, не бывшая в употреблении бессрочная паспортная книжка № 9037, выданная 25 ноября 1903 г. из управления тифлисского полицмейстера, на имя почетного гражданина Агбара Георгиевича Геворкянца, 23 лет (выдача последнего документа подписью надлежащей власти не удостоверена, а лишь скреплена заведующим паспортной части). От каких бы то ни было устных или письменных объяснений, касающихся его личности, а равно и от подписи на предъявленном постановлении о заключении под стражу назвавшийся Гогиберидзе отказался. По снятии же фотографической карточки в охранном отделении (при сем представляется) он лишь заявил, что ни тот, ни другой паспорт не могут служить удостоверением его личности, так как настоящая его фамилия — Богдан Мирзаджанов Кну-нянц, а в дальнейшем предложил обратиться за сведениями о его прошлом в Департамент полиции или к начальнику Бакинского губернского жандармского управления, от которого необходимые сведения и запрошены по телеграфу.

Вместе с сим имею честь просить Ваше превосходительство не отказать почтить меня предложением, действительно ли на представленной у сего карточке изображен Богдан Мирзаджанов Кну-нянц, а равно какие име-

ются сведения о прошлой его преступной деятельности. По делам же Московского охранного отделения известно: 1) Студент С.-Петербургского технологического института Богдан Мирзаджанов Кнунянц, коему за участие в демонстрации 4 марта 1901 года на Казаиской площади в С.-Петербурге было воспрещено по постановлению господина Министра внутренних дел жительство в университетских городах, Риге и Ярославле сроком на 2 года, и 2) Бывший студент Киевского политехнического института Людвиг Мирзаджанов Кпунянц, привлекавшийся при Бакинском губернском жандармском управлении... в порядке охраны, по исследованию уличной демонстрации, имевшей место 21 апреля 1902 года в городе Баку, на площади Парапет... причем из отобранной у Кпунянца переписки было усмотрено, что последний был замешан также и в киевской демонстрации, но во время обыска сумел скрыть всю имевшуюся нелегальную литературу — почему и был вскоре освобожден от преследования.»

Допрашивал Богдана тихий, скромный на вид человек с умными, печальными глазами.

— Ради бога, Богдан Мирзаджанович, не считайте нашу беседу допросом. Как видите, и писаря нет, а все, что нужно, мы потом запишем. Этим разговором я преследую одну-единственную цель: понять, чего вы на самом деле хотите, ибо и сам я во многом сомневаюсь, многого не понимаю, но, поверьте, хочу понять. Вы отказываетесь отвечать на вопросы. Это ваше право. Тогда мне позвольте сказать. Ваша принадлежность к нелегальной организации для меня очевидна, хотя, повторяю, ваше право — подтвердить или рассеять мою уверенность.

Сегодня все недовольны существующим строем. Пожалуй, не найти в России такого сословия, которое бы

устраивало нынешнее положение вещей. Недовольны низшие слои общества, но и высшие слои недовольны. Придите в любой более или менее культурный дом — и вы непременно услышите, как за чашкой чая или за рюмкой водки россияне ругают свое правительство. Что ж, занятие из приятных: щекочет самолюбие, утоляет тщеславие, выдвигает в столь модные теперь ряды свободомыслящих граждан. Плохо то, плохо это, нужны перемены. Опасные, соблазнительные, приятные разговоры. Как папиросная затяжка после глотка вина. Никто не знает, что пужно сделать для улучшения жизни. Никто, кроме вас, пелегалыных. Вы хотите пролить кровь власть имущих, дабы установить справедливый строй. Вы стремитесь к беспорядкам во имя торжества высшего порядка. Да-да, все это старая песня. Я имел возможность прочитать большое количество запрещенной литературы, отобранной у вашего брата. Ничего нового вы не предлагаете, хотя пытаетесь представить дело так, будто новая история человечества начнется вместе с осуществлением всех ваших замыслов. Неужели вы так плохо знакомы с историей? Неужели не знаете, чем неизменно кончаются подобного рода благие намерения? Поборники свободы и демократии учреждают столь жестокие режимы, каких не ведала монархия, ими же во имя торжества справедливости свергнутая. Народовластие оборачивается тиранией. Кровь порождает еще большую кровь. Если вы добьетесь своего, ваши внуки будут вспоминать о нашем времени как о золотой поре свобод, дарованных государем своим подданным. Вы ведь знаете русскую пословицу: что посеешь, то и пожнешь. Вызвать беспорядки, чтобы на обломках рухнувшего дома построить новый? Все кончится еще большим беспорядком и хаосом, как уже неоднократно кончалось. Ибо все прочное создается веками, тысячелетиями, дорогой Богдан Мирзаджанович. А люди слиш-

ком нетерпеливы, они не хотят, не умеют ждать...

Богдан почти не слушал, смотрел в пол, молчал. Новый метод допроса — так он это понимал.

— Чем вам не нравится наш умеренный строй? Он ведь не самый худший из всего возможного, если учесть, что мы — страна все еще слишком низкой культуры. Не хотите отвечать?

Он только пожал плечами.

— Вам нечего возразить?

Он не ответил.

— Хорошо. В протокол, если не возражаете, мы запишем, что вы назвали настоящую свою фамилию, отказавшись от каких-либо устных или письменных объяснений.

«...К изложенному долгом считаю присовокупить, что течение настоящей ликвидации вызвало необходимость производства еще некоторых следственных действий, которые пока продолжаются и о результатах их, вслед за сим, имеет быть представлено Вашему превосходительству дополнительно.

Вместе с сим представляется копия проекта прокламации от имени Московского комитета РСДРП под заглавием «Кто виноват?», отобранного при обыске у Богдана Кнулянца».

Несмотря на то что полиция отобрала черновик, в конце февраля листовка была выпущена.

«Кто виноват в том, что льется человеческая кровь, — русский царь или японский микадо, кто вызвал эту жестокую, братоубийственную войну, которая вот уже две недели тянется и неизвестно еще сколько протянется?»

ГЛАВА X

Когда все они жили в Баку, Жук был Волком, Фаро — Галкой, младший брат Тигран — Лихачом, Лиза Голикова — Татаркой. Волк носил черные брюки, темно-зеленое пальто и мягкую черную шляпу. Галка предпочитала черный жакет, черпо-коричневую юбку и шляпу с белыми полосками на полях. Симпатичную компанию дополняли Ишак, Лисица, Ласточка и Мартышка. Жулик, Горбатый и Острик хотя и водили с ними дружбу, существовали сами по себе, обособленно.

В такую вот веселую игру играли сыщики и нелегалы. Кто кого переиграет. Такая была игра. Такими остроумными предстают перед нами служащие жап-дармского управления. Художники-моменталисты, сочетающие увлечение искусством с основной работой филеров. Любители игры в кошки-мышки.

Хорошие сыщики выследили много нелегалов, плохие — мало. По статистике, средняя продолжительность жизни последних значительно превышала продолжительность жизни первых. Для сравнения: некоторые виды кровососущих клещей живут в несколько раз дольше, если не имеют возможности напиться крови. Но это уже из области геронтологии.

Сыщик, выследивший Жука в парке Сельскохозяйственной академии, в результате чего Жук, он же Волк, был арестован, скончался буквально через несколько дней. То ли слишком легко был обут и простудился, то ли волчья кровь оказалась чрезмерно питательной. Трудно сказать. А теперь, семьдесят лет спустя, просто невозможно.

Сам Волк называл себя Асей. «Занята, — писал он Татарке. — Некогда длинное письмо писать». Такая запутанная получалась игра.

Вот что еще привлекло мое внимание в довольно-

таки занудной, монотонно-однообразной как по форме, так и по содержанию полицейской летописи. При аресте 15 февраля 1904 года у Жука были обнаружены «зазерпнутые в бумагу отдельные кусочки какого-то белого вещества». Так написано в описи отображенных у задержанного вещей. Это «белое вещество» промелькнет в полицейских протоколах еще раз несколько лет спустя. Если моя догадка, связанная с химическими формулами, верна, то вещество, отвечающее подвопросной структуре V, по всей видимости, должно быть как раз белым, если только дедушке удалось выделить его в чистом виде.

Остается лишь пожалеть, что среди полицейских не оказалось ни одного химика-любителя, который бы из любопытства, в факультативном, так сказать, порядке определил молекулярный вес вещества, осуществил бы его элементный анализ, ну и так далее. Такой любитель оказал бы неоценимую услугу науке, человечеству и будущей книге о Богдане Кнунянце.

Но как же все-таки удалось получить то вещество? Было ли оно опробовано на животных? Знал ли Виктор Никодимович Пилипенко о том, какого рода опыты ставились в его лаборатории? Интересно также, какие изменения в человеческом организме может вызвать действие сильного геропротектора. Скажем, сохраняются ли черты лица, цвет волос? Не покажется ли человеку, принявшему достаточно большую дозу геропротектора, и всем, кто его окружает, что он умирает или бесследно исчезает куда-то, тогда как его молодая жизнь продолжается в новом времени, в ином качестве?

Сразу столько вопросов. И ни одного ответа на них.

Часто я ловил себя на мысли, что все происходившее с Богданом Кнунянцем в действительности когда-то происходило со мной. Краешек памяти улавливал далекий, знакомый гул, и мне вдруг начинало казаться, что пап-

ки Ивана Васильевича разбираю не я нынешний, но я, уже живущий в будущем, то есть, скорее всего, мой внук.

Наибольшие затруднения, пожалуй, вызвали те места в рукописи, где говорилось о гибели и похоронах Богдана. Из записей, составленных на основе свидетельских показаний и периодической печати тех лет, вырисовывалась весьма противоречивая картина. Одни свидетели утверждали, например, что Мирзаджан Кнупи присутствовал на похоронах сына, другие — что по состоянию здоровья он никак бы не мог приехать тогда в Баку. В одних источниках говорилось о внушительной демонстрации по случаю тех похорон, в других — что пикаких официальных похорон вообще не было, поскольку умерших политических заключенных не выдавали родным и товарищам. Имевшиеся материалы не подтверждали ни одну из этих версий.

Впрочем, подобные вопросы возникали не столько с этим февральским, шестым по счету, сколько с более поздним арестом. Тогда он не назвал своего настоящего имени, а в этот раз назвал, хотя подписать протокол допроса отказался. Он навел их на свой след, чтобы отвлечь. Предложил запросить Баку, сличить почерки. Тянул время. Надеялся, что пока возьмется с ним, Бауман и другие скроются, уцелеют. В Рогожском полицейском участке его допрашивали ежедневно. Он же твердил свое:

— Я — Богдан Мирзаджапов Кнупянц. Других ответов давать не буду.

Три месяца назад ему исполнилось двадцать пять лет.

Через шесть дней арестованного Кнунянца перевели в московскую губернскую тюрьму — в Таганку. Перевозили ночью, когда движение на улицах почти прекратилось. Кое-чему полиция научилась за последние годы.

Когда в апреле 1902 года их всех арестовали в Баку по обвинению в организации первомайской демонстрации, то повели по городу среди бела дня. Кроме братьев под конвоем шли Лиза и Роза Бабакова, а главное — Фаро в гимназической форме, с ученической сумкой в руке. На них глазели, вздыхали: «Что же это такое делается? Детей стали брать». Первомайская демонстрация продолжалась. Сочувствие было на их стороне. Людвиг шутил: «Боюсь, у них места не хватит поселить как следует наше многочисленное семейство». Тигранчик сверкал глазами, как пойманный волчонок. Роза прижималась к Людвигу. Начальнику Бакинского жандармского управления (кажется, им уже был тогда полковник Дремлюга) дорого обошлась эта прогулка арестованных по весеннему городу.

Еще не истек и месяц отсидки в Таганской тюрьме одного агитатора за созыв III съезда партии, как ему на смену спешил из-за границы другой агитатор — тридцатилетний член ЦК Фридрих Вильгельмович Ленгник. Он же баварский кунец Артур Циглер. Он же Кол.

Кунец ехал в Россию по делу. Некоторые российские цекисты имели смутное представление об истинном характере конфликтов между «большинством» и «меньшинством». Примиренцы делали вид, будто ничего не происходит. Меньшевики захватывали комитеты. Только встретившись в Москве с Носковым, Красиным и Гальнериным, Ленгник понял, насколько серьезное положение сложилось в партии. Тревога заграничной группы большевиков расценивалась здесь некоторыми как блажь сопревших в отсутствие практических дел эмигрантов.

Так возникло это почти неприметное облачко на горизонте.

Раскаленная русская почва, постоянная угроза арестов, мельканье лиц, сумятица мнений, напряженный

характер жизни развили у некоторых местных работников прогрессирующую близорукость. Тогда как сверху, с живописных швейцарских гор было видно, что облачко несет бурю, молнию, которая может спалить начавшее набирать рост деревце революции, обуглить его, сжечь дотла.

Купца раздражало интеллигентское высокомерие Гальперина, поучающий тон, снисходительный взгляд. Гальперин говорил о том, что негоже, мол, сеять смуту среди своих, что все они принадлежат к организации, само название которой требует соблюдения демократического стиля отношений. Что именно создаваемый сегодня стиль обусловит будущее партии. «Наша тактика,— говорил Гальперин,— должна опираться на массовое движение, а не на кучку заговорщиков. Завтра кому-то еще не понравится что-то в решении съезда, и он вздумает созвать новый съезд. К чему мы придем? Во что превратимся?» И еще не раз Гальперин козырял словом «тактика», которому Купец решительно противопоставил стратегию: важен конечный результат — быть или не быть революции.

— Но согласитесь, товарищ Ленгник, ее судьба по так уж сильно зависит от превратностей европейского климата и от умонастроений Заграничной лиги наших многоуважаемых товарищей,— не без сарказма заметил Гальперин.

Разговор чуть не кончился дракой. Гальперин не хотел скандала. Купец на него не шел. Тем не менее завершилось скандалом. И полным разрывом. Ленгнику казалось, что, понюхав власти, цекист Гальперин стал не в меру надменен. Это его и взорвало.

В том числе это.

Личные пристрастия, несовместимые черты характера, мягкотелость и беспощадная жестокость, удовлетворение тщеславия и ненасытная жажда действия не в

последнюю очередь разводили бывших товарищей в разные стороны.

Казалось бы, как легко договориться. Как упростилась бы жизнь, если бы на той только основе возникали группы, кружки, партии, что одни умны, другие глупы, третьи коварны, четвертые благородны. Сколько всего намешано в том непостижимом вареве, которым бурлит алхимический котел истории! Какие только элементы в нем не образуются, в какие диковинные молекулы не складываются! Лепится молекула к молекуле, на ощупь угадывая сродство, а другая, напротив, отталкивается, подходящую себе пару ищет, обрастает оболочкой, тычется в разные стороны, ударяется о стенки, пока не соединится с себе подобной, не прореагирует со своим антиподом. А если никого не найдет, то весь век одиночкой промыкается, останется неуловимой, нечувствительной для истории нейтральной частичей или пусть даже заряженной положительно или отрицательно.

В июне выследили и арестовали Лепгника. Арестовали Баумана и его жену Медведеву, тоже нелегалку. Из нижегородской тюрьмы в Таганку перевели Стасову. Она проходила сразу по московскому и по петербургскому делам, шутливо потребовав по такому случаю две камеры. Несмотря на то, что заключенные содержались в одиночках, все они без особого труда поддерживали связь друг с другом и с внешним миром. К лету «цитадель царизма» превратилась в «цитадель большевизма», иронией истории созданную самим государством.

Богдан писал письма жене Лизе. Лиза писала ему.

Департамент полиции 00№141.1904 г.

Совершенно секретно

Начальнику С.-Пб. охранного отделения

В дополнение к предложению от 12 марта с/г за № 3061 ДП сообщает, что, по имеющимся агентурным сведениям, письмо из С.-Пб. от 22 февраля, адресованное Аппе Аваковле Исаханян, выписка из которого была препровождена вам при означенном предложении, предназначена содержащемуся под стражей в московской губернской тюрьме Богдану Кнуянцу, автором же предложения должна быть его жена, Елизавета Васильевна, урожденная Голикова, подлежащая на основании высочайшего повеления в мае 1903 г. высылке под гласный надзор полиции в Вятскую губернию на 3 года, по до приведения сего в исполнение скрывшаяся за границу. Ввиду сего ДП просит вас выяснить, если представится возможность, в течение какого времени проживала в С.-Пб. названная Кнуянц (Голикова), по какому документу, и о последующем со сведениями о деятельности и сношениях за время пребывания в столице уведомить.

Март, 1904 г.

Лиза, родная, если б ты только могла себе представить, как успокаивает меня та мысль, что я не один, что где-то далеко есть преданное сердце, которое не оставляет меня одного ни в радости, ни в печали, никогда... Не правда ли, родная, никогда... В деньгах и книгах пока не нуждаюсь, условия жизни у нас, как я уже писал, очень недурные. Погода в Москве стоит превосходная, даже в камере чувствуется тепло весны, которая, по-моему, является самым тяжелым временем года для заключенных...

24 апреля 1904 г., из Женевы

Дорогой Богданчик... Ильич теперь очень занят своей книжкой; на днях выйдет. Я думаю, она совсем их в лося положит. Они теперь от тактики обвинений Цека

в недееспособности и несоциалдемократичности перешли к тактике обидчивости: плачут, что им не дают работать вместе с большими. И это пишет Мартов, который на другой день после съезда отказался работать с Лениным...

Что у вас? Как допустили, чтобы их было больше, и позволили провести подобную резолюцию...

В своих кружках Мартов говорит, что сейчас поужно съезда, ибо у них еще не определились разногласия. С Кавказа и из Одессы поступили резолюции с требованием съезда.

8 августа 1904 г.

г-же Величкиной в Женеву,

Рю де ля Коллин, 3.

(Внутри конверта надпись: «Для Ел. Вас.»)

Я со дня на день жду перемены своих обстоятельств, окончания дознания и перехода дела к прокурору, а с этим, как ты, вероятно, знаешь, связана масса льгот. Обещали закончить к 1-му, а теперь 8-е, и ничего еще нет. Меня опять постигло несчастье: я перестал получать твои письма и, главное, именно теперь, когда я со дня на день жду от тебя известий, что ты решила предпринять. Главное, я теперь ничего не могу поделать до сентября, когда съедется публика и будет легко достать адреса. Теперь же приходится сидеть сложа руки и ждать, авось через кого-нибудь случайно ты пришлешь мне весточку. Видно, тебе не передали нового адреса вместо недействующего старого, а я просил это сделать давно. Ничего, милочка, прожили при таких неудобных условиях 5 месяцев, проживем еще один, а там уже все удобства будут в нашем распоряжении. Ты не думай, что я апатично настроен: вовсе нет, во мне жизнь кипит и я рвусь на работу, и ничуть не складываю оружия, но пока нужно «погодить». Чего ты придаешь та-

кое значение суду? Ведь от этого решительно ничего не изменится: я думаю даже, что приговор будет более легкий, чем при административном порядке. Только бы не отсидка. Об обстоятельствах дела ничего писать не могу, так как мы сами ничего не знаем, чем кончится. Вот когда окончится дознание и нам предъявят все данные, тогда и сообщу подробно... Сейчас не могу при-
слать никакого адреса. К началу сентября будет.

Твой.

10 августа 1904 г., из Женева

Марии Марковне Гиршман в Москву,

Мыльников пер., д. Гиршман

На внутреннем запечатанном конверте: «Б. К.»
(от Е. Голиковой)

Вот уже две недели, как я не получала от тебя, Богдан, ни строчки, и это в такое время, когда я особенно заинтересована в корреспонденции. Ведь я еще ничего не знаю о судьбе твоего дела, которое, по твоим соображениям, должно было так или иначе скоро решиться. Я уже не говорю о той массе вопросов, которые я тебе задала в последних письмах и на которые, как видно, мне уже не удастся получить ответа. Маша и Оля¹ на днях уехали, так что адрес Хумаряна пропадает. Мне так обидно, что я не имею ни одного адреса, по которому могла бы послать телеграмму, чтобы справиться о твоём здоровье; если послать по тому, который ты мне дал, то, вероятно, там не поймут и я не добьюсь никакого ответа. Постарайся устроить насколько лучше сообщение между нами; ведь теперь осень, и это совсем уж не так трудно. Теперь к вам прибыла масса народа, и ты, вероятно, узнал уже все новости. Слышал

¹ Маша Касабова и Оля Оганова — шутники, учились в Петербурге.

ли ты, что ЦК выпустил манифест, призывающий к миру? Теперь пачнется ожесточенная борьба с меньшепством, выражение ему недоверия, отказ от моральной поддержки и т. п., конечно, только с нашей стороны. Скоро надо ожидать развязки: или они выпрут Ленина, или выйдут сами, как лица несколько скомпрометированные; тогда составится безусловно ваш ЦК. Не была ли у тебя на свидании Фар.? Маша скоро поедет просить о свидании с тобой и, вероятно, добьется. Сейчас она еще в Париже вместе с Олей, а потом поедут в Берлин.

24 августа 1904 г.

г-же Величкиной в Женеву,
Рю де ля Коллин, 3.

«Для Елпс. Вас.»

Получил я твои письма от 9-го и 22-го августа. Как видишь, я твои письма, хотя и не все и не совсем аккуратно, все же получаю. Почему ты моих не получаешь, не знаю: я пишу по два письма каждую неделю и отправляю по разным адресам. Придумать отсюда заграничные адреса я не могу; мне кажется, об этом ты должна позаботиться и снабдить меня нужными адресами. Что же касается здешних, то все, что могу, я для тебя делаю; вот осенью непременно устрою. Чего ты так сильно беспокоишься обо мне? Ведь не можешь же ты серьезно думать, что меня здесь пытаются и истязают: ведь ты же сама сидела в тюрьме и знаешь, как, в сущности, во всех отношениях безопасна тюрьма. (Я в России другого более безопасного места не знаю.) Сообщенные тобой новости переполошили наш муравейник; только ты напрасно пишешь так кратко, думая, что нам многое известно; имей же в виду, что свежие люди прибыли к нам уже два месяца тому назад, а за эти два месяца случилось столько нового. Я только очень

доволен, что наконец-то сорвана маска с лица наших смириков и теперь руки не будут связаны никакой официальнойщиной. Лупите их вовсю, не останавливайтесь ни перед какими решительными действиями, вплоть до переворота; я думаю, давно уже пора прекратить господство заграничной «клоаки» и бесхарактерных политиканствующих дипломатов. Черт возьми, как у меня руки чешутся. Пришли мне хороший адрес. Мне очень многое нужно тебе написать. О моем деле ничего еще не известно, дознание не копчилось, вероятно, до суда придется сидеть. Когда будет суд, неизвестно. На днях придет сестричка ¹...

Тюремная почта работала. Было бы неоправданной смелостью утверждать, что применявшаяся заключенными техника — веревка с мешочком песка на конце, который спускали к окну нижней или перебрасывали в окно соседней камеры — отвечала последним достижениям отечественной и зарубежной мысли, но действовала она безотказно, в полном соответствии с законами классической механики. Во всяком случае, благодаря этому простому приспособлению стал возможен выпуск нелегальной тюремной газеты и составление совместного обращения 19-ти — ответа на обращение 22-х ².

В Москву из Женевы, из рабочего предместья Сеперон, Шмэн де Фуайэ, 10, обращение 22-х доставила Муха ³. Думали — на крыльях. Оказалось — в дорожном зеркальце. Над ней шутили:

¹ Б. К. имеет в виду приезд в Москву сестры Фаро.

² По инициативе В. И. Ленина близ Женевы состоялось совещание большевиков. Принято написанное Лениным обращение «К партии», явившееся программой борьбы за созыв III съезда РСДРП (обращение 22-х).

³ Муха — Р. С. Землячка.

*Свет мой, зеркальце! скажи
Да всю правду доложи...*

Муха попросила отвертку, вывернула шурупы и передала туго свернутый, мелко исписанный листок тонкой бумаги. На приехавшей была шляпа размером с самое большое воронье гнездо Немецкой слободы, из тех, что налеплены на деревьях скверика Высшего технического училища.

«Практический выход из кризиса мы видим в немедленном созыве третьего партийного съезда».

Из Таганки ответили:

«Дорогие друзья, после разных мытарств вся папа компания собралась в Таганке. Оглядевшись здесь, мы решили продолжать свою борьбу с меньшинством и слизняками. Участие примут Кол, Рубен, Полетаев, Соломон Черномордик, Абсолют¹... Надо наконец сказать им правду в глаза. Мы вполне уверены, что все мало-мальски сознательные элементы, дорожащие честью партии, с восторгом примкнут к нам, когда мы выведем на чистую воду политику этой заграничной клоаки, успешней заразить атмосферу вокруг себя своей затхлой кружковщиной и подлым стремлением улаживать партийный копфликт «по-домашнему», под сурдинку, за бутылкой пива и чашкой чая...»

Суть обращения 19-ти, составленного осенью, сводилась к требованию немедленного созыва III съезда.

Хотя почти всем им, в том числе и Богдану, давали время от времени общие свидания, отсидка в одиночке незримо истощала нервы, почти незаметно, по каплям, уносила жизнь.

Единственное, что оставалось,— это воспоминания.

¹ Кол — Ф. В. Ленгник; Рубен — Б. М. Киуныц; Полетаев — Н. Э. Бауман; Абсолют — Е. Д. Стасова.

Но и они смущали его как бы полной отделенностью нынешней жизни от тихого шушинского существования с посещением летнего клуба, жаркими спорами семинаристов на бульваре, шумно декламирующим стихи отцом и всегда печальной, молчаливой матерью. Прикасаясь памятью к тем дням, он испытывал минутную растерянность, будто заблудился, застрял в дороге, потерялся в одной из нигиджанских тутовых рощ. Словно некогда знакомый ему, не взрослеющий мальчик навсегда остался на пезатошленном острове, который омывала со всех сторон река времени.

Ночью ощущение тюрьмы было особенно острым. Ни звука не проникало в камеру. Тенерь, как и двадцать лет назад, время растягивалось до бесконечности. До бесконечности долго скакал на копе вдоль границы дед Иван с винтовкой в хурджине. Навсегда застыл в молитвенной позе прадед — священнослужитель Тер-Месроп. Деда и прадеда он знал только по рассказам отца.

Мальчик на острове следил за тем, как уносит с собой река конного деда, пешего прадеда, мать, отца, братьев, заросшего бородой человека, по страшному совпадению носящего его имя.

Остров был каменист, берега обрывисты. Почти на самом верху, будто на плече исполина, стоял их двухэтажный дом. С галереи второго этажа открывался вид на дорогу, ниже располагались русские казармы. Рядом находился дворик Нана-баджи, ее дом, сложенный из побуревшего от времени бутового камня, напоминавшего тенерь лешки кизяка, а чуть в стороне — новый дом каменщика Аракела. В просвете между домами и деревьями виднелся кусочек двора жестянщика Бахши и его красавицы-жены Нахшун. Ей и шестнадцати не было, когда Бахши повадился приходить домой пьяным. Жили они без детей.

Сидя на галерее с книгой в руках, он подолгу вглядывался в дверь дома жестянщика. Нахшун выходила подмести двор или садилась под старую чинару и вышивала золотом. Он мог разглядеть ее кукольное лицо и в смущении отводил глаза, хотя она-то никак не могла его видеть.

Однажды под вечер он увидел возвращавшегося домой Бахши. В панике разбежались куры. Черный шумно вползал в дверь. Из дома донеслись громкие голоса, дверь распахнулась, и Нахшун, точно ласточка, выпорхнула во двор. Следом за ней выбежал Бахши. Они носились по двору, пока жестянщик наконец не поймал ее. Нахшун дернулась, затрепетала, словно вырванное из земли деревце, а из горла ее вырвался то ли смех, то ли вскрикивание — на расстоянии было не разобрать. Жестянщик ударил ее. Нахшун еще раз судорожно вскрикнула. Тогда он потянул ее к себе, разорвал одежду и принялся щипать. «Пустая дрянь, — причитал, едва переводя дух и вращая безумными глазами, — с кем путаешься? Почему не рожает? Семя воюет с семенем, — плел он бог весть что, — все убивают друг друга. Другая бы давно родила». Жестянщик выламывал ее тонкие руки, зверел. Ее личико удлинялось, искажалось гримасами боли, смеха и ужаса. «Давай, — хрипела она непонятное, — давай». Жестянщик повалил ее в пыль, закрыл своим грязным телом, заерзал, точно крот, роющий нору. Куры равнодушно бродили вокруг, выхватывая из земли корм. Стало совсем тихо. Недвижные, точно мертвые, тела лежали на земле.

Соседи говорили, что Нахшун сумасшедшая, что Бахши выбил из нее весь ум за то, что не рождает детей. Не верилось, что такая красивая может быть сумасшедшей. Пьяный Бахши несколько раз выгонял ее из дому. Она ходила по всей Шуше и тихо молилась, чтобы бог послал ей ребеночка. И вот они встретились.

Нахшун собирала цветы среди скал. Подойдя, она долго-долго рассматривала его, точно он был не мальчиком, а цветком. Не в силах пошевелиться, он тоже смотрел на нее, поскольку впервые видел так близко. Нахшун протянула руки с колючками (цветы имели колючие стебли) и отступила на шаг, едва не упав в пропасть. Испугавшись, он схватил ее за руку. «Давай,— горячо шептала она ему на ухо, прижимаясь и увлекая за собой.— Только сделай мне больно».

Это постыдное воспоминание еще сильнее отдаляло его от прошлого, будто это был вовсе не он, а его юный дед, прадед или кто-нибудь еще более давний. Существовала некая временная дыра, воронка, которую крутило на месте, и попадавшему в нее суждена была вечная жизнь. Мальчик стоял на берегу, а перед ним в воде медленно крутилась воронка. Река времени перетекала из памяти в память. Его воспоминания охватывали жизнь разных поколений, включали события всех времен.

Лежа на тюремной койке в глухом, замкнутом пространстве камеры, он вспоминал студенческие годы, круговорот дней, отдачных химическим опытам в пилипепковской лаборатории, и воркующий тенорок Виктора Никодимовича за поздним вечерним чаем среди колб, горелок, штативов и прожженных халатов. «Природа, господа, вершит свой неумолимый суд. Она дарует и отбирает жизнь в устапавливаемый ею срок. Но память людская, вера, любовь, знания дают человеку возможность диктовать жизни свои права, устапавливать свои сроки. В этом, господа, я вижу основной смысл науки и ваших, господа, усилий».

Что стало с ним? Как распорядилась им отчаянная петербургская жизнь?

Коснувшись столичной почвы, его мысль приняла новое направление. «Бедная девочка,— думал он о се-

стре.— Разрывается между учебой и партийной работой и сама на жизнь зарабатывает. Какие силы нужно иметь! И время откуда брать?»

Все это он испытал на себе: работал в лаборатории, вел кружки, писал для партийной прессы, готовился, сдавал экстерном. Времени всегда не хватало.

«Только в тюрьме его предостаточно,— думал с горькой усмешкой.— Только здесь вполне понимаешь, как много дней отпущено человеку. Сколько всего успевали великие, прожившие короткую жизнь. Сколько тратит бедный человек времени на пустопорожние разговоры, карты, волокитство, дразги, интриги, пичегопеделашье. А ведь в смене полезных занятий, в их совмещении таится, пожалуй, единственная возможность полной, гармонической жизни».

Он знал по собственному опыту, сколь многое успеваешь именно тогда, когда совсем не остается пустого, свободного времени. И как можно сжать его, выиграв при этом целые дни, месяцы, годы. Переход времени из бесформенной, аморфной субстанции в состояние, подобное кристаллическому, сопровождается освобождением огромных пространств для новых человеческих жизней.

Засыпал он с мыслью о том, что если сестре Фаро разрешат свидание, то они скоро увидятся.

Тем временем письма, отправленные по почте и с оказией в Женеву по адресу госпожи Величкиной, шли своим ходом. Я бы и внимания не обратил на эту фамилию, если бы в свежем номере литературного журнала не наткнулся на нее в связи с публикацией о Льве Толстом. Вместе со своим мужем Болч-Бруевичем Вера Михайловна Величкина квартировала в доме П. И. Бирюкова, высланного из России за выступление в поддержку гонимых правительством крестьян-духоборов, на окраине Женевы, в местечке Онекс. В 1891 году, во

время голода во многих российских губерниях, эта двадцатитрехлетняя девушка отправилась вместе с Толстым и его дочерьми в Рязанскую губернию для организации там общественных столовых. Потом училась в Швейцарии медицине, участвовала в революционной работе.

Сухая веточка, опущенная в воду, проросла сплывающимися друг с другом корнями. «Царь-голод» народовольца Алексея Николаевича Баха — его опыты по перекисному окислению — химические опыты Богдана в пилипенковской лаборатории — и собственные мои опыты. Александра Александровна Бах, жена Алексея Николаевича, в 1905 году получившая право медицинской практики и начавшая работать врачом в русской женевской школе Фидлера, — и один из будущих организаторов советского здравоохранения Вера Михайловна Величкина, погибшая во время эпидемии испанки в 1918 году. И письма Богдана из Таганской тюрьмы в Женеву, ей адресованные («для Елисаветы Васильевны»).

Таковыми вот пунктирными линиями очерчивался контур будущего повествования. Сквозную же линию связи продолжала упорно тянуть бабушка Фаро. Ее записи, охватывающие период с марта по декабрь 1904 года, занимают две общих тетради. Между прочим, бабушка пишет:

«Русско-японская война продолжалась. Власти делали все для того, чтобы она пользовалась популярностью у населения. Сбор денег на подарки воинам, патристические плакаты, речи, благотворительные вечера. Тем временем армия терпела поражение, ее грабили и предавали. В гимназии устроили вечер, пригласили офицеров, приехавших на побывку домой. Рюша Банович, Лиза Кафиева и я решили на него не ходить. Леля Бекзаян плохо себя чувствовала и тоже не пошла.

Приближались экзамены. В первом полугодии я заплатила за право учения из средств ученической кас-

сы, и потому брать во втором было уже неудобно. Тем более мне, заместителю председателя кассы. Классная наставница предупредила: могут не допустить к экзаменам. Советовала написать родителям, чтобы срочно выслали деньги.

— Разве они не понимают? Раз отправили дочь учиться, надо платить вовремя.

Ответить, что родители — старики и ничем не могут помочь? На это она скажет:

— Нет денег, пошли бы служить.

Егор Мамулов все спрашивал, почему я грустная, что меня беспокоит. Вечером долго гуляли по набережной, молча ходили вдоль моря, каждый со своими мыслями.

К русскому письменному мы с Лелей готовились у Марго. Леля так и заснула за учебником. Не добудившись, с трудом подняли ее, уложили на кровать. Она отмахивалась от нас, как от мух, бормотала во сне:

— Не ваше дело, отстаньте, не мешайте спать.

А утром сердилась, что мы не разбудили ее и она не успела повторить курс.

К экзаменам меня допустили. Никто слова не сказал. Но платить за учение нужно было все равно, и я ума не могла приложить, где взять деньги. Как-то вечером за чаем у Марго девочки размышляли о лете. Мне тоже захотелось в Шушу, домой, в наши горы. Бакинский весенний воздух был свеж, игрив, дверь на балкон распахнута. Мной овладело вдруг острое, забытое за зиму ощущение родных мест, вспомнились скрип досок на галерее, море заботливо посаженных мамой цветов, мягкие колени отца, уютное ворчание нянюшки Нанагюль. Я подумала, что вот было же такое счастливое лето, когда собрались все вместе — Людвиг, Богдан, Тарсай и Тигран, когда мы целой кавалькадой днем ездили на лошадях до Ханкенды, а вечера проводили на скалах, бе-

седуя обо всем, что волновало нас. Шушинские скалы напоминали в ночном свете мерцающих звезд вздыбленных лошадей у края бездонной пропасти. А наши переглядывания с Богданом за обеденным столом после того, как он дал прочитать мне первую запрещенную книжку — вернее, выписки из нее, сделанные его рукой! От этого чтения и от обсуждения прочитанного жизнь постепенно поворачивалась иной стороной, обретала вышший, доселе неведомый смысл.

Утром по дороге в гимназию, поднимаясь по Николаевской улице, я услышала за спиной шаги, которые не удалялись и не приближались. Человек шел следом. Я резко обернулась и увидела растерянно улыбающегося Наримана Тер-Газаряна — одного из армянских социал-демократических лидеров, так называемых спецфикиков.

— Что идешь так медленно? — спрашиваю.

— Замечтался, — отвечает. — Иду и думаю, что за красивая гимназистка. Не узнал сразу.

— И часто ты вот так за гимназистками ходишь?

— Не очень. Стоит мне обратить на гимназистку внимание, как ею непременно оказываешься ты. Помнишь, мы как-то с тобой на этом самом месте встретились?

— Помню, — отвечаю.

— И тоже веспой.

— Тогда у тебя дело ко мне было.

— И сейчас дело, — округлил глаза Нариман. — Очень тебя прошу заняться летом с сестрой моей Айкануш. Она влюблена в тебя с прошлого года, ни о ком другом слышать не хочет. Так что, пожалуйста...

— Видно будет.

— Приедешь в Шушу, отдохнешь немного, а там и к занятиям приступать можно. Вот тебе аванс. Это чтобы не раздумала.

Ну как тут не поверить в божественное провидение! Я была спасена.

Учитель математики Калантаров меня педолюбливал, считал легкомысленной. Я не успевала как следует готовиться к его урокам, иногда пропускала их, поскольку большую часть дня была занята партийной работой.

— В класс ходить не можем,— бывало, говорил он,— а гулять можем?

«Это потому, что он любит только блондинок,— убеждала меня Леля.— Будь он русским, любил бы тебя больше всех, потому что ты самая черпенькая в классе. А Иван Христофорович одни пятерки тебе ставит. Разве ты его предмет знаешь лучше?»

На письменном экзамене по математике Калантаров, проходя мимо, заглянул в мою законченную работу.

— Вот видите,— буркнул он, едва заметно улыбнувшись,— вы ведь способная. Неужели трудно было в году хорошо заниматься?»

Через несколько страниц, словно бы вповь выпав из бакинского гимназического времени, бабушка пишет:

«Из газет и наших листовок было видно, что дела на фронте становились все хуже. С каждым днем почти во всех слоях населения росла ненависть к самодержавию. Как-то вечером заходит ко мне Мехак Аракелян — рабочий нашей подпольной типографии.

— Фаро,— говорит прямо с порога, едва переводя дух.— Бросай сейчас все, иди к сыну Ериванцева. Пусть уговорит отца дать нам немного армянского шрифта. Не хватает для выпуска новой листовки.

— Есть же в типографии армянский шрифт.

— Старый набор нельзя рассыпать. В общем, иди. Пусть скажет отцу, что ему угрожают расправой, если не даст шрифт. Сегодня ночью мы втроем будем ждать у ворот типографии. Пусть знает: мы возьмем с собой оружие.



— У меня, Мехак, завтра экзамены по русскому языку и истории. Ночь надо сидеть. Может, завтра, сразу после экзаменов, а?

— Если думаешь, что это мой приказ,— ошибаешься. Твой брат Людвиг так распорядился. Он-то уж знает, что тебе делать и чего не делать.

— Вот еще,— возмутилась я.— Но раз надо, значит, надо. Выйди, я переоденусь.

Потом позвонила по телефону гимназисту Ериванцеву, сказала, что мы с Лелей собираемся вечером идти гулять на бульвар, не хочет ли он к нам присоединиться. Договорились о встрече. Леле, конечно, я ничего не сказала, а Ериванцеву объяснила, что Леля не смогла прийти, и вручила ему ультиматум Мехака, написанный малограмотно, но «внушительно» — с восклицательными знаками и многоточиями после каждого слова.

Работая в прошлом году вместе с банвором Мехаким в типографии, я учила его ставить знаки препинания. Он все спрашивал, как нужно соединять друг с другом слова, чтобы они звучали внушительно. Я посоветовала ставить восклицательные, вопросительные знаки и многоточия там, где он затрудняется как следует выразить свою мысль, и он стал настолько ими злоупотреблять, что все его нынешнее послание состояло из одних восклицаний. Подписывался он «Инженер Мехак» и очень гордился этим самовольно присвоенным званием.

Арменак Ериванцев сказал, что отец в последнее время ходит запуганный, боится скандалов.

— Вот видишь,— сказала я.— Так что лучше не поднимать шума.

В половине десятого, возвращаясь с бульвара, мы встретили Мехака с каким-то парнем. Видно, все это время они следили за нами. Мехаку не терпелось узнать о результатах переговоров с сыном владельца типографии. Я едва заметно кивнула ему, что все, мол, в порядке, и

мы разошлись, не показав вида, что знаем друг друга.

На прощание я попросила Арменака предупредить отца, что если он не согласится отдать шрифт добровольно, то шрифт все равно украдут, но только возьмут тогда гораздо больше».

Очередное «впадение» в гимназическую экзаменационную жизнь на сей раз было связано в бабушкиных записках с экзаменом по истории.

«Мне попался билет, по которому требовалось рассказать об эпохе Петра Великого. Девочки предупредили меня, что на экзамене присутствуют городской голова Новиков, архимандрит и кто-то из попечительства. Но я не различала лиц. Перед глазами лишь плыло зеленое сукно большого стола и много-много голов. Я так была сосредоточена на ответе, что не узнала даже своего покровителя, который два года назад помог мне устроиться в гимназию после ареста и увольнения из заведения св. Нины с «волчьим билетом».

Закончив ответ, я оглядела сидящих за столом. Господин в пенсне наклонился к начальнице гимназии Магдалине Михайловне и что-то шептал ей. Другой улыбался то ли лукаво, то ли насмешливо. Я стала вспоминать, не сказала ли чего лишнего.

— Как думаете,— спросил меня тот, что улыбался,— мог бы появиться в наше время такой же политический гений, как Петр Великий?

— Да, но им бы руководили совсем другие мотивы и идеалы.

— Какие же? — ехидно поинтересовался господин в пенсне.

Я отвечала как можно уклончивее.

Вся красная, выхожу из экзаменационной комнаты, а навстречу мне из другой, боковой двери выходит тучный, высокий господин — Александр Иванович Новиков.

— Подождите, ученица Кнулянд. Вы очень хорошо

отвечали. Вам непременно нужно учиться дальше. Когда Магдалина Михайловна принимала вас в эту гимназию, она сказала, что вы сможете учиться здесь только до восьмого класса. Не все от нее зависит... Я хотел бы помочь вам. В августе собираюсь быть в Петербурге. Живу я там на Мойке — вот адрес. Пусть ваши братья помогут вам попасть в Петербург, а там уж я устрою вам и стипендию, и все остальное. Договорились? Если не будет средств, отправите мне в первых числах августа письмо или телеграмму — я пришлю денег на дорогу и скажу, где остановиться».

«Стук в дверь. Входит Кирилл Грошев.

— Ты что лежишь, Фаро? Нездорова? Тебя все ищут — Леля, Марго, Егор, Трдат. Я прискакал сюда, решив, что раз ты не была на экзамене, значит, заболела или что-то стряслось.

— Я просто рано пошла.

— Ну и как?

— Все в порядке.

— Я так волновался за тебя, что совсем потерял голову.

— Напрасно.

— Все шутишь. А я так страдаю.

— Не пужно, Кирилл. Ты пока выйди в переднюю, я умоюсь, оденусь. Вечером у меня занятия в Балаханской школе. Через час выезжать.

И вот мы пьем с Кириллом чай, молчим. Он мрачен, угрюм. А я уже в мечтах своих брожу по петербургским улицам, ищу Мойку. Хочется побыть одной, собраться с мыслями.

На вокзале меня поджидал Егор Мамулов.

— Таким стала занятым человеком, что днем с огнем не сыщешь. Прямо измучился, сколько дней не вижу

тебя. Экзамены идут, а я совсем не могу заниматься. Вот узнал, что едешь в Балаханы, пришел проводить.

Что это они все — сговорились, что ли?

— Как не стыдно! Взрослый, идейный человек, считаешь себя революционером. «Не могу учиться...» Я же не в силах остановить весну, сказать солнцу: «Перестань светить», цветам: «Перестаньте цвести», потому что Егору трудно весной заниматься.

— Ты все можешь.

И вдруг:

— Я тебя очень прошу: давай уедем в Ригу. Там я поступлю в университет, а тебе помогу подготовиться сдать экстерном. Летом буду давать уроки. Жизнь в Риге дешевая, как-нибудь просуществуем.

— Не выдумывай, пожалуйста.

— У тебя вместо сердца камень.

Я вспомнила слова отца, сказанные им шушинскому священнику, который пришел меня сватать. «Рано ей выходить замуж. Она учиться должна». Милый, хороший мой папочка, — думала, — верь, я так быстро не сдамся.

Как-то шла по улице и встретила ретушера Левона, который запер меня в складе Сагатовых в пасхальную ночь. Он покраснел, смутился.

Мне хотелось узнать, что стало с кружком, организатором которого был Левон, почему он больше не дает мне поручений. Оказывается, в ту ночь охранять склад поставили вооруженную охрану из лезгин, не полагаясь на сторожей-христиан. Эти бы наверняка напились в пасхальную ночь, а в складе кроме дров хранились дорогие станки, инструменты. Левон зашел за товарищами. Они отказались идти на собрание и напоили его.

— Так бы и сказал.

— Я объяснил районному организатору, что у тебя экзамены и лучше подыскать для них кого-нибудь еще. Лучше мужчину. Может, больше толку будет. Знаешь

они какие, эти приказчики? Интересуются, откуда ты, кто такая. Не верят, что армянка может заниматься революционной работой, а один такую ерунду сказал, что повторять не хочется.

— Ничего, повтори.

— С тобой, мол, не о политике, а совсем о другом говорить надо.

— Так и сказал?

— Одно слово: приказчики. Ради бога, прости меня, Фаро. До сих пор со стыда сгораю.

Вскоре арестовали Анну Лазаревну Ратнер, Феону Павловну, Володю Швейцера. Член нашего ученического комитета Трдат Трдатян пришел ко мне плакаться: сколько лет они с Машей Паронян любят друг друга, и вот теперь, когда ее братья узнали об этом, запретили встречаться, угрожали отправить ее на север, к тетке.

— Что делать, Фаро?

Какое-то проклятье. Помешались все. Там Рюша с Яшей умирают от любви. Здесь — Трдат. Володя влюблен в Рюшу. Аршак — в Лелю. А тут еще Егор, Кирилл.

— Посоветуй Маше, — предложила я, — отпроситься уехать на учебу в какой-нибудь университетский город. В Москву, Петербург, Ригу. И сам поезжай туда же.

Когда мы узнали, что Володю и Анну Лазаревну высылают на север, то Рюша, Яша и я пошли проводить их на вокзал. Купили цветы, специально для Володи — книгу о печати в России. Долго ходили вдоль путей, пока нашли их стоящими за решеткой в каком-то старом, грязном вагоне. Мы протянули руки друг другу, но тут же подошла стража и стала теснить провожающих. Маленькая, краснощекая Анна Лазаревна робко помахала рукой. Рядом с ней стоял наш худенький шестнадцатилетний гимназист. Раздался гудок, поезд тронулся».

«Прощальный гимназический вечер. Егор, мрачнее тучи, провел его на кухне. Трдат сидел на полу, обняв руками колени. Рюша плакала, вспоминая о Володе. Произносились грустные тосты о том, что копчилась молодость, лучшие, беззаботные дни жизни. А я думала иначе. В июле мне исполнилось девятнадцать лет. Копчались самые тяжелые годы, когда человек слаб, беззащитен, беспомощен, не приспособлен к самостоятельной жизни. Все лучшее, радостное было впереди.

В тот вечер я особенно остро почувствовала, что во мне живут два человека: один — молодой, беспечный, веселый, окрыленный радостными впечатлениями дня, другой — обремененный заботами о заработке, о стариках родителях, о братьях, которым постоянно что-то угрожает, о друзьях.

Людвига опять выслали из Киева, где он учился в Политехническом. Вместе с ним в Баку приехал Тигран, собиравшийся по окончании воинской службы поступить в художественное училище. В день их приезда пришла телеграмма от Тарсая из Тифлиса: «Нина умерла, похороны завтра. Собираюсь везти детей Шушу. Дают командировку три месяца». Так вот не стало бедной, глупенькой Ниночки, Тарсаевой жены, всю жизнь промечтавшей о красивых костюмах, шляпах, о поездках на курорты, о повышении мужа по службе.

Летом мы снова договорились все встретиться в Шуше. Только от Богдана не было в ту пору никаких известий.

Поездом добрались до Евлаха, а оттуда, как обычно, сто верст на лошадях до Шуши. Приехали в 11 часов вечера в полной темноте. Людвиг ворчал, ругал городские порядки.

— До сих пор не могут расширить дорогу, чтобы до дома на лошадях доехать. Двадцатый век! Полтора километра пешком должны топтать в крошечной тьме. Вы-

весили фонари у городской управы да у дома городского головы. Им светло — и ладно.

— Фонарей, ага, мало на улицах, — сказал мужской голос рядом. — Но вы не беспокойтесь, мы знаем тут каждый камушек, вещи доставим в полной сохранности.

Когда глаза немного привыкли, стали различимы смутные фигуры амбалов.

— Сколько трудов, — шепнул мне Людвиг, — чтобы за пятак влезть с тяжелым чемоданом на нашу кручу. Смотри, Тигран, все тот же старик амбал. Работает, пока не свалится.

— Каждый раз, когда вижу таких стариков, сердце кровью обливается. Что, если бы наш пана выпущен был таскать тяжести?

— Да, как-то мрачно все тут, мрачно.

Спины амбалов согнулись под тяжестью пошн. Упылый лай собак отзывался далеким эхом. Призрачные силуэты гор то подступали к самой тропинке, готовые, как в тисках, раздавить путников, то убегали вдаль. Воздух был сырым и холодным.

— Вечером, ага, был дождь и туман. Поэтому так темно. В неудачный день приехали. Вчера еще было тепло.

Окна дома светились. На балконе толпился народ. Амбал уже успел сообщить о нашем приезде. У ворот поджидали Тарсай, соседи. Пана с мамой, оба в нижнем белье, не успели одеться, встретили нас наверху, в галерее.

— Пошли в дом, простудитесь.

— Какие вы стали большие, взрослые. Фаро как выросла, похорошела. А ты, Тигран, все носишь военную форму?

— Это для пущей важности, пана. В пути форма помогает. Быстрее запрягают лошадей.

Проснулись дети Тарсая — семилетний Миша и пя-

тилетняя Меля. Девочка испугалась шума, заплакала. Миша принялся ее успокаивать.

Как хорошо дома! Почти никаких перемен. Все тот же папин письменный стол, заваленный книгами, к которому в детстве мы боялись подойти близко. Портреты папы и Тарсая в рамах на стене. Та же тахта с вышитыми мною мутками. В темные зимние вечера, сидя за круглым столом, накрытым шерстяной скатертью, папа рассказывает маме содержание прочитанных книг. Большие швейцарские часы над тахтой, покрытой пестрым ковром. Все на своих прежних местах, ничто не изменилось, только новые морщины прибавились у родителей.

До чего они нам обрадовались! Поставили на стол кипящий самовар, банки с вареньем, мацони в глиняном кувшине, традиционный шушинский сыр, домашний хлеб.

— Нам помогает теперь расторопная молодуха, — говорит отец. — Приехала из деревни в гости к свекрови, а та возьми да помри. Муж, видно, на фронте погиб — никаких вестей от него. Вот мы и взяли ее себе в дочки.

Тарсай одел детей и, несмотря на мамины протесты, усадил за стол. Мама с грустью поглядывала в их сторону и тяжело вздыхала. Отец радовался, что я окончила семь классов.

— Только замуж я тебя все равно не отдам. Дальше учиться будешь.

— Как будто она тебя послушает, если замуж захочет выйти, — глядя из-под пенсне, заметил Тарсай.

Разговор, как всегда, перекинулся на политику. Мама, чувствуя опасность этой темы, торопила всех отправиться спать. Пока собирались, я рассказала Тарсаю о встрече с Новиковым, о его предложении устроить меня в петербургскую гимназию.

— Только старикам пока не говори, — попросил он. — Они надеются, что ты хотя бы год теперь поживешь с

ними, будешь учительствовать в Шуше. Без нас они так одиноки.

— Что слышно о Богдане?

Тарсай пожал плечами.

— Последний раз я видела его полгода назад в Баку.

— Говорили, он приезжал в Тифлис, но почему-то ко мне не зашел.

— Ты ведь знаешь, какая у него жизнь. Наверно, не смог.

Я долго стояла на балконе, вглядываясь в темноту. В небе зажглись звезды, засеребрилась долина Аракса. Замерцали сквозь туман огни домов, лежащих внизу. Туман рассеивался, огней становилось все больше, точно кто-то ходил по огромному темному залу и зажигал свечи. Верх и низ наполнялись светящимися точками, которые то смешивались, то стремительно разбегались, отчего город пульсировал мелкими вспышками, проясняя на едва уловимое мгновение далекие силуэты гор и тени склонившихся над балконом деревьев. Я пребывала в странном, почти молитвенном состоянии, как в раннем детстве, и вернулась в комнату совсем продрогшая.

Дом спал. Я разделась, легла, но долго не могла уснуть, слыша над головой жесткое, неумолимое постукивание швейцарских часов.

За завтраком мама почти не ела — все глядела на нас. Вспомнив о Богдане, всплакнула. Папа тоже спит. По случаю нашего приезда он надел новый сюртук, крахмальную сорочку и черный галстук. Все как-то разом замолкли, уткнулись в свои тарелки. Никто не знал, где находится брат: в Баку, в Петербурге, за границей, в тюрьме?

Утром Шуша предстала перед нами бело-розовым озером, застывшим в пышнозеленых крутых берегах. Вдоль всего балкона стояли горшки с цветами. Чистый,

прохладный воздух был напоен ароматами запаздывающей весны.

— Как это хватает у тебя терпения, мама, ухаживать за таким количеством цветов? — спросил Тиграп.

— Пожили бы вы в таком одиночестве, как мы с отцом. За кем еще ухаживать? Никто из вас не хочет жить с нами.

После завтрака мы пошли на бульвар, на котором, как всегда, шли политические споры. Навстречу нам попался Темур.

— Ну как, — спросила я его, — все по-прежнему воюете с марксистами? Говорят, ваш лидер приехал, Левон Атабекян.

Нас окружила шумная компания.

— С каких это пор, — вступил в разговор окончивший в Петербурге биологический факультет Газар, — ваш Богдан стал увлекаться биологией? Несколько раз брал у меня книги, интересовался вопросами старения. Он ведь на химика учится.

Людвиг отвел меня в сторону. Его длинные волосы были стремительно зачесаны назад, толстая трость заложена за спину.

— Хочу сообщить тебе неприятную новость. Лучше узнай ее от меня, чем от кого-нибудь еще. Богдан арестован.

— Арестован?!

— Родители не должны знать. Его арестовали еще в феврале по делу Московского комитета. Каким-то образом ему удастся присылать из Таганской тюрьмы домой письма, на которых нет жандармских штампов. Поэтому старики ни о чем не догадываются.

— По-моему, мама догадывается.

— Вряд ли.

В один из воскресных дней ученицы старших классов, студентки, женщины, общественницы были пригла-

шены в дом Аветовых, рядом с бульваром. На большой веранде поместилось человек двести. Ожидался доклад Левона Атабекяна «О современных идейных течениях среди армян».

После получасового томительного ожидания он наконец явился — красивый, приветливый, простой в обращении, порывистый. Были приготовлены небольшие подмости, покрытые ковром, столик, графин с водой, изящное кресло. Балкон утопал в зелени.

Герой для Левон Атабекян, обучавшийся, кажется, медицине и философии в Германии, недавно приехал в Шушу. Все местные девушки были в восторге от его начитанности, от блестящих глаз, пышной шевелюры, заграничного костюма. Его считали самым выдающимся революционером нашего города. Когда он начал рассказывать о различных течениях в общественной жизни Закавказья, его слушали, затаив дыхание.

Левон призывал бороться за общеармянские интересы, против турецкого ига и российского самодержавия. Все это показалось вчерашним днем. Многие из нас, бакинских учащихся, переболели этими идеями несколько лет назад.

Однако лица слушателей выражали трепетное благоговение. Докладчику аплодировали нескончаемо долго, стоя. Когда смолкли аплодисменты, я попросила слова. Здесь было настолько непривычно видеть женщину-армянку, связывающейся в теоретические споры, что на меня смотрели с нескрываемым удивлением.

Говорила я минут тридцать. Отдав должное краспоречию и эрудиции докладчика, я попыталась опровергнуть ложные положения, используя главным образом аргументы Богдана в его знаменитых спорах с лидером дашнаков Христофором Микаеляном.

«Для чего понадобилось товарищу Атабекяну, — задала я вопрос, — собирать чисто женское общество? Не-

ужели он считает армянок настолько отсталыми, что не найдется ни одной, которая сможет отразить его удары по социал-демократам?»

Мне тоже хлопали. Подруги целовали меня, хвалили за смелость.

Я же чувствовала себя прескверно. Понимала, что сказала далеко не все и не так, как нужно. Если бы знать, можно было заранее подготовиться. Разве сравнить мое выступление с теми, какие слышала я на дискуссиях в Баку и на Тифлисской конференции закавказского ученичества?

Собиралась уже уйти, когда Левон подошел ко мне:

— В вашем выступлении было столько страсти, уверенности в своей правоте. Этого-то как раз и не хватает нашей молодежи.

Потом мы часто встречались, гуляли по бульвару, спорили. В конце концов стали друзьями. Он прекрасно читал наизусть стихи Исаакяна и собственные стихи. После Левона с другими было скучно и неинтересно.

В течение двух недель в Шуше только и говорили о собрании. Я стала в некотором роде знаменитостью. Папе это было приятно.

Кончилось тем, что меня попросили организовать политический кружок. В нем пожелали заниматься Осапа, Аннушка Шхиян, Евгения Шахбазян, Ашхен Патвакапова, у которой с Тиграном вновь разыгрался роман, и другие — всего человек двадцать.

— Может, все-таки отложишь поездку в Петербург? — спрашивал Тарсай. — Поживи годик в Шуше. Отдохнешь, перестанешь гонять по урокам. Старики будут счастливы. Давай, а?

Какую-то минуту колебалась. Потом попросила Тарсая никогда больше не говорить об этом.

— Ладно, милая. Вполне понимаю тебя. До сих пор не могу смириться с тем, что не получил высшего

образования и теперь вынужден прозябать в мушкетере чиновника акцизного управления. Все казалось: успею.

А тут еще мама:

— Ты, конечно, снова уедешь. Сколько бессонных ночей провела я в молитвах, чтобы скорее окончила ты гимназию, вышла замуж и приехала в Шушу жить с нами. Говорят, у нас скоро будет своя женская гимназия. Да и в Мариинской школе неплохо учительствовать. Как хорошо живут наши учительницы, как одеты, как воспитывают своих детей.

— Мама, милая, никогда замуж не выйду. Ну куда мне еще заботы о семье?

— Может, муж твой будет богатый, сильный.

— За богатого тем более никогда».

«Во время частых дискуссий в Шуше с дашнаками я спрашивала себя, к чему в конце концов они приведут нас, вооружая своих зинворов. А если завтра пачнут вооружаться турецкие беки?»

«В день девятнадцатилетия мама подарила мне золотые часы, которые носят теперь на шее, как медальон. Часы несказанно идут к бежевой форме и черной волосистой шляпе с красными маками, которую мы купили еще в Баку вместе с Тиграном и Людвигом.

Пришла поздравительная телеграмма от Богдана. Как смог он отправить ее из тюрьмы?»

Однажды я задал бабушке вопрос, занимавший меня в связи с ее записями, относящимися к лету 1904 года.

— Из Шуши,— спросил я,— ты поехала прямо в Петербург?

— Сначала в Баку.

— А братья?

— Людвиг уехал в Баку раньше всех. Из Киева он был выслан в Шушу и жить в Баку не имел права. Поэтому жил нелегально. Через Новикова ему удалось устроить Тиграна чертежником в архитектурный отдел городской думы. Он прислал телеграмму, чтобы Тигран срочно выезжал. «Как же ты уедешь,— засуетился отец.— У тебя разве есть на что?» — и по привычке полез в карманы халата, куда я насыпала мелочь для почтальона и амбалов, приносивших письма, записки, приглашения. Мы с Тарсаем дали Тиграну деньги на первое время, и он уехал в Баку. В августе я окончательно решила продолжить учебу в Петербурге. Вместе со мной ехали поступать в восьмой класс Айко и Варя Каспарова.

— Ты пишешь, что оставила Шушу в конце августа, а в письме Богдана Лизе в Женеву от 24 августа говорится о том, что на днях он ждет свидания с тобой в тюрьме.

— Поскольку представилась возможность ехать в Москву с транспортом нелегальной литературы, я отправилась туда и задержалась на несколько дней.

— Богдан знал о твоём приезде?

— Ему мог сообщить через товарищей Людвиг, который, приехав в Баку, включился в партийную работу. Там в это время братьями Шендриковыми была создана меньшевистская «Балаханская и Биби-Эйбатская рабочая организация». Положение оказалось достаточно

серьезным. ЦК стал меньшевистским. Бакинский комитет выразил недоверие ЦК и прекратил с ним отношения, выступив за созыв III съезда партии. Летом 1904 года Баку был одним из немногочисленных надежных оплотов большевизма. Но ему противостояли шендрикковцы. БК держался на «твердокаменных». Наш Людвиг принадлежал к таким. О нем меньше написано, чем о Богдане, видно, из-за того, что он почти не оставлял следов, редко попадал в руки охрпки. Был врожденным конспиратором. Они много работали вместе, Богдан и Людвиг. Недаром их называли «двойняшками», «двойничками».

«В августе 1904 года,— прочитал я в одном из черновиков Ивана Васильевича,— Людвиг Минаевич как член Бакинского комитета встретился со старшим из Шендрикковых, Львом. Автор хотя и смутно, но помнит эту троицу «протестантов» — Льва, Илью (Касьяна) и жену младшего из братьев Клавдию Малинину (она же Екатерина Ивановна). Да и кто из старых бакинцев, не чуждых в те годы общественной жизни, не помнит их?»

Встретились на Сураханских промыслах. Перевалившее за полдень солнце плавилось в пепельно-желтом, почти бесцветном небе. Растрескавшаяся земля была кое-где залита жирными фиолетовыми пятнами мазута. Две одинокие человеческие фигуры брели по пустынной дороге вдоль раскаленных дневным жаром вышек. Клацали шатуны, воняло нефтью, мокрые от масла штанги вгоняло в тело насоса, выталкивало, снова вгоняло — и так без конца. Вышки, прильнувшие к измученной дряблой земле, работали день и ночь. Вокруг не было ни души. По обеим сторонам перовой, кочковатой дороги, словно заржавленная проволока, мелко клубилось то, что несколько месяцев назад имело вид свежей травы и цветов. Вокруг промысла на обозримое пространство

тянулась выжженная стена. Кажется, иди по ней всю жизнь — и ни до чего не дойдешь.

— Нам нужно, Сима, договориться. — Щуплая фигура Шендрикова маячила где-то сбоку и чуть впереди. Она напоминала тонкую восковую свечу, которая вот-вот растает, растечется пятном по земле. — Что мешает нам понять друг друга? Убедите меня. Вы можете меня убедить?

Коренастый Сима шел следом, время от времени исподлобья взглядывая на собеседника.

— Мы ведь не первый день знакомы. Ах, Сима, послушайте... Когда в прошлом году я приехал из Ташкента, вы убеждали меня в правильности вашей тактики. Я спорил, но ваши аргументы оказались сильнее. Я понял все и согласился. Помните?

Людвиг ничего не ответил. Удушливый от нефтяных испарений воздух чуть пошевелился, стронутый каким-то далеким ветром, и вновь застыл.

— Попробуйте и вы понять. Одно дело тогда: июль, всебакинская забастовка, стачечный комитет, председателем которого вы были...

— Что изменилось?

— Очень многое, Сима. Российское социал-демократическое движение пачиналось как всенародное, широкое демократическое. В конце концов революцию делает народ и делается она для народа. Рабочие хотят обрести права, улучшить материальные условия жизни. Это понимаем и мы, и вы, но... Вы еще спрашиваете, что изменилось. Сначала свара на Втором съезде, узурпаторские методы так называемого большинства. В результате — раскол, шатания, внутрипартийная борьба.

— Вы ее и затеяли.

— Мы? Ваш Бакинский комитет совершенно оторван от рабочего движения. Во главе стоит кучка лиц, преимущественно из интеллигенции. Вне какого бы то ни

было контроля со стороны рабочих она руководит местными делами партии. Все же остальные играют подсобные роли безгласных подчиненных. Неужели к этому мы стремились? Бюрократическая организация. Чиновные отношения между товарищами. Приказы сверху, беспрекословное подчинение снизу. Полное игнорирование местных нужд экономического характера.

От жары звенело в ушах, точно весь Аншерон был населен кузнечиками.

— Слушайте,— вскипая, перебил его Сима,— вы что предлагаете? Разрушить партию, которую с таким трудом сумели создать, уйти в экономизм, примиренчество. Так?

— Я такой же социал-демократ, как вы. Только вы, Сима, почему-то можете думать лишь о том, как бы захватить власть. Будто других проблем не существует. Но ведь важно еще по крайней мере знать, какой она будет, эта будущая власть. На каком принципе будет построена. Все, что мы создаем с вами теперь, явится прообразом будущего устройства.

— Будущее без революции? — усмехнулся Людвиг.

— Хорошо, революция. А потом? Что потом, я вас спрашиваю? Каким оно, по-вашему, должно стать, будущее государство? Мы должны стремиться не к кружку заговорщиков, а к широкой организации, которая связала бы всех рабочих, помогла бы им отстаивать их интересы. К чему приведет диктаторство комитетчиков, сектантских кружков, занимающихся исключительно конспирацией и дисциплиной?

— Чем, собственно, вы хотите меня запугать? — ало произнес Людвиг, мельком взглянув на Шендрикова.

— Будущим, Сима. Я пугаю вас будущим. Жизнь народа не может быть втиснута в узкие рамки задач организации, созданной на основе самодержавно-формалистического централизма. Жизнь не пойдет по указке

комитетов. Надо уметь понимать ее запросы, идти ей навстречу.

— Эх! — только и выдохнул Людвиг, остановившись.

Насосы с равнодушным прилежанием качали нефть.

— По-вашему, получается, что ни конспирация, ни дисциплина не нужны, — двинулись они дальше. — Не пужна революция. Не нужно все то, без чего нас просто растопчут. Или приручат.

— Но, Сима, — всплеснул руками Шендриков, — вы превратили свои убеждения в профессию, а это по меньшей мере странно. Только вдумайтесь: профессиональный революционер, профессиональный социал-демократ. Смешно.

Людвига бесил этот разговор, но он старался не показывать вида. Он всегда предпочитал скрывать свои настроения, тем более в подобной ситуации. Надлежало взвешивать каждое слово, всякий жест. Можно ли быть уверенным, что завтра не появится листовка с очередными обвинениями Бакинского комитета в грубости, нетерпимости и прочих смертных грехах?

С Шендриковым все было ясно. Сима не питал иллюзий относительно этой встречи, но встретиться было нужно хотя бы для того, чтобы подвести черту. Завтра они соберут заседание комитета, вызовут всех троих и исключат их из партии. «К чертовой матери, — подумал Людвиг. — Гпать их в шею».

Теперь чуть отставал Шендриков. Людвиг, набычавшись, шагал впереди, точно вел на невидимой веревке упирающуюся, спотыкающуюся о невидимые неровности дороги жертвенную овечку.

— Сима, вы честный человек. Я знаю. Скажите откровенно, мы ведь вдвоем, прошу вас. Неужели мои доводы совсем не убеждают? Неужели как человек порядочный вы не понимаете всей безнравственности того направления, которому следуете?

Людвиг резко обернулся.

— Все равно проиграете, — сказал он мрачно.

— А вы, Сима, вы потопите Россию в крови. Помните мое слово. Настанет день, когда не будет у вас иного пути. Как не было его у французов. И сами погибнете. С мечом придете, от меча и погибнете. Россию может спасти культура, свободомыслие, а не меч.

«Гнать, — думал Людвиг. — Гнать к чертовой матери».

Характер этой встречи на Сураханских промыслах в общих чертах описал безымянный автор чудом сохранившейся у бабушки книги без начала и конца, изданной, видимо, в дореволюционном Баку.

Интересная деталь: Людвигу Кнунянца автор упорно называет не иначе как Лео, как бы сводя имена спорщиков к одному (Лев — Лео) и подчеркивая тем самым, что между представителями различных направлений социал-демократии не имелось существенных различий. В своих дальнейших рассуждениях автор проводит мысль о том, что сам этот спор как бы отражал две стороны одной медали, противоборство двух неразрывно связанных друг с другом начал — идеального и практического. Чтобы показать общий характер этого противоречия, сопровождающего всякое революционное движение, автор касается истории французской революции и превозносит английский консерватизм как идеал государственного устройства. «Идеально настроенные умы, — писал безымянный автор, — не способны к радикальным действиям, ибо на первых же порах сталкиваются с необходимостью интриговать, обманывать, проливать кровь — то есть с необходимостью предпринимать практические шаги для незаконного захвата власти. Они либо пасуют перед такими трудностями, либо погибают, не в силах проявить должную в таких случаях твердость и решимость. Что касается другой, реалистически настроенной части

возмутителей общественного порядка, то ей, увы, не хватает душевного благородства для того, чтобы получить право выступить в роли врачевателя больного общества».

Поскольку смысл приведенных рассуждений, исполненных благодушного либерализма, сводился к отрицанию революционного преобразования общества, можно предположить, что книга была написана и издана в годы реакции, то есть через несколько лет после встречи Людвиг (Симы) и Льва Шендрикова на Сураханских промыслах.

Закончив чтение, я вернул бабушке книгу:

— Может, Лео — это не Людвиг?

— Кто же еще? — ответила бабушка. — Лео Кнувлиц, член Бакинского комитета. Это он.

— Итак, ты отправилась в Москву в конце лета.

— Да, во второй половине августа...

«...В поезде ехало много студентов, курсисток. Несколько шушинцев-попутчиков вылезло в Харькове. Я осталась одна. Коридор гудел молодыми голосами. Шум, гам, разноголосица. Говорили об убийстве Плеве, о князе Святополке-Мирском, о либеральной волне, о событиях в Петербурге.

— Вы впервые в Москву? — обратился ко мне один из наиболее разговорчивых, бойких студентов. — Должно быть, слушаете наши споры и думаете: о чем шумят эти чудаки?

— На Кавказе такие споры не редкость.

— Где именно на Кавказе? — спросил он, словно бы обидевшись.

— Хотя бы в Шуше.

— Где это? В Елизаветпольской губернии? Шуша, Нуха — ха-ха! Слышите, друзья, оказывается, не только наш вагон, но и некий город Шуша является центром российского свободомыслия. Там столько говорят о поли-

тике, что у нашей очаровательной попутчицы оскомины от подобных разговоров.

— Во всяком случае,— отпарировала я,— там умеют не говорить лишнего и, когда нужно, держать язык за зубами.

— Да что вы! Сейчас вся Россия говорит вслух. Никто ничего не боится. Свобода слова, собраний. Вы разве не знаете? Все ждут чего-то. И, даст бог, дождутся».

«Я очень волновалась,— рассказывала бабушка,— при одной мысли, что еду так далеко на север». Видимо, ее волнение оказалось настолько сильным, что передалось по наследству и мне, ибо когда я впервые отправился «так далеко на юг», то тоже очень волновался. Это было дорожное волнение особого рода. Оно заключало в себе ожидание встречи с Кавказом — частью духовной родины. Я мечтал о ней, питался ее соками, не осознавая того. И вот теперь, громяхая на стыках, один поезд по-прежнему вез меня на юг, а другой поезд вез на север мою девятнадцатилетнюю бабушку. Крошечный сдвиг во времени — каких-нибудь пятьдесят — семьдесят лет,— и мы уже мчимся друг другу навстречу. И где-нибудь в районе Харькова, в узловом участке пространства и времени, непременно встретимся. Замелькаст, замельтешит перед глазами, заревет истошно и ахнет в пустоту.

Всегда есть что-то волнующее во встречном движении поездов. Что-то извечно сладостное, щемящее, пугающее, неизбывное. Кто знает, когда, где, с кем из близких или далеких родственников подстерегают нас подобные встречи?

У бабушки был московский адрес Исаханянов, так что по приезде в Москву она сразу отправилась на Большую Дмитровку. С Осанпой Исаханян они вместе

учились в шушинской армянской мариямян-школе. Ее старшая сестра Анна кончала в Москве зубо врачебные курсы, а брат Тигран, близкий товарищ Богдана, получив образование за границей, был теперь московским практикующим врачом.

Исаханяны обрадовались ее приезду. Тигран метался по квартире, не знал, где усадить Фаро, чем ее угостить. А гостья волновалась в ожидании предстоящей встречи с братом. Они не виделись почти год, с того самого дня, когда Богдан делал доклад в темном, сыром сарае в Балаханах.

«Не знаю, как бы пережила я часы ожидания,— пишет в своих воспоминаниях бабушка,— если бы Исаханяны не взяли меня вечером с собой в театр».

Как и о некоторых других наиболее симпатичных ей людях, о Тигране Исаханяне бабушка пишет: «До чего он похож на Богдана!» Нахождение сходства разных людей с любимым братом можно объяснить, пожалуй, наличием некоего внутреннего эталона, выбранного в качестве абсолютной человеческой меры, к помощи которой она прибегала в минуты радостных встреч.

Далее бабушка описывает, как, войдя в похожий на огромный храм зал, она догадалась, что находится в Московском Художественном театре. Знаменитая чайка на занавесе, «а Чехова уже нет», с грустью отмечает бабушка.

— На следующий день,— рассказывала она,— получила я в жандармском управлении пропуск и поехала в Таганку. На остановке конки слезли мы вместе с маленькой сгорбленной старушкой и через пустырь паправились к тюрьме.

«Эх, милая,— вздохнула старушка, перехватив узелок,— рано горе узнала. Ничего, крепись. Я десять лет терплю. То один сын в тюрьме, то другой. И оба, говорят, за правду страдают,— зашептала она в самое ухо.—

Кто прав, кто не прав — бог рассудит. Нести все одно надо. Хорошо еще, дочь кормит. А то бы куда? Дочери, конечно, тоже не сладко: на заводе работает, детей мал-мала пять человек. За всеми хожу, милая. Жизнь прожить — не поле перейти».

— Мы долго стояли у ворот тюрьмы. Не пускали. Прошло часа три. Наконец начали выкликать фамилии. Привели меня в просторную комнату, где уже находилось много арестованных. К каждому кто-нибудь приходил. Я-то думала, нас подведут к решетке, но никакой решетки не было. Комната как комната — вроде как на свидание в больницу пришла. Я очень волновалась. Сидела, ждала, и сердце в груди екало. Появился Богдан в обычном черном своем пиджаке, в синей сатиновой косоворотке...

— Ты пишешь,— перебил я бабушку,— что Богдан не ждал тебя, удивился, обрадовался, думал, кто-то из Красного Креста пришел, тогда как в письме Лизе в Женеву...

— Могла и напутать. Я ведь все это позже записывала. Помнится, он был очень удивлен и обрадован. Показал на Баумана, к которому тоже пришла на свидание какая-то девушка. Бауман очень видный был: высокий, стройный, с огромным лбом, умными красивыми глазами.

«Николай,— окликнул его Богдан,— очень уж ты поправился моей сестричке».

«Мы так и подумали, что сестра. Похожа». — Молодая, строгого вида женщина, сидящая поодаль, долго и пристально смотрела на меня, будто запоминая.

«Елена Дмитриевна Стасова,— шепнул Богдан. — Наш Абсолют. Память феноменальная. Неисчерпаемый кладезь конспиративных явок и адресов».

«Я еду теперь в Петербург,— сказала я. — Людвиг дал два адреса: один — Стасовых, другой — барона фон

Эссена. Он, видно, не знал, что Елена Дмитриевна здесь, с тобой».

«Как старики? Надеюсь, не догадываются, где я».

«Я и сама не догадывалась до недавнего времени».

«Да,— покачал головой Богдан, погрузившись,— мало им от нас радостей. А почему именно в Петербург?»

«Хочу продолжить учебу».

«Умница».

«Александр Иванович Новиков обещал помочь устроиться в частную гимназию».

«Он поможет».

— Я рассказала о встрече с Исаханянами, о Художественном театре, о жизни в Шуше.

«Вам-то здесь как?».

«Теперь относительно свободно. Если бы приехала несколько месяцев назад, нас бы разделяла решетка. Все так быстро меняется. Вот только с судом тянут. Мы все его ждем, как манны небесной».

— Полчаса пролетели незаметно,— продолжала бабушка.— Пора было уходить. Я едва сдерживалась, чтобы не заплакать. Как-то вдруг накатило, расслабило, развилило разом и, несмотря на все мои усилия казаться веселой, по щекам потекли слезы, и я ничего не могла поделать с собой.

Богдан обнял меня, прижал к груди. Подошли Стасова, Ленгник, Бауман. Пожимали руки, успокаивая. Я ощутила жесткое прикосновение к ладони плотно сложенного листа бумаги. Догадалась: письмо на волю. Сжала кулак. В другую руку мне сунули сразу несколько записок.

Тюрьма жила своей жизнью, и слезы посетителей были здесь не в диковинку. Более того, они стали неотъемлемой частью тактики, позволявшей бесконтрольно переписываться с внешним миром, прибегая к помощи чу-

жих, подчас вовсе незнакомых людей. Казалось, что посетители связаны той же невидимой цепью, что и заключенные. Было в этих общих свиданиях нечто такое, что позволяло доверять всякому, переступившему тюремный порог, что делало любую неграмотную старуху находчивой и изобретательной, с полуслова, полужеста, полупамятки понимающей, что именно должна она сделать, оказавшись за пределами мрачных тюремных стен.

— Мне было стыдно за свою несдержанность, — тем не менее заметила бабушка.

После свидания с братом она отправилась на вокзал. Приехав в Петербург и сдав вещи в камеру хранения, решила позавтракать в привокзальном буфете. Можно представить себе, с каким удивлением она вдруг услышала знакомый голос за спиной:

— Слава богу, Фаро. Где пропадала ты столько времени? Жду тебя не дождусь.

Оглянулась. Перед ней стоял радостно улыбающийся Егор Мамулов!

«Я не поверила своим глазам.

— Каким образом? Ты ведь учишься теперь в Юрьеве на юридическом факультете.

— До десятого сентября я свободен, вот и приехал встретить. Три дня жду на вокзале, выхожу к каждому поезду. Меня уж тут на заметку взяли, вызывали к начальнику станции, два раза документы проверяли. Я никуда не отлучался, боялся не встретить тебя. Прости, может, ты этого совсем не хотела. — На глаза его навернулись слезы. Нарочито веселым голосом он воскликнул: — Что это я разболтался, болван? Ведь ты голодная. Садись. Сейчас закажу кофе и что-нибудь еще.

Была ли я рада Егору? И да и нет. Люблю ли его? Не знаю. Меня трогает его нежность, привязанность, приятно быть с ним рядом, особенно в кругу друзей. Без него

я скучаю, но наедине с ним испытываю постоянную скучанность, становлюсь неестественной, деревянной какой-то. Я не могла бы, наверно, поцеловать его и не знаю, что мне ему сказать, моему милому, хорошему, самому близкому другу.

Все подруги в кого-то влюблены, а я словно навсегда осталась маленькой. В детстве говорила: замуж выйду только за папу. Теперь готова сказать: люблю одного Югодана. Все время думаю о нем, о том, как бы отнесся он к каждому моему шагу.

— Так что мы будем делать теперь?

— Разыщем Айко. Она уже где-то устроилась.

— Нет, Фаро. Я все лето мечтал провести с тобой хотя бы один день в Петербурге, показать тебе этот прекрасный город, наговориться всласть. Пожалей своего старого друга, уступи ему. Даю слово не напоминать о том, о чем ты не желаешь слышать. Тут, на Пушкинской улице, сдаются меблированные комнаты. Найдем две комнаты и за несколько дней сможем обойти весь Петербург. Уверяю, другой такой возможности не будет. Петербургская жизнь закрутит, закружит.

Две уютные комнатки находились по обе стороны длинного коридора, но мы там только спали, целыми днями блуждая по музеям, паркам, улицам и окрестностям Петербурга. До того уставала, что засыпала как убитая, и утром Егору с трудом удавалось разбудить меня. Когда днем мы присаживались в парке или сквере, чтобы немного отдохнуть, Егор начинал тихо петь, и это было чудесно. Он обладал дивным голосом, замечательным слухом, а главное, столько душевного тепла было в его песнях, что я чуть не плакала, ощущая боль, стыд и раскаянье. Почему мне не было дано полюбить его?

Петербург завораживал своими внезапными переходами от величавой строгости арок, фронтонов, крутого изгиба тускло-золотого купола Исаакиевского собора, неиз-

менно возникающего в просветах между домами, к тесным, мрачным, как бы в подzemелье спрятанным внутренним дворам доходных домов и от них — к свободным просторам Невы, исчезающим в легком мареве жемчужно-лазурной дымки.

Те дни были как сладостный сон, когда не хочется просыпаться и, чтобы продлить счастье, плотнее смыкаешь ресницы, но сон уходит, покидает тебя. Раздражающее чувство яви вытесняет видения, и ты словно перевоплощаешься в другое существо — иная жизнь заполняет тебя, точно пустой сосуд.

В адресном столе мы узнали адрес Айко: Иваповская, дом 10, квартира 30.

Утро. Айко только что встала. Увидев меня, несказанно обрадовалась. Не чаяла, что приеду. В комнате стояла вторая кровать — для меня. В соседней комнате поселилась Варя Каспарова, но сейчас ее нет — осталась ночевать у брата в Лесном. Обе они подали заявление в гимназию Стоюниной, но ответ будет только 10 сентября, а занятия начнутся 15-го. «Это аристократическая гимназия, — сказала Айко, — и большинство учениц вместе с родителями находятся сейчас на курортах». «А плата за учение какая?» — «Двести пятьдесят рублей в год». Я не поверила своим ушам. Где взять такую сумму? Но пока не хотелось думать об этом. Поехали провожать Егора в Юрьев. Когда раздался третий звонок и поезд тронулся, так больно вдруг сжалось сердце. Стало пусто и одиноко.

После этого я встретила Егора только однажды, в 1919 году в Николаевке, на Северном Кавказе, в день моего рождения. Вышла на станцию, не помню уже зачем, просто было тоскливо дома, — и вдруг кто-то взял меня за руку горячей своей рукой. Это был он, Егор Мамулов. Его поезд отходил через несколько минут. Он ехал к матери в Кисловодск.

— Вот удивительно. Неужели это правда? Нет, просто невероятно. С утра мне не давала покоя мысль, что сегодня какой-то особенный день. Потом вспомнил: день твоего рождения. И эта неожиданная, чудесная встреча. Где ты, что с тобой?

Я коротко рассказала, что окончила Бестужевские курсы в Петербурге, вернулась в Баку, была отправлена с Чрезвычайной комиссией для закупки хлеба на Северный Кавказ и теперь живу здесь с няней и двумя детьми. Егор тоже сбивчиво поведал свою историю. Вскоре после приезда в Юрьев его исключили из института. Он отправился в Новороссийск, в 1905 году стал председателем Совета рабочих и солдатских депутатов, был арестован, отправлен на каторгу. Революция освободила его.

В это время поезд тронулся, он вскочил на подпожку, я успела только сказать свой адрес, он обещал приехать завтра же. Через три месяца ко мне приехала его мать. Оказывается, в Кисловодск он прибыл уже совсем больным и вскоре умер от сыпного тифа.

Но тогда, в сентябре 1904 года, расставаясь с Егором, я только вздрогнула и как-то попикла вся.

— Тебе нездоровится? — всполошилась Айко.

— Нет,— успокоила ее я.— Пожалуй, поеду за своими вещами.

— Поедем вместе. Ты ведь совсем не знаешь Петербурга, заблудишься.

— Не заблужусь,— заверила я ее.

Айко не знала, что за эти дни Петербург стал для меня родным городом.

На следующий день я отправилась к Новикову в его особняк на Мойке.

— Это дом моей матери,— как бы оправдывался он.— Она меня поселила отдельно, поскольку я шокирую ее. Да, представьте себе. Величает меня не иначе как либералом и презирает за это. Можно подумать, что сегодня в

России можно найти хоть одного интеллигентного человека, не либерально настроенного. Как видите, приходится расплачиваться за свой «гнилой либерализм». Лежу один, болею в полном одиночестве.

— Что с вами, Александр Иванович?

— Это долгая история, деточка. Суть ее заключается в том, что в свои пятьдесят лет я обречен на неподвижность. Ноги не ходят и никогда уже не будут ходить. Я еще поживу, но теперь вот так, ползая. Люди не смогли заставить меня ползать, а вот болезнь заставила. Впрочем, все это скучные, невеселые материи. Лучше вы расскажите, как доехали, как ваши дела.

Вysłушав меня, он задумался и сказал:

— Что ж, надо помочь вам окончить восьмой класс. Сам я беден теперь, ибо давно отказался от наследных денег. Живу на то, что подбросит мать. Но я напишу одному своему приятелю, меценату.

Потребовал чернил и бумаги.

— Адрес — гостиница «Европа». И не смущайтесь. Он любит красивых женщин, однако совершенно безопасен, уверяю вас. Смело говорите, что вам надо.

Мы долго еще вспоминали с Александром Ивановичем Баку, мое исключение из заведения св. Нины, братьев, к которым он относился с большим уважением.

— Как странно, — сказал он на прощанье, — мог ли я думать, что у меня появится такой юный друг, да еще армянка, революционерка. Не забывайте старого калеку. Приходите почаще.

Я передала письмо Новикова горничной гостиницы «Европа», и та доложила меценату о моем приходе. Он велел пропустить.

Вид у человека, который шел мне навстречу, был торжественный. Он нес себя, словно чашу, наполненную драгоценностями, боясь, как бы что не выпало из нее. Это был одетый с иголочки господин средних лет, крайне

неприятной наружности. Лысый, какой-то ливялый весь, но с живым, острым взглядом.

Пробежал глазами письмо, оглядел меня именно так, как предсказывал Александр Иванович, и спросил насмешливо:

— Чем могу быть полезен?

— Разве Александр Иванович не написал?

— Нет.

Я попыталась объяснить свое положение. Он слушал рассеянно, потом перебил:

— Почему именно в частной гимназии хотите учиться? В казенной гораздо дешевле.

— Меня не примут туда.

— Почему?

Слишком долго было объяснять. Да и не хотелось. Я молчала.

— Попробуйте все-таки поступить в казенную. Если не примут, приходите ко мне — помогу. Увидите Александра Ивановича, передайте от меня сердечный привет.

Я снова уловила в его голосе насмешку и выбежала из гостиницы, решив ни при каких обстоятельствах не возвращаться сюда».

ГЛАВА XII

Между посещением бабушкой Фаро Таганской тюрьмы, которое она сравнила с больничным посещением, и судом над Богданом, то есть в течение полугода, я не имел возможности следить за его временно лишенной всякого разнообразия жизнью. Поскольку в тюрьме я никогда не сидел, а в больнице оказывался не раз — и, было дело, провалялся там как-то около года, — я решил, что будет не слишком большой вольностью уподобить в целях авторского перевоплощения и соучастия эти два состояния.

Ведь и в том и в другом случае имеет место искусственное «выпадение» из жизни. Мое нынешнее тяжелое положение, связанное с неприятностями на работе, было сродни такому «выпадению» и усугублялось чувством непонятной вины, которую я испытывал в отношении героя будущей книги. Я не мог слушать радио, смотреть телевизор, читать газеты, ездить в автомобиле — то есть вынужден был отказаться от всех тех радостей и удобств, без которых современный человек уже не мыслит своего существования. Я как бы наказывал себя во имя искупления той вины, понемногу пополняя папку Ивана Васильевича собственными записями.

«Беличья болезнь» подсовывания и припрятывания, о которой упоминал Иван Васильевич в одном из своих комментариев к «Хронике одной жизни», оборачивалась эпидемией. Я и не заметил, как заразился, попав таким образом в одну компанию с девятиностодвухлетней бабушкой Фаро и восьмидесятипятилетним летописцем, тогда как мы с Богданом были примерно в три раза моложе.

Между прочим, Иван Васильевич отмечает, что Богдан умер в тридцатитрехлетнем возрасте, и несколько раз повторяет эту цифру, словно таящую в себе особый смысл. На самом деле речь может идти лишь о тридцать третьем

годе жизни, поскольку Богдан прожил только тридцать два полных года.

Передо мной весьма своеобразно разукрашенный лист плотной бумаги, найденный на дне одной из папок. Посреди листа аккуратно наклеен поясной портрет Богдана, заключенный как бы в рамку, состоящую из небольших прямоугольников, в каждом из которых фломастерами и цветными шариковыми карандашами (видимо, чтобы подчеркнуть различия по тематическому признаку) сделаны мелкие, неразборчивые записи и пометки. Уже на сравнительно небольшом от глаз расстоянии все эти надписи сливаются в причудливые узоры, смутно напоминающие фигуры коленопреклоненных людей, всадника с копьем, нацеленным в пасть огнедышащего дракона, и даже лучи, расходящиеся в разные стороны то ли от небесного светила странной формы, то ли от заросшей головы делегата II съезда партии.

Однако при ближайшем рассмотрении удастся разобрать не только отдельные слова, но и фразы, а также цифры, выполняющие роль порядковых номеров краткого плана той или иной сцены. Многие из них переправлены или зачеркнуты вовсе. В одном из верхних прямоугольников я обнаружил упоминание о «поваленном тутовом дереве» и о «пляске козла», а в одном из боковых — с трудом разобрал слово «житие». Наиболее темный из нижних прямоугольников был сплошь, без разделений на части, исписан бисерным почерком Ивана Васильевича, необычайно для него плотным.

С другой стороны, отсюда, из нынешней жизни, история Богдана казалась огромной черной дырой — ярким, но невидимым в силу чрезвычайной плотности звездным космическим телом, разбегающейся в бесконечность вселенной.

Чтобы вызволить вечно юного моего двойника из непроглядной толщи времени, следовало взять себе в про-

водники не только бабушку, Ивана Васильевича, но и жеп соратников Богдана Кнупянца — из тех, что лет двадцать назад, возвращаясь, как было принято тогда говорить, издалёка, печальной вереницей прошли через наш дом.

Цепляясь за память других людей, как-то связанных с моей, я надеялся добраться в конце концов до того, до чего в одипотку теперь уже никому не добраться. Требовалось воссоединить миг и вечность, космос и частную жизнь, создать нечто вроде системы круговых зеркал, чтобы в фокусе, в совмещении отражений поймать ускользающий от меня образ.

Бабушка не раз посещала брата в Таганской тюрьме. Благодаря этим посещениям она познакомилась с Еленой Дмитриевной Стасовой, а через нее — с ее отцом, Дмитрием Васильевичем, первым председателем Петербургского совета присяжных поверенных. Стасов помог бабушке получить разрешение присутствовать на закрытом заседании Московской судебной палаты во время суда над братом. Вот как все это происходило.

«После посещения гостиницы «Европа» я решила пойти к директрисе соседней гимназии. Дама важная и жеманная, она прицпала меня чрезвычайно любезно, расспросила, сколько я закончила классов, заметив между прочим, что для хорошо воспитанных девушек в гимназии всегда найдется вакансия. Но стоило директрисе взглянуть на мою метрику, как лицо ее неузнаваемо изменилось — стало злым и провинциальным.

— Что за обман! — воскликнула она. — Мне сдалось поначалу, что вы француженка или итальянка. А вы, оказывается, из армян, да еще крестьянского сословия. Как осмелились прийти к нам? На что рассчитывали? Сейчас же забирайте свои бумаги и больше сюда не являйтесь.

Мне очень хотелось сказать ей что-нибудь обидное, но ничего подходящего не приходило на ум.

«Ладно,— решила я.— Нет — и не надо. Больше никуда не пойду. Хватит. Займусь партийной работой. Учиться можно и по самоучителю».

Варя и Айко, начав заниматься в гимназии Стоюпиной, восторженно рассказывали: «Литературу читает Гиппиус, в преподавателя истории все влюблены».

«Ну и ладно,— думала,— бог с ними со всеми. Днем буду ходить в Публичную библиотеку, знакомиться с литературой, а по вечерам — в Вольно-экономическое общество на лекции и дискуссии».

Уже несколько дней я собиралась по просьбе Елены Дмитриевны Стасовой пойти к ее отцу и наконец собралась.

За свою жизнь я успела повидать и жалкие землянки шушинских бедняков, и хоромы бакинских богачей, где давала уроки или бывала по делам ученического комитета, и скромные квартиры служащих. Но встречались и другие дома, со своей культурой, историей,— дома, где настоящее и прошлое существуют в перазрывном единстве.

Таким был дом Стасовых на Фурштадской улице. Книжки, картины, портреты музыкантов, художников. Ни один предмет в доме не казался обезличенным, ничьим, поставленным, положенным или повешенным ради украшательства, напоказ, случайно. Вообще внешнее, броское было здесь не в почете. Словно время само оставляло лишь то, что имело глубокий смысл для ныне живущих и что важно было оставить будущему.

У этого большого, многокомнатного дома имелась как бы своя историческая память, традиции, культурные слои, напластования, вобравшие в себя дух времени и не только отразившие характер культурной жизни России, но и определившие ее.

Дмитрий Васильевич внимательно слушал, печально

кивал, говорил, что поедет в Москву и заберет дочь под залог, что, мол, бедная девочка, так неудачно у нее все сложилось. В свои семьдесят с лишним лет Дмитрий Васильевич не видел, казалось, особой разницы в возрасте между мной и тридцатилетней дочерью. Чем-то он напоминал нашего отца, только ростом был выше, гораздо выше. Так же ворчал, был педоволен, что дочь занимается политикой, и так же, как наш отец, оказал, я думаю, решающее влияние на формирование ее характера. Определил интерес к политике. Та же неизрасходованная внутренняя сила, стрептливость и необузданное правдолюбие. О Дмитрие Васильевиче император Александр II сказал некогда: «Плюнуть нельзя, чтобы не попасть в Стасова», — и приказал выслать его из Петербурга.

— Заходите, милая, всегда заходите. Если что нужно, обращайтесь, — напутствовал меня Дмитрий Васильевич.

От Стасова я отправилась к барону фон Эссену, или просто Барону, на Кадетскую линию. Кличка эта принадлежала высокому, стройному, человеку лет тридцати пяти. Барон долго расспрашивал, как попала я в Петербург, где устроилась, что намерена делать.

— Хочу заниматься партийной работой.

— Жалко вас, такую молоденькую, — сказал Барон. — В то же время вы нам сейчас очень нужны. Совсем нет свободных женских рук для работы по технике. Необходимы профессионалы, а довольствоваться приходится либо учащимися, занятыми учебой, либо сочувствующими матерями семейств. Нужны люди, располагающие своим временем, способные обеспечить надежную, бесперебойную работу. Как и при решении технической задачи, львиная доля нашего успеха определяется квалификацией специалистов-профессионалов.

— А что для этого нужно?

— Память, умение владеть собой, многое другое.

— У меня неплохая память.

— Можно было бы одеть вас цыганкой, дать в руки карты и пустить по рабочим районам с литературой.

Глаза Барона загорелись, он оживился, и было в этом оживлении что-то мальчишеское. «Великий конспиратор», — говорил о нем Людвиг.

— Запомните адрес: Большая Подъяческая, дом 16, квартира 7. Спросите Николая. Возьмете у него то, что он даст, и отнесете вот сюда.

Барон бегло нарисовал план улиц, отметив крестиком дом, куда я должна была принести то, что мне даст Николай.

— Запомнили?

Барон разорвал листок.

— Если оправдаете надежды организации, мы сможем обеспечить вас материально.

Это было то, о чем я мечтала.

Дома меня ждало письмо от Егора Арустамяна из Шуши.

«Фаро, несмотря на твою любовь к братьям и желание быть с ними, я не оставляю надежды, что ты в конце концов примкнешь к нам. Разве может человек не скучать об отчем доме, где все родное: люди, идея, борьба. Может ли он долго прожить без родимых гор, без своих земляков, без языка детства? Неужели горести русских рабочих волнуют тебя больше, чем безысходное положение армян, томящихся в Турции?».

Егор ничего не сообщал о том, как чувствует себя после ранения. Мне же хотелось написать ему, что борьба русского и борьба армянского рабочего — это одна борьба, что горе и радости у них одни и один враг. Что они живут в одной стране, под единой властью. Ах, как хотелось убедить в этом всех националистически настроенных кавказских товарищей, которые в озлоблении называли нас, членов РСДРП, «изменниками нации». На самом деле тоска по родине, по близким и родным была совсем иной.

До чего примитивно понимал Егор мой выбор: будто бы я слено шла за Людвигом и Богданом.

Приходили бесконечные письма от Егора Мамулова, от Кирилла Грошева, от Тарсая, Тиграна и Людвига, от Лели из Одессы, от гимназических подруг, от Наримана из Баку. Я не успевала отвечать.

Айко сгорала от любопытства, хотела узнать, где это я пропадаю целые дни. Я говорила только, что работаю на Выборгской стороне.

Ни одного вечера мы не сидели дома, не пропускали ни одного важного собрания, диспута. Весь Петербург превратился в огромную многолюдную говорильню. Говорили в университете, в Вольно-экономическом обществе, в зале дома Паниной. Вместе со студентами и курсистками, смяв контроль и охрану, мы врывались в переполненные залы. Что-то зрело, конилось, подкатывало. Жили мы, как в угаре.

Днем я надевала пеструю юбку, черную куртку, яркий шелковый платок на голову и, взобравшись на верх конки, везла литературу. Однажды ко мне подсел подозрительного вида молодой человек. Чувствуя на себе его пристальный взгляд, я нарочито беспечно начала лузгать семечки, складывая шелуху в карман.

— Разве в вагоне грызут семечки? — спросил он вкрадчиво.

— Извините, — кокетливо отвечала я, — замечталась.

— И далеко едете?

— Тенерь я делаю вам замечание: в пути приличные молодые люди не заговаривают с незнакомыми барышнями.

— Да разве вы барышня?

— Как видите, — сердито буркнула я и слезла на остановке.

Смотрю — он тоже вышел, идет за мной вдоль линии конки. На мое счастье, я заметила зеленую бумажку,

прилепленную к одному из окон одноэтажного дома: «Сдается комната». Подбегаю к двери, звоню. Отворяет старушка.

— У вас сдается комната?

— Да-да, войдите.

Вхожу, запыхавшись.

— Что с вами? — спрашивает старушка.

— Какой-то тип пристал ко мне, — отвечаю. — Вон он стоит, поджидает, когда я выйду. Пожалуйста, разрешите у вас посидеть, пока он не уйдет. Могу помочь по хозяйству.

— Ничего, я привыкла сама. Как раз обед готовлю для своих жильцов. У меня два студента живут и обедают. Один такой же черненький, как вы. С Кавказа.

Только этого мне не хватало. Не дай бог встречу кого из знакомых. Что подумают? Почему я в таком цыганском наряде? Эдак, пожалуй, иные проститутки одеваются. Смотрю в окно. Тот прогуливается, ждет.

Сели мы со старушкой картошку чистить, и, пока чистили, старушка рассказывала немудреную историю своей жизни.

На улице начало смеркаться. Я выглянула в окно. Никого не было видно поблизости. Поблагодарив милую Полину Арсеньевну — так звали старушку, — я собралась уходить. В это время в дверь постучали.

— Эх, жильцы мои пришли, а у меня не готово. Прощаюсь с вами. Пойду на кухню, а вы уж откройте им.

С замирающим сердцем пошла открывать. Что оставалось делать? И не зря опасалась — словно сердце чувствовало. Открыв дверь, увидела младшего Гасабова, сына состоятельных шушинцев. Он был с каким-то русским парнем, видно, тоже студентом. Я хотела проскользнуть незаметно, но он остановил меня.

— Как вы здесь оказались, Фаро? Я вас сразу узнал,

а вы меня — нет. Я Гасабов. Помните, этим летом мы часто встречались в клубной читальне. Обсуждали «Русское богатство» и «Мир божий».

— Я очень спешу, — сказала я.

Мне и в самом деле предстояло еще разнести литературу.

— Не уходите, пожалуйста. Мы так вам рады. — Он с веселым недоумением разглядывал мой костюм. — Пообедаем, поговорим, а потом я вас провожу.

В Шуше Гасабов был членом социал-демократического ученического комитета, и у меня мелькнула мысль, что он мог бы, пожалуй, помочь. Со всей литературой на ночь глядя одной все равно не справиться.

Осталась. Полина Арсеньевна радовалась, что у ее студента нашлась землячка. Может, и я захочу брать у нее обеды? Вскоре русский студент ушел, оставив нас вдвоем. Тут я без утайки рассказала Гасабову, как попала сюда, что предстоит мне сегодня сделать.

Как заблестели у парня глаза! Теперь нужно было пришить ему дополнительные внутренние карманы, поскольку он тотчас взялся помочь мне. Я отрезала узкую полосу от своего головного платка, нитки у Гасабова были, и уже через полчаса мы вместе вышли из дома, договорившись встретиться завтра в Публичной библиотеке. Мне было приятно, что Гасабов не спросил, где я живу, чье поручение выполняю. Мы были земляками, шушинцами, он знал меня, братьев — этого оказалось вполне достаточно».

Признаться, меня так и подмывало перебить бабушку сначала в том месте, где она рассказывала о знакомстве с Бароном, потом — при очередном упоминании о письмах Егора Арустамяна, «шушинского семинариста Егора», а также Егора Мамулова, Кирилла Грошева и других. А встреча с младшим Гасабовым, с трогательной покорностью поспешившим подчиниться бабушке, и разрыва-

ние головного платка сделали просто неизбежным комментарием на тему: «Мужчины в ее жизни».

Уже из одного бабушкиного признания, что любила она больше всех брата Богдана, следует, что остальные мужчины, которые ее окружали, которым она правилась, которые сходили из-за нее с ума, были достойны жалости и сочувствия.

Диктаторы по натуре, они ходили за ней по пятам, ради мимолетной встречи проводили целые дни на вокзалах, становились смешными, писали стихи, уходили в подполье, превращались в бесхребетных либералов, поднимались на высокие горы, дабы собрать и поднести сорванные там цветы.

Впрочем, если бы единственным мужчиной, которого бабушка любила, оставался ее родной брат, то мое сочувствие и мужская моя солидарность с теми, другими, чьей любви она не разделяла, на чьи ухаживания не отвечала, тем более не имели бы смысла, ибо не существовало бы не только меня, но и того, кто мог бы меня заменить в выражении вышеуказанных чувств и мужской солидарности.

Хотя бабушка ничего не пишет о том, как относился к ней младший Гасабов, нет сомнений, что к его жажде активной общественной работы примешивалась другая жажда, которой я не решаюсь дать название. Но уже то, что молодой человек по-щенячьи радовался пришиванию к своей одежде цветных лоскутов от бабушкиного платка, говорит о многом, хотя, разумеется, их отношения зиждились исключительно на идейных началах.

«После долгих поисков,— пишет далее бабушка,— уже в темноте я постучала в дверь квартиры, адрес которой мне дал Николай.

На следующий день я решила павестить Новикова. Нельзя было не пойти. Александр Иванович выразил недовольство тем, что я не побывала у мецената еще раз.

Я старалась убедить его, что сейчас не слишком подходящее для учебы время:

— Надо жить, действовать. Иначе когда же? Невозможно учиться всю жизнь.

Он с грустью смотрел на меня. В его глазах стояли слезы.

— Вы плачете? — испугалась я.

— Скорее умиляюсь, чем плачу. Простите меня. Вы, такая крошка еще, хотите жить действенной жизнью. А что должен чувствовать, приближаясь к пятидесяти годам, человек, который всю молодость строил воздушные замки, упустил лучшие годы? Теперь, без ног, кому я нужен? У вас были братья, товарищи, указавшие путь. Хорош он или нет — другой разговор, но он у вас есть, он зовет к лучшей жизни. Без этого — зачем все остальное?

Так странно было слушать подобные речи из уст бывшего бакинского городского головы.

— Вы способная, красивая, молодая, заметная. — Александр Иванович поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза. — Вы должны беречь себя. Жизнь — жестокая штука, в особенности для человека нуждающегося. Эта проклятая российская действительность в два счета может доконать вас. Эх, будь я молод, здоров, я бы сумел сделать вас счастливой. Но я сам нуждаюсь в поддержке.

Вошла горничная, объявила о приходе врача. Я стала прощаться. Выйдя на улицу, полной грудью вдохнула воздух. Было такое чувство, будто только что посетила кладбище.

На следующий день я заявила Николаю, что никаких пестрых костюмов носить больше не буду. Довольно с меня цыганщины. В конце концов среди русских, украинских женщин тоже немало смуглолицых и черноволосых.

Кроме литературы мне приходилось таскать какие-то очень тяжелые коробки, части машин. Правила конспи-

рации приучили каждого из нас не интересоваться содержимым свертков, родословной наших товарищей, их происхождением, семейным положением, местом жительства и т. п. В случае ареста, пребывания в тюремной больнице в бреду можно было произвольно выдать их, навести на след. Чем меньше мы знали друг о друге, тем в большей безопасности паходились».

Эти бабушкины слова позволяют достаточно ясно представить себе характер отношений того времени. Культ незнания и забвения среди определенной части людей имел, безусловно, далеко идущие последствия. Я не случайно останавливаюсь на столь незначительном на первый взгляд обстоятельстве. Несмотря на многократные просьбы, бабушка смогла сообщить мне лишь самые общие сведения о моем деде, тоже революционере-подпольщике. «Тогда было не принято интересоваться личной жизнью друг друга», — объяснила она.

Пожалуй, нынешний мой интерес к бабушкиным записям, к родовым корням в той или иной мере обусловлен негативной реакцией на упомянутый культ. Любящие старались ничего не знать друг о друге, детей не интересовало прошлое родителей, сын не отвечал за отца, отец — за сына. Нет сомнений: то, в чем сказался недостаток знаний одного поколения, непременно восполнит другое, последующее. И напротив, всякая избыточность в настоящем скажется недостаточностью в будущем. Здесь, видимо, действует известный принцип дополнительности, согласно которому время чередуется с безвременьем, пустота — с переполненностью, свет — с мраком. С какой стороны ни взгляни, мир представляется сплошной, единой системой, уравновешенной во времени и пространстве.

Далее бабушка пишет: «Совершенно случайно и неожиданно я встретила в Петербурге бакинского знакомого Герасима Герасимовича Тер-Нерсесова, доцента Горного

института. Он принадлежал к числу так называемых сочувствующих, и к нам в дом его привел, скорее всего, Богдан.

Герасим был лет на семь старше меня, то есть, видимо, одного возраста с Богданом. Дело было днем, я, как всегда, куда-то спешила, но он и слушать не захотел моих возражений, потащил к себе домой на Большой проспект Петербургской стороны.

Навстречу нам вышла женщина лет тридцати пяти с огромными голубыми глазами. Это была хозяйка квартиры Лидия Станиславовна Шаверновская. Красавица полька, известная петербургская фельдшерка, она обслуживала семьи высокопоставленных лиц в Петербурге, в Москве и еще сдавала квартиру.

Лидия Станиславовна накрыла на стол, за которым мы провели втроем остаток дня. Впервые после Шуши я оказалась в доброй семейной обстановке. По естественности обращения и особенно трудно скрываемым знакам внимания, которые оказывали друг другу Лидия Станиславовна и Герасим, я догадалась о характере их отношений.

Герасим пошел провожать меня и все допытывался по дороге, чем живу, не нужно ли чего. Просил, чтобы обращалась к нему без стеснения за любой помощью. Я попросила разрешения пользоваться его богатой библиотекой».

На следующей странице своих записей бабушка вспоминает о том, что к ее подруге и соседке Варе Каспаровой зачастил знакомый, «который однажды с увлечением принялся рассказывать о том, как в их землячестве проштрафились большевики». «Не меньшевик ли он?» — в ужасе восклицает бабушка. И далее: «Варя смотрела на него влюбленными глазами». Бабушке казалось не только странным, но и недопустимым такое отношение Вари к

человеку, позволяющему себе «подобные дикие высказывания». «Я пришла к Айко и спрашиваю:

— Кто этот субъект, откуда он взялся?

— Теперь это лучший ее друг. Она посится с ним как с писаной торбой. Ты же знаешь Варю: все гениев ищет, людей особенных. Уроки теперь готовит на лету, кое-как, после школы пропадает неизвестно где».

«Бог с ним, пусть ходит, — великодушно ответила Фаро на это замечание Айко. — Лишь бы не оказался меньшевиком, не вскружил бы ей голову».

Уже из сказанного видно, что отношение бабушки к меньшевикам в тот или, скорее, в некие последующие периоды было чем-то сродни отношению начинающего отшельника к черту: страх, ужас, чувство незащищенности и неприятия соединялись в нем. «Ведь правда, Фаро, меньшевики ужасно противные? Я их не люблю» — такие слова вкладывает бабушка в уста наивной большелицей Айко, ибо сама стесняется произнести их в столь категоричной форме.

К этому бабушка считает необходимым присовокупить оправдательное: «Только в 1926 году я догадалась, что тов. Драбкина спутала меня с Варей, рассказывая Елене Дмитриевне Стасовой о моей принадлежности к меньшевикам в 1905 году. Она, видимо, знала того знакомого Вари и запомнила, что он ходил не ко мне, а к ней. С «Наташей» — Драбкиной — мы хотя и жили рядом, но сильно конспирировались, лишь только здороваясь друг с другом».

Конечно, уроки брата Богдапа, его доклад на бакинских нефтяных промыслах об итогах II съезда не могли пройти бесследно для бабушки Фаро, как не прошли для меня бесследно ее уроки «интернационального воспитания», связанные с избанием маленького Цисмана.

В этой же тетради упоминается о студенте Мелик-Осипове, который «выступил с громовой речью против

местных кадетов». «Когда он успел так политически вырасти? А ведь выступил он как истинный большевик». Речь идет о том самом Ване Мелик-Осипове, прошлогодние отношения с которым Лизы Голиковой так обеспокоили хозяина двухэтажного шушинского дома.

«Спустя некоторое время я получила записку от Лидии Станиславовны Шаверновской с приглашением на обед. Пришла.

— После обеда тебя ожидает сюрприз,— сказал Герасим.

— Какой сюрприз?

— Боимся, что пропадет аппетит, если скажем раньше времени.

— От волнения у меня никогда еще не пропадал аппетит. Даже усиливался.

Оказывается, Шаверновской вместо имениного удалось получить постоянный железнодорожный билет на предъязвителя во II классе Николаевской железной дороги. А поскольку она ездила в Москву только два раза в месяц, все остальное время я могла пользоваться ее билетом для поездок в Москву на свидания с Богданом.

— Я еще денег у Красного Креста достану,— обещал Герасим.— Ты выясни, что им там нужно, в Тагапке, мы поможем.

Мой партийный патрон Николай был очень доволен.

— Теперь у нас есть своя постоянная связная с Москвой,— радовался он».

ГЛАВА XIII

В Москве бабушка останавливалась у Исаханянов, ходила на свидания к брату, выполняла партийные поручения и возвращалась в Петербург. С осени 1904 по весну 1905 года она видела брата не менее шести раз. В эти дни, как и в ранней юности, бабушкой владели противоречивые чувства. «Как хорошо жить на свете, как интересно», — пишет она в дневнике. И тут же: «На востоке понапрасну льется солдатская кровь, а Богдан с товарищами продолжают сидеть в тюрьме». Ее максималистские суждения о меньшевиках также, видимо, навеяны поездками в Москву, ибо внутрипартийная борьба в преддверии III съезда все более обострялась, и юная бабушка принимала непосредственное участие в осуществлении переписки, связанной с обращением 22-х, которую вели заключенные Таганской тюрьмы.

Россия подходила к порогу, за которым было неизвестно что. Еще не успел выкипеть до дна энтузиазм российского либерализма, надеявшегося заштопать навсегда разошедшийся шов, связывавший рабочую массу с самодержавной властью. Шендриковщина в Баку принимала эстафету московской зубатовщины, тогда как сам начальник Московского охранного отделения и вдохновитель движения С. Зубатов, оказавшийся меж двух огней, был отстранен от должности и сдан под надзор полиции. «Интеллигенты, — внушали рабочим поборники «полицейского социализма», — хотят воспользоваться вами как грубой физической силой, захватить власть и вам же сесть на шею. Не верьте им».

Словом, очередной раз во всех смертных грехах обвинялись «интеллигенты». Те, которые в очках и шляпах, как сказали бы лет пятьдесят спустя. Они были виноваты в дороговизне и в грошовом заработке. В неразберихе и в том, что солдаты гибнут на фронте. Жупел «интеллигент-

ства» служил тем аварийным клапаном, через который выпускали избыточный пар.

Итак, с одной стороны, за рабочие массы боролись «интеллигенты», с другой — «экономисты», зубатовцы, шендриковцы. Но и «интеллигенты» уже не составляли единую силу. Раскол продолжал углубляться, и это расхождение вчерашних единомышленников было, возможно, предопределено неизбежностью конфликта между реальным и идеальным, большинством и меньшинством, мужеством действия и прекраснодушием мечты, желанием и необходимостью — «землей» и «небом» революционного движения в России.

В конце октября на общей прогулке во дворе Таганской тюрьмы тринадцать заключенных договорились подать заявление прокурору Московской судебной палаты с требованием, чтобы дело каждого рассматривалось не позднее января 1905 года. Ответ должен быть дан до 10 ноября. В противном случае заключенные угрожали голодовкой. 10 ноября объявили голодовку восемь человек. Через четыре дня к ним присоединились еще пятнадцать заключенных. 16 ноября голодала уже вся тюрьма — около восьмидесяти человек. Спустя несколько дней о голодовке в Таганской тюрьме знала вся Россия. Назревала демонстрация протеста. Московский комитет отпечатал листовку «Голодовка в тюрьме».

Тогда начали отпускать под залог. Четверых выпустили в середине того же месяца. В декабре Дмитрий Васильевич Стасов внес тысячу рублей залога за дочь, и она была освобождена.

«Утром 28 ноября,— пишет бабушка в своих записках,— в Петербурге у Казанского собора состоялась демонстрация. День был воскресный. Мы с Айко жили в районе Технологического института, и когда вышли на Загородный проспект, то оказались в сплошном потоке студентов-технологов. На Невском наш поток слился с

другим. Было много курсисток, студентов различных учебных заведений. Поговаривали, что в демонстрации примут участие рабочие фабрично-заводских районов.

Во внутренние дворы нагнали полно полиции. Кое-где появлялись одиночные копные и тотчас исчезали. Видно, прятались где-то.

Когда основная масса демонстрантов собралась на Казанской площади, ее стала окружать копная и пешая полиция. Выступления ораторов и крики «Разойдись!» звучали одновременно. Демонстранты не расходились.

— Разойдись, плохо будет! Вынуждены будем прибегнуть к крутым мерам.

Началась давка. Толпу стягивало, точно ремнем. Стало трудно дышать. Кто-то локтем уперся мне в грудь. Кто-то вскрикнул. Послышались причитания. Рядом заплакали. Толпа глухо гудела. Я потеряла Айко.

— Не поддавайтесь, товарищи! — гремел над нашими головами голос. — Скоро разойдемся. — И вдруг — сорвавшись, в крик: — Долой самодержавие! Да здравствует революция!

— Да здравствует революция! — перебил другой голос.

Мы все дальше отходили от площади. Сзади напирал свежий приток демонстрантов».

Так описывает бабушка события в Петербурге, по времени совпадающие с окончанием голодовки в Таганской тюрьме.

«Я потеряла шляпу, галошу, — добросовестно перечисляет она, — и все пуговицы на моем пальто оказались оборваны».

Голодовка в Таганской тюрьме припесла заключенным победу. Впрочем, борьба продолжалась. Игры в кошки-мышки тоже. Ленгник все еще пазывался баварцем Артуром Циглером. Стасова с готовностью переводила администрации непонятную немецкую речь Артура.

Русско-японская война близилась к печальному завер-

шению. Весть о падении Порт-Артура, подобно дополнительной порции бродильных дрожжей, заставила вскипеть русское общество. Игры кончились. Баварец Циглер заговорил по-русски.

— Вот и наш Порт-Артур пал, — шутили тюремщики.

«Имея ряд поручений по распространению листовок Петербургского комитета, — пишет бабушка, — я нередко бывала у рабочих за Нарвской заставой. Там я познакомилась с некоторыми рабочими Путиловского завода, в частности с моим будущим мужем Александром Павловичем Серебровским, который, занимаясь агитацией среди рабочих, увлеченных идеями цопа Гапона, жил тогда по паспорту рабочего Григория Логинаова и звался Гришкой-гапоновцем.

Накануне Кровавого воскресенья мне приходилось не только распространять листовки о вредности и ненужности петиционной кампании, но и вести беседы с женами рабочих, особенно падких на гапоновскую агитацию.

В конце концов я стала участницей шествия к Зимнему дворцу. Поскольку шла в последних рядах, то не пострадала.

Вечером бегали из больницы в больницу по всему Петербургу в поисках раненых партийцев и активистов-рабочих, чтобы организовать помощь им и их семьям.

На Васильевском острове строили баррикады, валили телефонные столбы.

Начались забастовки. По воскресеньям мы выезжали за город учиться стрелять».

Тем временем зима 1905 года катилась под гору на хороших, подбитых железом санях. Так лихо катилась, что дух захватывало. Солнце вдруг начало греть, склон обледенел, сани несло. Саночникам оставалось положиться на волю божью, но у некоторых не выдерживали нервы, их начинало клонить, заваливать набок от страха. Падали,

ударяясь о наст, катились кувырком, ушибались до сипиков, ломали кости.

Такое было этой зимой катанье в Москве на Воробьевых горах. И в Петербурге, куда весна пришла несколько позже, тоже катались с Пулковских высот, замерев кто от страха, кто от восторга.

К марту снег осел, лед на реках стал рыхлым, неверным.

Из Берлина в Москву пришло письмо:

«Патриаршие пруды, дом Панкова, кв. 16.

Дорогой Багдасар, передайте письмо Анне для Б. Скоро напишу и Вам, а сейчас страшно тороплюсь. Притом не уверена, в Москве ли вы. Жму вашу руку. Адрес спросите у Анны.

Мой милый, хороший Богданчик, пишу тебе на другой адрес, авось хоть одно из моих писем дойдет. Вот уже несколько дней, как я в Берлине. Чувствую себя благодаря знанию языка гораздо лучше, чем прежде: можешь всюду пойти, читаешь газеты. Здесь сейчас только и разговору что о войне. Победы японцев поразительны. В сегодняшнем номере «Берлинер цейтунг» сообщают, что скоро предполагается съезд революционеров, причем приводится даже перечень вопросов, которые будут там рассматриваться. Это не что иное, как почти дословная передача регламента, выработанного нашим бюро и разосланного по комитетам. Как подобная конспиративная бумага могла попасть сюда, сказать трудно, во всяком случае, по-моему, это может сильно повредить нашему съезду. Полиция будет теперь особенно строго следить за приезжающими за границу и может напасть на след. Ты, вероятно, уже видел упомянутый регламент бюро, где говорится главным образом о подготовке восстания и способах его проведения. Лично мне эта бумага мало нравится: она составлена как-то по-детски. Интересно, как ответят на

нее наши комитеты. О своем отношении к будущему съезду я тебе писала. Пока мы будем собираться на съезд с неопределенной перспективой, либо — либо, мы окончательно растеряем все свои комитеты, за нами пойдут только болотные элементы, да и то затем, чтобы на съезде пойти за меньшинством. Я признаю единственно целесообразным раскол сейчас и съезд только из наших элементов.

Только что достала «Вперед», начала читать. Пока воздержусь от суждения, так как прочла мало. За последнее время вышло довольно много — надо поскорее познакомиться. Через неделю поеду к Ильичу. Ничего нового из партийных дел пока не знаю, да, кажется, и нет ничего больше.

Пиши, что у вас там делается. Ты ведь раньше будешь узнавать, что делается в бюро, чем я. Как поживают новые гости? Никто из них случайно не уехал? Я часто вспоминаю наши последние свидания, когда ты был такой грустный, что у меня больно сжималось сердце. Мне кажется, что я тебе что-то нехорошее причинила своим отъездом. Уж и так немало горечи осталось после всех столкновений в российских комитетах, после всех этих сплетен, пересудов. Хотелось подальше убежать от них, а тут твоё положение, и одиночество щемит.

Выходи, Джаник, скорее. Тогда мы будем все время вместе. Только ты уж тогда меня от себя не отпускай, а то как бы не вышло опять то же: ты на свободе — я в тюрьме, ты в тюрьме — я на свободе.

Постарайся достать мне побольше адресов, а то письма не будут доходить.

Твоя».

В ожидании суда заключенные Таганской тюрьмы обсуждали вопрос о поведении на процессе в свете нового Уголовного уложения, в соответствии с которым с июня

1904 года политические дела разбирались в открытом заседании судебной палаты вместо несудебного наложения административных мер.

Должен ли подсудимый признавать свою принадлежность к РСДРП, брать защитника, вообще участвовать в судопроизводстве, правомочность которого не признает? Воспользоваться судом для агитации или бойкотировать его? Отказываться от показаний или запутывать след? Молчать было надежнее. Поскольку во всякой выдумке есть доля истины, следствие, сопоставляя разные показания, получало подчас весьма реалистическую картину.

Все обитатели Таганки, в том числе Богдан Кнунянц, который придерживался позиции неучастия и демонстрации против суда, находили возможным воспользоваться заключительным словом для провозглашения *profession de foi* — «исповедания веры», изложения своих взглядов.

«В марте 1905 года,— пишет бабушка,— с помощью Дмитрия Васильевича Стасова мне, как сестре, удалось добиться разрешения присутствовать на судебном процессе Богдана».

Суд состоялся 30—31 марта по старому стилю в Москве при закрытых дверях. Начался он с пререканий. При появлении суда Богдан не встал и на вопрос председателя, является ли он подсудимым Кнунянцем, ответил сиди. Председатель предложил ему встать при ответах суду, на что он скороговоркой, будто опасаясь, что перебыют, ответил, что вставать и садиться будет тогда, когда ему вздумается. Разумеется, он волновался. Может, поэтому его задиристый тон не произвел ожидаемого впечатления на председательствующего, который заметил, что вправе заставить подсудимого подчиниться требованиям закона, а также вывести его из зала суда.

— Требованиям закона? — уцепился подсудимый за слова председателя. — Подчиняться требованиям русского

закона я не намерен и ничего не имею против того, чтобы меня вывели из зала, поскольку явился на суд не добровольно, а по принуждению. Русский закон и суд не вправе требовать к себе уважения. Слишком мало они для этого сделали.

— Если вы не уважаете требований закона,— обратился к нему председатель,— то встаньте по крайней мере из вежливости, когда говорите с судом.

— Разговаривая с вами,— отвечал подсудимый,— я могу встать, принимая во внимание ваш возраст, но это ничего общего с уважением к закону не имеет. Что же касается правил вежливости, то у каждого из нас свой взгляд на это, и мы собрались сюда совместно не для того, чтобы устанавливать правила хорошего тона. Если ваше представление о правосудии, защитником которого вы себя считаете, допускает, чтобы меня из-за таких пустяков удалили из зала суда, то сделайте это. Вы этим еще раз докажете, что у нас нет суда, а есть только полицейский застеноч.

Председатель огласил распоряжение министерства юстиции о закрытии дверей суда и на вопрос подсудимого, может ли палата отменить это распоряжение, ответил отрицательно. Подсудимый попросил слово для заявления.

— Ввиду закрытия дверей суда,— сказал он,— делающего невозможным контроль общественного мнения — этого единственного судьи в тяжбе между революционерами и правительством — я считаю совершенно лишним свое участие в судебном разбирательстве. Ни на какие вопросы поэтому я отвечать не буду. При этом оставляю за собой право последнего слова, так как считаю революционным долгом использовать всякий случай для пропаганды своих идей.

Потоки света из окоп, точно могучие побеги, упирались в некое несуществующее препятствие — в пустой зал, и

было во всем происходящем нечто театральное, невзрачнейшее, неслаженное, как на первой репетиции. Седая редкая борода председателя, испуганное, побледневшее личико сестры возбуждали в подсудимом дерзкую веселость. Хотелось распахнуть окна, проветрить это пахнущее затхлой канцелярией помещение, выколотить пыльные сюртуки. Последние политические события в стране свидетельствовали о приходе нового времени. Истекали дни власти этих людей в судейских креслах, тогда как сами они с усердием продолжали играть некогда розданные им роли.

Прокурор, начав с характеристики политической физиономии Российской социал-демократической партии, указал на общность ее программы и теоретических представлений с западноевропейскими социалистическими партиями, подчеркнув, что социалистическая цель, по убеждению марксистов, может быть достигнута только социальной революцией, то есть, в переводе на русский, обыденный наш язык, второй пугачевщиной.

При слове «пугачевщина» сестра подсудимого вздрогнула. Точно кто-то подсказал его прокурору. Разом вспомнились заведение св. Нины, сочинение на тему «Капитанской дочки», страшный сон, рассказанный Варей Каспаровой в Шуше, и волнующий разговор о героях.

Тем временем прокурор остановился на различиях между тактикой западноевропейской социал-демократии, ищущей решения своих задач в завоевании популярности у населения, и российским движением, которое занимается не столько агитацией и пропагандой своих идей, сколько зовет рабочих к учинению бунтов и массовых насилий. Он очень недолго задержался на юридической стороне обвинения, заметив, что самый факт нахождения у подсудимого рукописи прокламации, даже будь она написана не им, уже доказывает его преступную принадлежность к партии. Ни для кого теперь не секрет, продолжал про-

курор с пафосом, ибо речь его приближалась к концу, что Российская социал-демократическая рабочая партия действительно существует, что она имеет свои органы, съезды и представляет собой сплоченную организацию, преследующую далеко идущие цели. Поэтому, сказал прокурор, я не стану официально доказывать, что подпись под листком «Московский комитет РСДРП» — не фикция, не выдумка безумного одиночки, но подпись действительно существующей организации.

Пока прокурор говорил, солнце опустилось ниже, и теперь узкие полосы света рассекали зал. Председательское кресло находилось в тени, но то ли благодаря изначальному дефекту, то ли почти незаметному повреждению в одном из стекол, узкий пучок лучей, причудливо преломившись, делил в большой, недвижный лоб председателя.

Защитник ответил прокурору только с юридической точки зрения, указав на необоснованность обвинения, на неимение в деле прямых улик, свидетельствующих о причастности подсудимого к Московскому комитету партии.

С защитником Ганнушкиным все было заранее договорено, во всяком случае, Богдан указал ему на невозможность касаться таких тем, как неразвитость русского социализма, отрицание социал-демократами насилия, мирный характер социал-демократического учения, движения и т. д., а также ссылок на «вполне естественную увлеченность молодого подсудимого новыми идеями». Подсудимый предупредил своего защитника, что если тот позволит себе высказать нечто подобное, он публично прервет его и заявит, что отказывается от такой защиты. Впрочем, последнее запальчивое заявление оказалось совершенно излишним. Ганнушкин был человеком умным, оказавшим немало добрых услуг социал-демократам на процессах 1905—1906 годов.

Свою заключительную речь — то самое *profession de foi*, о котором столько было говорено в стенах Таганской тюрьмы, — Богдан произнес на второй день, и председатель, надо отдать ему должное, только дважды прервал его в связи с резкими выпадами по адресу прокурора; в остальном же давал полную свободу. В чем крылась причина председательского либерализма — в сочувствии ли к подсудимому или в воздействии на председательский мозг лучей весны 1905 года, так и осталось неизвестным.

— Господа судьи! — начал Богдан Кнунянц, и от долгого молчания его голос показался сестре почти незнакомым. — Прежде всего мне хотелось бы выяснить свое отношение к русскому суду и русскому закону, так как после вчерашних пререканий с председателем у вас могло получиться ложное представление об отношениях социал-демократии к тем или другим государственным установлениям. Мы не анархисты, и наше непризнание коронного суда вытекает не из анархического отрицания государства, а из того специфического характера, который принял наш суд, благодаря полицейскому режиму, царящему в России.

Как вам известно, наши западноевропейские товарищи, ни минуты не забывая, что при буржуазном строе как государство, так и все законы и учреждения, призванные его охранять, носят резко выраженный классовый характер, не только не относятся к этому буржуазному суду так, как это делаем мы, но, наоборот, стараются использовать все законом данные гарантии для ведения своей классовой борьбы и защиты интересов отдельных лиц от чьих бы то ни было посягательств на их права, добытые путем долгой борьбы. Уже одна легальность их политической деятельности ясно показывает, что существующие законы гарантируют им тот минимум условий, при которых возможно без существенного ущерба для интересов пролетариата ведение его освободительной борь-

бы. Совсем другое дело у нас,— продолжал подсудимый окрепшим голосом. — Отрицательное отношение социал-демократии к нашему суду и закону является не чем-нибудь исключительным и только ей свойственным: все сознательные элементы русского народа и так называемого просвещенного общества смотрят точно так же. Мы в данном случае только более последовательны и не делаем компромиссов там, где его делает трусливый либерализм. Припомните, господа судьи, так недавно происходившие банкеты по поводу сорокалетия судебных реформ, припомните вынесенные резолюции, припомните и то единодушные, с каким все русское общество, даже некоторые слои чиновничества, между прочим и из судебного ведомства, заклеили наш суд и наше законодательство,— тогда вам станет ясно, что наш суд не имеет никакого права требовать к себе уважения. У нас ведь, в сущности, нет суда: вместо суда у нас полицейский застенок; происходящее здесь при закрытых дверях так называемое судебное разбирательство — тому доказательство. И законов у нас нет — только административный произвол. Да и не удивительно. В полицейском государстве не может существовать беспристрастного и независимого суда. Чтобы не быть голословным, остановлюсь только на некоторых деталях моего маленького дела. Вчера господин председатель во время допроса смотрителя полицейского дома относительно двух частных писем, отправленных мной из части, между прочим спросил, было ли объявлено подсудимому, что его письма задержаны прокуратурой для того, чтобы иметь материал для экспертизы. Никто ему на это ничего не ответил. Да, господа судьи, я об этом узнал, но только случайно, через девять месяцев, когда просматривал результаты жандармского дознания, а раньше был в приятной уверенности, что письма мои отправлены. Несмотря на то что у жандармов и у прокуратуры были несомненные образцы моего по-

черка в виде поданных по различным поводам заявлений, они сочли себя вправе, не давая мне знать, задержать мои письма, где я давал знать родным о своем аресте. И все это делалось под наблюдением прокурорского надзора, этого блюстителя законов. Маленький, но весьма характерный факт, не правда ли? Сколько внимания к чужой переписке и вообще к правам лиц, попавших в руки нашего правосудия! Или вот еще более характерное обстоятельство. Здесь, на скамье подсудимых, сижу я один: ни прокурор в обвинительной речи, ни свидетели из охранного отделения ни словом не упомянули, что по этому делу было арестовано около сорока человек. Тут были рабочие, студенты и другая интеллигентная публика, которые просидели в тюрьме кто шесть, кто восемь месяцев и были освобождены за недостатком улик. Даже жандармское дознание, столь нетребовательное в вопросах обоснованности обвинений, не могло привлечь их на скамью подсудимых. Спрашивается, за что сидели все эти люди, за что растрчено впустую около семнадцати-восемнадцати лет молодой жизни в тюрьме? И все это делалось и продолжает делаться при содействии прокурорской власти, под наблюдением и под крылышком той самой судебной палаты, которая теперь удивляется, что мы, революционеры, не с должным уважением относимся к ней.

Имейте в виду, господа, что это не единичный случай. Вот вчера вы рассматривали дело Лощинского и других. Подсудимых было четыре человека, а арестовано больше сорока. Или сегодня вы будете слушать дело Крумбюгеля, по которому тоже было задержано несколько десятков лиц. А ведь у нас арестовываются лучшие, передовые элементы рабочего класса, самые живые слои интеллигенции, и все это делается под покровительством закона, на основании точных статей таких-то и таких-то положений!

Неужто вы, господа судьи, будете иметь смелость требовать, чтобы я уважал такой закон или таких его пред-

ставителей, как паша прокуратура? Впрочем, и прокурор не с особенным уважением относится к суду: внимательно вчитайтесь в начальные строки обвинительного акта, где говорится о том, что, по сведениям охранного отделения и по агентским данным, я имел сношения с международной организацией «Искры» и принадлежал к местному комитету партии. Это голословное утверждение делается суду, и в подкрепление не приводится никаких данных; верно, предполагается, что суд должен верить всесильной охранке и ее агентам. Ну разве уважающий себя суд может допускать такие покрытые мраком неизвестности утверждения? И разве уважающий суд прокурор станет повторять перед ним непроверенные заявления шпионов? Нет, господа судьи, ни суд сам себя, ни прокурор суда не уважают. Как же мы можем иначе относиться к такому суду? Наш суд, повторяю, тот же полицейский застенок, где вдали от общественного мнения, под прикрытием строгой секретности производится кровавая расправа с врагами существующего строя. Я уже не касаюсь тех драконовых наказаний, которыми наше уголовное уложение карает так называемые политические преступления: каторга, ссылка, высылка — вот ответ наших судов борцам за свободу. Я уверен, господа судьи, что многие из вас, особенно те, у которых двадцатое число не отняло еще способности разбираться в правовых вопросах, с ужасом читают эти статьи нашего нового уложения.

Упоминание подсудимого о двадцатом числе вызвало легкое оживление в зале. Опершись обеими руками о барьер, Богдан оглядел застывшие фигуры судей, немногочисленную публику, после чего взгляд его задержался на потолке, будто там летали, весело щебеча, ласточки.

— Над нашими законами можно смеяться, — продолжал он. — Против них можно и должно бороться, но уважать их культурный человек не может.

Перейду теперь к тому «преступлению», за которое я оказался на скамье подсудимых и за которое вы собираетесь судить меня. Господин прокурор в своей речи, говоря о найденной у меня прокламации, ни словом не обмолвился о ее содержании и о том, по какому поводу она написана. Видно, ему стыдно было сознаться, что он требует ссылки на поселение за то, что автор прокламации разоблачает военную авантюру самодержавия, это новое преступление перед народом. Но не злая ли ирония, господи судьи, после позорного падения Порт-Артура и гибели русского флота, после ляоянского побоища и мукденского разгрома привлекать на скамью подсудимых человека за то, что он еще в начале войны резко и определенно разоблачал гибельность для трудящихся масс этой преступной войны, указывал на истинного виновника нового несчастья родины и звал всех к усиленной войне против этой бессмысленной войны? Российская социал-демократия, постоянно стоящая на страже интересов пролетариата и с точки зрения этих интересов оценившая политические события, с первых же дней войны (и в этом одна из ее великих заслуг), когда другие слои населения или молчали, или трусливо делали «патриотические» пожертвования, начала агитацию против нее и звала пролетариат требовать мира. Понадобилось более года кровавой бойни с сотнями тысяч человеческих жертв, потребовалось разорение и обнищание всей страны и целый ряд позорных поражений, чтобы и другие слои осознали всю преступность этой войны и примкнули к требованию организованного пролетариата о немедленном ее окончании. Думаю, не ошибусь, если скажу, что теперь все сознательные элементы нации, вся интеллигенция и вся печать в один голос обвиняют наше правительство в этой бессмысленной аванюре и во всех ужасах пережитых поражений.

В каком же положении находитесь вы, господа судьи, собирающиеся судить меня за то, что требует теперь весь

народ, за что на скамью подсудимых нужно привлечь все культурные элементы нации? Странное положение, но правда ли? Но еще более странным покажется собственное ваше положение, если вы присмотритесь к сущности обвинения. Одной из ближайших задач Российской социал-демократии является борьба с существующим политическим режимом в целях замены самодержавия правовым строем, основанным на последовательно проведенном демократизме. Вот за эту политическую задачу нашей партии вы, господа судьи, и привлекли меня на скамью подсудимых. Господин прокурор с особым старанием подчеркивал последние призывные строки прокламации, копчущейся возгласом «Долой самодержавие!». Но кто же теперь не кричит: «Долой самодержавие!»? Есть ли хоть один честный человек у нас на родине, который не понимал бы, что только уничтожение самодержавия выведет нашу страну из того тупика, в который вогнала ее хищническая политика бюрократии, и даст толчок дальнейшему развитию ее культурных сил? Вспомните, как недавно на многочисленном Пироговском съезде врачей единогласно была принята резолюция о необходимости немедленного созыва Учредительного собрания, как зал Консерватории, даже по отчетам «Московских ведомостей», дрогнул от криков «Долой самодержавие!». Вспомните, что происходило за последние месяцы во всех городах России, и тогда вы поймете, что теперь вся Россия одержима непреодолимым желанием поскорее свергнуть этот присосавшийся к народному организму, ненавидимый без исключения всеми варварский режим, чтобы дать творческим силам нации свободно создать новые политические формы, более отвечающие ее потребностям.

Мы находимся накануне грозных, великих событий. После геройского выступления петербургского пролетариата, после всероссийских революционных стачек, после единоподушного протеста — забастовки студентов всех выс-

ших учебных заведений, после непрекращающихся аграрных волнений, наконец, после движения, охватившего различные слои инертного до того времени образованного общества, ни для кого не тайна, что дни самодержавия сочтены. Через месяц-другой грозная волна народной революции окончательно сметет этот пережиток нашего варварского прошлого. И какой же смысл имеет, господа судьи, весь этот ваш суд?

В то время, когда вся страна охвачена революционным пожаром, вы вырываете из среды народа случайно попавшего вам в руки человека и с серьезностью, достойной лучшего применения, творите над ним суд. Ведь если бы вы были последовательны, вы должны были бы привлечь на скамью подсудимых весь русский народ, и сотни тысяч пролетариев, требующих созыва Учредительного собрания, и десятки тысяч интеллигентов, поддерживающих это их требование. Но большой вопрос, кто тогда оказался бы подсудимым, а кто судьей. А пока что вам не мешало бы задуматься над тем, что вы собираетесь делать. Однако не в этом одном трагизм положения нашего суда, но еще и в том, что, призванный стоять на страже наших варварских законов, он не в силах ни защищать их, ни применять... Наш суд не имеет уверенности, что те приговоры, которые он выносит, могут быть выполнены и что вся его работа не сделается пустой тратой времени. Возьмем хотя бы мое дело: по точному смыслу статей 126 и 129, по которым прокурор меня обвиняет, я должен быть выслан или в каторгу до восьми лет или в вечную ссылку на поселение. Но не смешно ли, господа судьи, говорить теперь о таких приговорах? Разве кто-нибудь из вас может серьезно думать, что самодержавие продержится не только восемь, но даже один-два года? Не злой ли иронией звучит требование закона сослать на вечную ссылку, когда никто из вас за завтрашний день ручаться не может? Вся Россия бурлит и кипит; не сегодня-завтра пи от

старого правительства, ни от всего хлама судебных постановлений и приговоров ничего не останется, и те, кто теперь сидят на скамье подсудимых, окажутся тогда одним из энергичных деятелей молодой России. Как же вы, господа судьи, можете серьезно заниматься вынесением бумажных резолюций? Согласитесь, господа, что уже давно прошло то время, когда можно было наивно мечтать, выравнивши из народа отдельных борцов за свободу, остановить революционное движение. Теперь весь народ стал революционером, а народ еще ни один суд не осмеливался судить. Такие суды кончаются обыкновенно очень плачевно для судей.

Оратор сделал паузу, чтобы перевести дух. Его взгляд встретился со взглядом неотрывно глядящей на него сестры.

— Теперь несколько слов о той части речи господина прокурора, — продолжал обвиняемый, — где он старался дать политическую характеристику нашей партии. Он был, безусловно, прав, указывая на интернациональный характер нашей программы и всего нашего мировоззрения. Он верно наметил и основную нашу цель — социализм, и единственный путь к нему — социальную революцию, к которому, по нашему глубокому убеждению, ведет все развитие нашей хозяйственной жизни. Мы уверены, что не путем социальных реформ, не путем частичных улучшений в буржуазном строе пролетариат может достигнуть социализма, а только непримиримой борьбой с самой основой этого строя — частной собственностью на орудия производства и что только с переходом последних в руки всего народа будет положен конец эксплуатации одних слоев населения другими. Идея социальной революции, по вполне понятным причинам, преломилась в прокурорском сознании в призыв к убийству всех фабрикантов, банкиров, к разгрому частных владений и т. д. Здесь не место вести с прокурором академический спор,

но я советовал бы ему, если он этим интересуется, для верного понимания взглядов социал-демократии на социальную революцию прочесть известную книжку Каутского «Социальная революция и социальная реформа».

Но интереснее всего то, что достаточно было прокурору оставить международный социализм и перейти через русскую границу, чтобы он заговорил совсем иным языком. По его мнению, социальная революция в применении к русским условиям оказывается не чем иным, как второй пугачевщиной. Конечно, требовать, чтобы прокурор был особенно сведущ в истории политических движений, мы не можем. Но такое невежество непростительно вообще интеллигентному человеку. Смешивать стихийное движение, выросшее на почве специфических условий жизни русского казачества, с сознательным движением пролетариата в резко дифференцированном буржуазном обществе мог только человек, для которого достаточно чисто внешнего сходства, вроде того, что то и другое движение носит массовый характер и направлено против правительства и власть имущих, чтобы делать свои прокурорские выводы. Несерьезность этого сравнения так очевидна, что долго останавливаться на нем не стоит.

Господин прокурор, видно, знал, что даже стены этой залы покраснели бы, если б мы начали перечислять все преступления царизма против рабочего движения. Припомните, господа судьи, происходившие недавно стачки полутораста тысяч рабочих в Петербурге и двухсот тысяч углекопов в Рурском округе в Германии. Сравните, как прошли та и другая стачки, начавшиеся одинаково на экономической почве. В то время как рурская стачка прошла спокойно, без жертв, петербургская с неизбежной исторической необходимостью должна была превратиться в грандиозную политическую демонстрацию, кончившуюся тысячами убитых и раненых. Задумайтесь над этими стачками, и вы поймете ту страстную жажду, с



какой рабочий класс добивается политической свободы, поймете ту силу, которая толкает его на все жертвы. В пределах абсолютизма пролетариат не может вести своей классовой борьбы за социализм. Он уже не раз показывал всю свою ненависть к самодержавию, и недалек тот миг, когда во главе всех оппозиционных сил страны он сметет с себя эту историческую ветошь.

Как и всегда бывает в подобных случаях, господин прокурор и теперь не мог не коснуться в своей речи моей национальности. Видно, такова уж прокурорская тактика. Стоит ли мне говорить, господа судьи, о том, что для нас, социал-демократов, национальные различия не играют никакой роли. В прокламации, найденной у меня, есть указание, как наши японские товарищи отнеслись к войне. Не лучшее ли это доказательство, что в оценке политических событий национальное происхождение социалиста никакого влияния не имеет? Не знаю, что хотел сказать своим указанием прокурор. Во всяком случае, человек, хоть сколько-нибудь знакомый с социалистической литературой, не должен был бы касаться этого вопроса.

Я кончаю. Не могу напоследок, господа судьи, не указать на всю несообразность того, что вы собираетесь делать. Вы беретесь судить революционера в то время, когда на дворе революция. Вы беретесь защищать режим, который историей осужден на гибель.

Судите же, господа судьи, а нас с вами революция рассудит!

ГЛАВА XIV

11 апреля 1905 г.

Анне Аваковне Исаханянц

Москва, Столешников пер., дом Корзинкиной, кв. 20

Дорогой Богданчик. Сейчас получила от тебя телеграмму. Неужели ты свободен? И неужели совсем? Я просто очумела от радости и, главное, от неожиданности. Хотела тебе, в свою очередь, послать телеграмму, чтобы узнать поскорее подробности, но не знаю, где ты находишься, да и вообще боюсь, как бы не оказать медвежьей услуги.

Пиши скорее, как ты думаешь сейчас быть. Освобожден ли ты и от первого наказания или должен ехать в ссылку? Приедешь ли ты сюда? Я думаю, это очень возможно, так как ты можешь получить мандат. Вообще, пиши скорее. Я ничего пока не предпринимаю. Говорят, ЦК уже порвал с Советом...

Мой адрес: Париж, ул. Аббэ де л'Эпэ, 6, Северная гостиница, г-же Гургеньевой.

Текст этого письма, как и все остальное сохранившееся от переписки Богдана Кнузянца и его жены, дошел до наших дней исключительно благодаря бдительности и усердию российской полиции, ее профессиональному пристрастию к переписыванию чужих писем, «полученных агентурным путем». Таким образом, охранке суждено было сыграть в конце концов не вполне свойственную ей роль хранительницы революционных и отчасти семейных реликвий. Только полиция и сохранила — все остальное сгорело в Шуше во время армяно-татарской резни 1920 года.

Вместо восьмилетней каторги или вечной ссылки, предусмотренных положениями статей 126 и 129, Богдан Кнузянец был приговорен к четырехмесячному заключению в

крепости. Не отсидев по окончании суда и пяти дней, он был выпущен под залог трехсот рублей, собранных товарищами. Это составляло одну пятую того, что требовали за него три года назад, арестованного в связи с бакинской первомайской демонстрацией. То ли цены на революционеров резко упали, то ли невиданно возрос курс золотого рубля, то ли так сильно подействовал на судей *profession de foi*, что они решили поскорее избавиться от языкастого заключенного. Так или иначе, 5 апреля 1905 года Богдан оказался на свободе.

Тогда, после неправдоподобно теплых для Москвы дней ранней весны, вдруг резко похолодало, так что приходилось одеваться во все зимнее. Мгновенное опьянение, радостное ослепление свободой быстро прошло. Он чувствовал себя точно после тяжелого сна, наполненного беспорядочными видениями, или как после долгого плаванья — па берегу. Пошатывало, клонило в сон, хотелось куда-то ехать, идти, но не было сил. Недели две после освобождения он еще оставался в Москве, ждал ответа от Лизы на отправленную ей телеграмму.

Он не мог потом припомнить ни одного события тех двух недель. Осталось лишь стыдливое чувство словесной избыточности — что-то вроде отравления словами. Он думал: может, вместо выступления следовало написать, опубликовать? Что толку в речи, обращенной к кучке лиц, не способных понять тебя?

Хотелось вспомнить хотя бы основные события, а вспоминались лишь ощущения. С помощью древней науки истории и новейшей — геронтологии я искал потерянного во времени родственника на перекрестках чужих судеб, на пересечениях с собственной судьбой. Может, уже тогда, в 1905-м, Богдан пытался опробовать на себе препараты, синтезированные в пилиценковской лаборатории? В таком случае стали бы понятными провалы в памяти, но вопрос о том, где кончается «он» и где начи-

наюсь «я», все равно продолжал бы оставаться открытым.

Геропротекторы прежде всего парализуют память. Человек вываливается из времени, как из открытой двери вагона идущего поезда. Или как парашютист из самолета.

Пытаюсь вспомнить и вспоминаю, что многое в той далекой жизни было не таким, каким представляется сегодня тем, для кого прошлое — лишь свод хрестоматийных примеров из истории.

Я продолжаю благословенной памяти лабораторные изыскания, начатые восемьдесят лет назад в стенах петербургского Технологического института, химическим путем превращаю жидкие вещества в твердые, бесцветные — в окрашенные, нейтральные — в активные, способные к свободнорадикальным превращениям вещества.

Здесь будет нелишне заметить, что «ловцы свободных радикалов», то есть вещества, обладающие свойствами геропротекторов, продлевающих жизнь мухам и мышам, удлиняют также век неодушевленной материи — масел, полимеров, мономеров и проч., которые в не меньшей степени, чем люди, мыши, мухи, стареют и погибают под действием света, воздуха и тепла.

Это обстоятельство, отчасти смыкающееся с левекиновско-цейтбломовскими соображениями «об осмосе» и о «живой капле», служило лишним свидетельством в пользу единства всего сущего. Я испытывал потребность в художественном методе, который позволил бы соединить в одно целое живую и неживую материю, бывшее и настоящее, текущие события дня и великие исторические даты. Именно таким виделся мне будущий «героптологический» роман.

С подобными представлениями тесно смыкалось беглое упоминание Ивана Васильевича о жизни как о своего рода безбрежном океане, где рядом с гребнем соседствует провал, где волны, непрестанно меняя свою высоту и форму, взаимодействуют друг с другом, порождают, поддер-

живают и отрицают друг друга. Будущее сообщается о прошлым через настоящее, и вечный двигатель — жизнь, пульсируя то там, то тут, перебегает огнем бикфордова шнура от поколения к поколению.

В середине апреля пришло письмо от Лизы. III съезд партии, получение мандата на который Лиза считала безусловно возможным, уже начался в Лондоне. Получил ли Богдан тот мандат, неизвестно. На съезде его, во всяком случае, не было, хотя его там ждали. Руководящий заседаниями съезда Ленин во время выступления очередного оратора записал своим быстрым, бегущим почерком фамилии основных агитаторов от ЦК: «1. Рубен (Кнунянц), 2. Лядов, 3. Бельский (Красиков)».

17 апреля отдельным оттиском нелегальной большевистской еженедельной газеты «Вперед», издававшейся в Женеве, была опубликована речь Богдана Кнунянца на суде в записи защитника Ганнушкина. Отдельными брошюрами ее издали Бакинский, Московский и другие комитеты партии. Потом переиздали на многих языках.

В это время Богдана в Москве уже не было. Он отправился в Петербург с надеждой повидать сестру, которая тотчас по окончании судебного заседания вернулась в столицу. Вот что пишет в своих воспоминаниях ровесница упомянутого в связи с рассуждениями о «живой капле» Адриана Леверкюна и в некотором роде его антипод — моя бабушка.

«Через неделю после возвращения из Москвы я была арестована по обвинению в организации боевых дружин. Попалась я совершенно случайно, лишь потому, что несла слишком тяжелый груз и не смогла, как обычно, маневрировать при виде шпика — подняться на конку или быстро скрыться в первом попавшемся проходном дворе. Находилась я в это время на Загородном проспекте. Ничего другого не оставалось, как зайти к Арусяк Сагиян, сни-

мавшей комнату как раз на Загородном. С трудом взобралась на третий этаж. Шпик, видно, поднялся за мной и узнал, куда я занесла груз. Когда после ареста я оказалась в Литовском замке, то встретила там бедную Арусяк, которую так подвела. Давясь слезами, рассказала она, что вечером к ней пришли с обыском и нашли ящик со снарядами. На первом же допросе я решила сознаться, чтобы выволить Арусяк, но старые, опытные партийки, с которыми я оказалась в общей камере уголовной тюрьмы, отсоветовали. Сказали, что ее, мою знакомую гимназистку, и так скоро выпустят, убедившись, что она не имеет никаких организационных связей. Так оно и случилось, Арусяк выпустили, а меня перевели в одиночку Дома предварительного заключения, где была великолепная библиотека, составленная из книг заключенных, преимущественно экономического и политического характера. Я читала с раннего утра и до поздней ночи.

Недели через три после ареста мне в камеру передали роскошный букет роз и коробку конфет. По почерку на записке, где было указано только, кому предназначается передача, я поняла, что это от Богдана.

Значит, он был на свободе!

Я почему-то сразу решила: отпустили на поруки, хотя после речи на суде его освобождение могло показаться невероятным. Недаром Шаумян в начале мая 1905 года писал Ленину: «Известно ли Вам, что Русов (Кнупянц) с каким-то товарищем бежал из тюрьмы и находится уже за границей? Мы сегодня получили от него карту из пограничного немецкого городка, в который он просит послать паспорта».

Тем временем Русов прибыл в Женеву. Как резко переменилась вдруг его жизнь! Позади остались московская слякоть, петербургский промозглый ветер, неуклюжесть и громоздкость российского беспокойного существования. Бледный, отощавший за время отсидки в тюрьме, он очу-

тился под ярким солнцем, среди зелени, чистых улиц и простых, аккуратных строений.

Казалось, что долгожданная встреча с Лизой выльется в нескончаемые разговоры. Однако многое они уже сказали друг другу в письмах. Многое, о чем хотелось сказать, перегорело, устарело, потеряло смысл. Лизу продолжала угнетать ее собственная без вины виноватость за то, что все это трудное время она находилась вдали от мужа. То и дело возникало неизвестно откуда взявшееся ощущение недоговоренности, стесненности.

— Ведь мы, Богданчик, не принадлежим себе, — прозвучало как запоздалое оправдание.

Обрывочные фразы, мимолетные рукопожатия, долгие объятия. Они словно блуждали впотьмах в поисках двери, которую не удавалось нащупать. Был забыт какой-то простой секрет, и они мучительно пытались вспомнить его.

Может, просто отвыкли друг от друга?

Дверь, ключ, секрет. Между ними словно бы возникла жесткая перегородка. Как идеально упругие шарики, с помощью которых на лекциях в Технологическом объясняли поведение газов и жидкостей, они приближались друг к другу, отталкивались, снова сближались. Что-то произошло за время разлуки: они вышли из поля сил взаимного притяжения, научились обходиться друг без друга, перестали быть одним целым.

Долгие совместные прогулки утомляли его. Он все чаще ловил себя на мысли, что хочет остаться один.

— Лиза, милая, может, вернемся?

Пустые, незначительные, поверхностные какие-то слова, а там, на дне души, осела тяжелая, непроходящая усталость. Он впервые познал это чувство, которое пришло на смену почти беспечной легкости.

Ночами они подолгу молча лежали рядом с открытыми глазами. Каждый сам по себе. Все желания были задушены, погашены.

— Ты меня больше не любишь, Богданчик?

Он смеялся, целовал ее в шею, тыкался бородой в плечо. Утром, открыв глаза, видел полный свет за окном, и на какое-то мгновение завеса, отделяющая его от прежнего, дотюремного восприятия жизни, чуть приподнималась. Пытаясь прыгнуть в образовавшуюся щель, он всякий раз натывался на непреодолимое препятствие и после бесплодных попыток чувствовал себя еще более опустошенным.

Спасала работа. Занятый делом, он вновь ощущал себя той необходимой деталью, без которой огромная машина не могла бы нормально работать, той добавкой, без которой протекание химической реакции грозило затянуться на неопределенный срок. Но основные дела ждали дома, в России. Так случалось всегда: главное неизменно перемещалось в будущее. Он, как и его товарищи, принадлежал к людям, которые живут будущим, верой в будущее, надеждами на будущее. Его поезд шел по железнодорожным путям, которые сливались вдаль в острый угол, проектировались в точку, и сколько ни прибавлял скорости — точка не приближалась. Еще недавно стремился сюда, в Женеву, чтобы отсюда спешить в Россию.

Требуется уточнение: мой протагонист стремился на Кавказ, куда уже отправился старый друг Миха Цхакая. В Женеве они разминулись на несколько дней. Приехав с Лениным из Лондона, Миха тотчас уехал в Тифлис. Примерно в это время, то есть сразу после III съезда, Кнунянца кооптировали в состав ЦК.

С возвращением Богдана в Россию связано еще одно несовпадение. В день их с Лизой приезда в Петербург сестру Фаро выпустили из тюрьмы и с проходным свидетельством выслали на родину, в Шушу. Она должна была покинуть Петербург в течение двадцати четырех часов, так ничего и не успев узнать о брате. Богдану же удалось только узнать, что сестры в Петербурге нет.

Честно говоря, я не очень представлял себе, что такое проходное свидетельство, и, приступая к сбору материалов для написания главы, которую с полным правом можно было бы назвать главой о «пересечении непересекающихся путей», попросил объяснений у бабушки.

— Отбирали паспорт, — сказала бабушка, — давали справку. Нужно было садиться в поезд и ехать в направлении высылки до ближайшей станции, указанной в справке. Там в полиции давали следующую справку. И так до самой Шуши.

Иногда мне снится, что записи и рассказы бабушки являются запрудой обмелевшей реки времени, где скапливается изрядное количество воды и где мне удастся выловить то немногое, что сохранилось от живых следов ее брата Богдана и от меня самого. Их можно, пожалуй, сравнить также с цилиндром, из которого фокусник извлекает сначала цветные платки, потом аквариум с рыбками, затем бильярдные шары, голубей и, наконец, живого зайца.

— Добравшись до станции Евлах, — рассказывала бабушка, — откуда надо было ехать на лошадях, я узнала, что в Шуше беспокойно, дорога опасная, ехать женщинам-армянкам никак нельзя, да и возницы дилижансов отказывались отправляться в путь. «Шуша, — говорили, — накапуне погрома». В Евлахе я встретила Сатеник Торосян, знакомую учительницу из Баку. Возвращаться ей в Баку не хотелось, а мне не было никакой возможности возвращаться. На наше счастье, к нам присоединился русский почтовый чиновник из Баку. Его одного не хотели везти — не выгодно. Он тоже был рад, что нашел попутчиков.

В это время на дорогах бесчинствовали банды татарских националистов. Собственно, это были азербайджанцы, но тогда их называли татарами. Нас спасло лишь присутствие попутчика — высокого крепкого россиянина, за спиной которого мы каждый раз прятались при встрече

с людьми. Густые вуали, якобы от пыли, также сыграли спасительную роль. Несколько раз, когда дилижанс останавливали, попутчик выдавал нас за членов своей семьи. Знакомые и родные в Шуше были поражены, как это мы в такое тревожное время осмелились проехать по Евлахскому тракту.

Через день после нашего с Сато приезда в Шушу началась армяно-татарская резня: поджоги, пожары в центральной части города. Пожар уничтожил городской театр, городские училища (уцелело только реальное), магазины, лучшие многоэтажные дома. Огонь шел все дальше. Больница Джамгарова на двадцать коек была переполнена. На второй день в ней находились уже двести тяжело раненных армян. Люди со своим скарбом в пакете бежали наверх, к домам нагорной части.

В городе была небольшая социал-демократическая организация, группа приехавших на каникулы студентов, несколько инженеров-дачников. Собравшись в летнем клубе — наиболее удаленном от пожаров месте, — стали думать, что делать. Нужно было как-то спасти положение.

Предлагали всякое. Но тут кому-то из старожилов пришла в голову мысль запугать фанатиков-тюрок, бесчинствующих при попустительстве городских властей и местного военного гарнизона.

Во дворе женского армянского монастыря стояла старинная чугунная пушка на колесах. Эту пушку и решили пустить в дело. В инициативную группу вошли два знающих инженера, несколько студентов и три человека из местного социал-демократического комитета. План наш мы тщательно скрывали. По возможности незаметно, глубокой ночью пушка была поднята на самую высокую точку шушинской горы. Перед тем по всем армянским дворам, не говоря, для чего, мы собрали изрядное количество пороха, гирь от весов и прочего, необходимого для снаряжения пушки. На четвертый день резни ранним утром с

вершины горы загремела пушка. Внизу, в татарской части города, началась паника. Там, видно, решили, что к армянам откуда-то подоспела подмога. Не разобравшись, в чем дело, муллы, которые накануне шли с кораном в руках, благословляя бойню, подняли белые флаги. Стрельба прекратилась. Началось перемирие.

Об этой нашей затее с пушкой мы никому не рассказывали, боялись, что слух дойдет до татарской части города и до полиции.

По окончании резни в течение двух недель вместе с другими товарищами — доктором Сако Амбарцумяном, Карабекяном, Даниелбеком, Калантаровым, Шахгельдяном — я помогала пострадавшим от пожаров семьям. Это были кошмарные дни и ночи. У нас в доме ютилось более двадцати семейств. Мы с матерью готовили им еду, ухаживали за ранеными. Отец застрел в одной из татарских деревень в Кюрдамире, и мы не знали, что с ним. Только спустя неделю после окончания резни он явился, рассказав, что его по старой дружбе спрятал у себя крестьянин-татарин, а потом невредимым доставил домой.

В сентябре я получила от Лизы письмо из Тифлиса, в котором она предлагала срочно выехать к ней. В Тифлисе, писала она, для меня приготовили удобный паспорт и два постоянных урока. Эти уроки вела она, но перед внезапным отъездом на север договорилась передать их мне. Я буду получать сто рублей и смогу помогать родителям. С группой студентов я добралась на лошадях до Елизаветполя, а оттуда поездом до Тифлиса.

Теперь уже не могло быть сомнений, что именно впечатления первой армяно-татарской резни в Шуше и политические взгляды Богдана, достаточно определенно выраженные им в выступлениях на пятом, восьмом, шестнадцатом и ряде других заседаний II съезда партии, а также его статьи «Причины непрерывных рабочих стачек в

Баку», «Новый разбой» и особенно «Некоторые вопросы нашей тактики и организации» заставили впоследствии бабушку не только в печати и на собраниях многократно высказываться по национальному вопросу, но также кричать и топтать на меня ногами после той давней, ставшей притчей во языцех истории избияения Цисмана.

Тем временем, если судить по часам Богдана, лишь по моей вине отстающим от часов Фаро примерно на месяц, он со своей женой Лизой благополучно добрался до Тифлиса. На конспиративной квартире Серго Ханояна они встретились с Миха Цхакая, и встреча эта была столь теплой, если не сказать горячей, что все присутствовавшие на ней вновь увидели молодого, смеющегося Богдана, который, обняв Миха, кружился с ним по комнате в порыве бурной, неумемной радости. Будто не было никакой разлуки, долгих месяцев, проведенных в тюрьме. Они целовались и чуть не плакали. А потом до конца дня и весь вечер говорили о Лондоне, о Женеве, о парижском Лувре, о Нике Самофракийской и о Тернере, чей будоражающий воображение фантастический реализм запал в душу Богдана с первой поездки в Лондон в 1903 году.

Эта встреча произошла, видимо, как раз в те дни, когда бабушка, находясь в Шуше, предавалась марциальным запятиям с чугунной пушкой на колесах, стоявшей во дворе женского монастыря.

Вплоть до отъезда из Тифлиса по делам ЦК, вместе с Прокофием Джанаридзе, Миха Цхакая, Степаном Шаумяном и Суреном Спандаряном Богдан Кнунянц трудился в издававшейся на трех языках газете «Борьба пролетариата». Писал, редактировал. Но и полиция не дремала — продолжала писать и редактировать те бумаги, которые писать и редактировать ей было поручено.

«...По вновь полученным агентурным сведениям, Джугашвили был известен в организации под кличками «Сосо» и «Коба», с 1902 года работал в социал-демократи-

ческой организации... как пропагандист и руководитель I района (железнодорожного) в Тифлисе. Упомянутый в письме Гурген (старик Михо) — бывший учитель Михаил Григорьев Цхакая — издавна принадлежит к числу серьезных революционных деятелей, являясь центральной личностью среди националистов и местной социал-демократической организации. При ликвидации 6 января 1904 г. Тифлисской социал-демократической организации был застигнут во время обыска вместе с известным революционным деятелем Богданом Кнунянцем в квартире Аршака Зурабова.

После раскола 17 января 1905 года в Тифлисской социал-демократической организации Цхакая примкнул к фракции «большинства» и 17 июля был на сходке «большевиков» в квартире Бориса Леграна».

«23 августа. Богдан Мирзаджан Кнунянц. Бывший член комитета Московского (привлекался и судился, отбыл наказание); теперь здесь принимает близкое участие в местном комитете «большинства».

Певучий стиль полицейской прозы заставил меня задуматься о той почти библейской интонации, в которой начинал Иван Васильевич свое новествование. Видимо, он намеревался написать нечто вроде жития, построить замкнутый четырехзвенный цикл, устойчивый в силу взаимного притяжения противоположно заряженных сторон: священник Тер-Месрон — его сын, бунтарь Иване — непамятливый церкви и почитатель всевышнего неистовый Мирзаджан-бек — и, наконец, химик-революционер Богдан Кнунянц. Замыкание неоподатливой исторической линии в квадрат можно было осуществить только таким образом, ибо последующие поколения в силу ряда почти не зависящих от них обстоятельств выпадают из этой геометрической фигуры, в которой Богдан оказывается непосредственно сочлененным со своим прадедом, нотомственным священником.

Перед отъездом Богдана из Тифлиса чета Кнуляпцев отправилась к ювелиру на Головинский проспект. Вопреки насмешливым возражениям мужа, Лиза во что бы то ни стало хотела сделать ему подарок перед разлукой.

— Можно подумать, что мы расстаемся навсегда.

— Хочу, Джаник, чтобы ты всегда обо мне помнил. Пусть это будет талисман.

— От чего он должен меня уберечь?

— От тюрьмы, болезней и, конечно, от других женщин.

— Женщины угрожают скорее Саше Бекзадяну, чем мне.

Посмеялись. Долго стояли у витрины. Лиза разглядывала выставленное под стеклом.

— Зачем, Лиза? Запонки, закладки. Ей-богу...

Армянин за прилавком терпеливо ждал.

— Покажите это, — обратилась Лиза к продавцу, указав на серебряную коробочку.

— *Porte-monnaie*, мадам?

Лиза кивнула, припала из рук ювелира игрушку, нажала кнопку. Серебряный кошелек открылся. Внутри он был отделан карминово-красным шелком; две толстые расходящиеся перепонки придавали ему сходство с пастью диковинной морской рыбы. Он был гладок, тяжел, и створки смыкались так же плотно, почти не оставляя шва, как раковина живого моллюска.

— Это портмоне подошло бы барышне.

— Ты можешь держать в нем деньги.

— Лучше я запрячу под эту подкладку прокламации, — шепнул он ей дурашливо. — Или вот!

Он достал бумажник и извлек из него небольшой плоский пакет.

— Что это?

— Память о давних занятиях химией. То, что внутри, я сам получил когда-то из нефти. Все думал: попадобится. Авось, пригодится и в самом деле. Смогу же я когда-ни-

будь возобновить свои химические опыты,— печально пошутил он и опустил пакетик в жаркое путро кошелька.

Лиза расплатилась, попросила не заворачивать и потянула Богдана к граверу, который сидел тут же, в соседней лавочке.

— Уж это совсем ни к чему,— пробовал сопротивляться он. — Хочешь снабдить меня паспортом для полиции?

— Не беспокойся, Богданчик, я все продумала. Он вырежет только две буквы — Б и Е или Е и Б — как хочешь. А еще лучше, пусть будет буква в букве. Поди догадайся.

Он послушно следовал за ней.

— Богданчик, милый, что с тобой? Ты не рад подарку? Где ты? Ты ведь сейчас не со мной. Или... тебе неприятно тратить на пустяки столько времени? — спросила она, и губы ее чуть дрогнули.

Он обнял ее, привлек к себе.

— Встрече с Миха ты куда больше обрадовался.

— Ну вот, пошли упрёки. Хотя обижаться должен я: ты не проявила никакого интереса к моим занятиям химией.

— Пожалуйста, расскажи что-нибудь еще о том пакете. Открой его.

— Не подлизывайся.

— Ты стал невыносим. Сейчас же покажи, что там у тебя.

— Смотреть не на что, вроде толченого мела.

— Ты же сказал — из нефти.

— Собственно, в колбе я получил небольшие кусочки, и только малую часть растер в ступке. Пакетик не вызвал особых подозрений, а все остальное отобрали при очередном обыске. Если спрашивают, я говорю, что это порошок от головной боли. Проверять — большая волянка.

Они шли по Головинскому проспекту, обгоняя гуляющую публику. Валяжный летний Тифлис был преиспол-

нен того холеного изящества, каким всегда отличался в это время года. Богдан рассеянно оглядывал прохожих. Навстречу шел красивый русский парень в университетской тужурке. На какое-то мгновение Богдан задержал на нем взгляд. Высокий лоб, выразительно очерченные губы, большие внимательные глаза, как бы тоже на мгновение выхватившие из толпы небольшую фигуру бородастого карабахца, показались ему знакомыми. Пожалуй, они где-то встречались. То ли в Баку, то ли в Петербурге.

Их взгляды пересеклись.

Я хочу остановить этот миг, в котором затаилась моя судьба и судьба будущей книги. Высокий русский студент, идущий по Головинскому проспекту, и семейная пара навстречу. Нога двадцатилетнего студента, которому суждено стать другим моим дедом, замерла в воздухе. Еще мгновение — и он завершит свой шаг навстречу будущему, в котором встретимся все мы: он, я, Лиза Голикова, двоюродный дедушка Богдан, бабушка Фаро, дедушка Федя, прабабушка Сона и прадедушка Мирзаджан. Все мы получим приглашение на эту встречу.

«Кажется, в прошлом месяце вместе с Миха мы устраивали в его квартире собрание», — мимолетно подумал Богдан, тогда как уже другие прохожие попадали в поле его зрения, проплывая, как тени по стеклу, не оставляя следа. А Лизе казалось, что он ее больше не любит. Холодным стал, равнодушным, чужим, и бог весть, в чем причина такой перемены.

«Пусть бы уж скорее уезжал, — подумала она. Щемящее чувство тоски, отягощенности чем-то неведомым навалилось на будущую мать дядюшки Валентина. — Ведь это тюрьма его таким сделала. Пужно быть милосердной, понять, помочь...» Она с силой прижала к себе локоть мужа. Он обернулся, и вопросительная улыбка застыла на его лице.



Для массовки не хватало фигур. Для массовости. Масовитости. Слишком уж мало осталось живых следов. Сокрушающе мало. Поэтому поначалу я составил нечто вроде плана заговора, в котором должны были принять участие придуманные мной люди.

Потом раздумал и не стал вводить вымышленных фигур, по-прежнему опираясь лишь на бабушкины записи и рассказы.

«У Лизы в Тифлисе,— продолжала бабушка, смыкая наконец время своего повествования с нашим, Богдана и моим временем, оторвавшимся ненароком, как звук от реактивного самолета, а теперь соединившимся с ним,— к величайшей своей радости я застала Богдана, который приехал ненадолго по делам ЦК и вновь уезжал через несколько часов. Он был очень взволнован. Лиза была вся в слезах».

Только в одном месте записок я наткнулся на странное слово «лизисты», непосредственно связанное с вызовом бабушки в Тифлис и со слезами жены брата.

«Разобрав так называемое дело «лизистов», в котором был замешан и Сурен Спандарян,— пишет бабушка непримиримым тоном, который всегда сопутствовал ее суждениям об идеологических шатаниях даже близких людей,— и приняв сторону Тифлисского комитета, а не «лизистов», Богдан настоял на немедленном отъезде жены из Тифлиса».

Что же произошло?

За время жизни в Тифлисе Лиза организовала группу, потребовавшую от Тифлисского комитета признания ее самостоятельности. «Имеем от 8 до 10 кружков,— писала она в Женеву.— Налаживается у нас техника». Далее организатор группы «лизистов» Лиза Голикова-Кнунянц жалуется на нежелание Тифлисского комитета признать

ее. «Для разбора возникшего в Тифлисском комитете конфликта ЦК большевиков направил в Тифлис Богдана», — пишет бабушка, как бы забывая, что речь идет о поездке мужа к жене, или принципиально не желая принимать во внимание это обстоятельство. У меня складывалось впечатление, что всякое обвиняемое в политической ошибке или шатаниях лицо окружалось в бабушкиных записках ледяным холодом отчуждения, будто уже одно это служило надежным сигналом тревоги, по которому одновременно отключались все положительные эмоции рассказчика.

«Лизисты» настаивали на большем демократизме со стороны Тифлисского комитета, более широкой информации о партийных делах для широких масс населения. Продолжался извечный спор. Проблема, замкнутая в треугольник: стратегия — тактика — политическая платформа, — порождала дилемму: демократия или авторитария. Противоречия между задачей сегодняшнего дня и перспективой развития, между желаемым и возможным, необходимостью свершения и лучезарным замыслом по-прежнему не снимались с повестки дня.

«Расспросив о шушинской жизни, Богдан перед самым своим отъездом написал письмо тов. Миха (Цхакая), рекомендуя меня как опытную, бывалую партийку. Вскоре уехала в Петербург и Лиза, передав мне свои уроки у Сафаровых — владельцев магазинов готовой верхней одежды в Тифлисе и в Баку, а также паспорт на имя Эммы Саркисян».

Вот и все. Больше нет никаких свидетельств, относящихся ко времени пребывания Богдана на Кавказе после его возвращения из Женевы. Лучше сказать: нет никаких объективных, достоверных, исторически выверенных свидетельств.

В бумагах Ивана Васильевича я обнаружил несколько склеенных и многократно сложенных из-за своей непо-

мерной длины листов с текстами, так или иначе касающимися событий осени 1905 года. Как раз в это время на Кавказе начались армяно-татарские столкновения. В тифлисской городской думе состоялся митинг передовой общественности, посвященный предотвращению резни. Во время митинга в зал думы ворвались казаки и устроили кровавую бойню. Этот день называли кавказским 9 Января. Зал городской думы, двор и прилегающие к ней улицы окрасились кровью жертв. Был ранен Мелик Меликян, известный под кличкой «Дедушка». Погибло более сорока человек. Около шестидесяти человек получили пулевые ранения.

Армяно-татарские столкновения были временно предотвращены с помощью боевых дружин, организованных из рабочих разных национальностей и руководимых Камо.

Раненого Мелика Меликяна прятали и лечили у себя дома Нина и Анна Ханояны — жена и мать профессионального революционера Серго Ханояна. Квартира Ханоянов была одним из главных пунктов по снабжению социал-демократических дружин продовольствием и оружием.

Опытный конспиратор Камо мало кому доверял, но Аничка-майрик — «мамочка Анна» — пользовалась его неизменным доверием. Бежав из батумской тюрьмы, Камо скрывался на квартире Ханоянов. Здесь он заболел воспалением легких, и Ханояны представили его врачу как близкого родственника, приехавшего из Персии.

Склеенные Иваном Васильевичем листы имели довольно причудливый вид. Машинописный текст, зачастую обрезанный на половине строки, соседствовал с рукописными вставками и вклейками. Будто, начав однажды клеить, Иван Васильевич уже не мог остановиться. Пытаясь создать нечто единое, он довольно часто опускал кавычки. Цитаты, таким образом, сливались с его собственным текстом, растворялись в нем. Перепечатав как-то десяток страниц сплошь, я неожиданно обнаружил, что уже не

могу отличить своих слов, мыслей, сюжетных ходов, замечаний от записей автора «Хроники одной жизни». Так почти незаметно происходило слияние, взаимопроникновение, как бы замена двух авторов одним.

Пожалуй, единственное, что я так и не решился «раскавычить», — это записанные Иваном Васильевичем во время поездки в Карабах рассказы стариков, которые следует привести полностью.

«— Как не помнить! Все помним. Такое время было. Такие люди были. Как не помнить? Богдана Кнуныпа помним. Степана Шаумяна помним. Всех помним. В книгах много всего пишут. Нас спроси — все как есть помним. Верные люди рассказывали. В 1917 году революция была, а? Большое волнение в народе было. На севере началось, потом в Тифлис пришло. Собраний больше, чем теперь, было. Богдан Кнунып в Метехском замке сидел. Его там убили.

— Э, слушай, в Метехи Ладосидел.

— Ладосидел когда сидел? Ладосидел раньше сидел. Можно многое рассказать, только зачем? Все не так было, как теперь пишут. Много такого было, чему теперь не верят. Если б люди своими глазами не видели, поверить в такое нельзя. Люди исчезали, люди появлялись... Ты мне хотя бы то, что тебе сейчас расскажу, объясни. Это уж я сам видел. Мать моя перед отъездом отца в Персию потеряла кольцо. Лет восемьдесят назад это было. Ай, какое кольцо было! Бриллиант — как пуговица на твоей рубашке. Шикарное кольцо. Она весь дом перерыла — нет кольца. С нами по соседству умная женщина жила. Гадалка, да? Мать к ней пошла. «Слушай, — говорит, — Ашхен, кольцо у меня пропало». — «Когда пропало?» — «Месяц назад пропало». — «Приходи, — говорит, — завтра, а сегодня ночью выйди во двор, посмотри на небо, такие-то слова скажи». Мать сделала все, как велено, на следующий день приходит. Та ей:

«Найдется твое кольцо». Мать обрадовалась. «Оно сейчас далеко, в чистом месте лежит». Слушай дальше. Вернулся отец из Персии. «Нашла кольцо?» — «Не нашла. У Ашхен была. В чистом месте, сказала Ашхен, кольцо лежит. Найдется». — «А, слушай, каким глупостям веришь». Это отец сказал. Время прошло. Разбирала мать новые рубашки отца, ненадеванные, и видит: между ними ее кольцо лежит. Когда белье расправляла, укладывала, кольцо с нальца слезло — там и осталось. С отцом ездило — назад вернулось.

Слушай дальше. Брат на войну ушел и пропал. Год нет, два нет. К нам из Баку приехала с мужем родственница. Та говорит: пойдем к гадалке. Пойдем и пойдем. Женщина, да? Мать говорит: «Боюсь я. Вдруг что про сына нехорошее скажет. Так я хоть верю, что он вернется». «Нет, — говорит, — пошли. Ты не хочешь, я на себя погадаю». Пришли они к Ашхен, та зеркало поставила, свечу зажгла. «Муж у тебя моряк?» — спрашивает. «Моряк». «Гляди», — говорит. Та увидела мужа в зеркале и вскрикнула. «Не пускай, — говорит Ашхен, — мужа в море. Не вернется он». Та в слезы. Мать ее успокаивает. «Погоди, — говорит, — давай на меня погадаем». «Смотри, — говорит Ашхен, — видишь своего сына?» «Вижу», — отвечает мать. «Смотри, какой он худой, оборванный. Но живой. Скоро вернется. Меньше чем через неделю известие от него получишь. Денег мне сейчас не давай. Потом сама придешь. Если неправду сказала, в лицо мне плюнешь». Через четыре дня пришло от брата письмо. Был он ранен, в плен попал. А родственница вернулась к мужу в слезах. «Не пушу, — говорит, — тебя больше в море». Тот посмеялся только. А через месяц пришло от нее письмо. Муж отправился в плавание, а корабль взорвался...

Хочешь верь, хочешь не верь — все чистая правда. А рассказывать нельзя. Почему? Потому что уважаемые Богдан Кнуян и Степан Шаумян революцию сделали.

Науку вперед двинули. А по науке такого не может быть. Ай, какие люди были. Богдан Кнунян, Степан Шаумян, Сурен Спандарян. Все армяне. Баграмян, Хачатурян, Амбарцумян. Мюрат, наполеоновский генерал, — тоже армянин. Карабахец. Земляк нашего уважаемого Богдана Кнуняна. А Суворов? Также армянин.

Если рассказать, что знаем, все книги надо писать заново. Между прочим, про Богдана Кнуняна тоже много такого известно, о чем ни в каких книгах не напишут. Он в 1905 году в Тифлисе был. На севере из тюрьмы бежал — сюда приехал. Здесь его арестовали, посадили в Метехский замок, там убили. Больше его никто не видел до самого 1907 года. А в 1907 году его в Баку видели. Э-э-э, темное это дело. В Баку его снова арестовали. Говорили, он умер в тюремной больнице. Другие говорили, что его в Метехском замке убили.

Его хорошо мой дядя знал. Дядя в пятьдесят девятом году умер. Он много чего знал. Он Богдана Кнуняна в Ереване встречал. Богдан, — говорил, — всех обманул. Живой остался. Дядя сам рассказывал. У сестры дядинового брата в тот год сын родился — Левон. Левон Парсегян. Ты что, Левона не знаешь? Известный музыкант. Э, как можно? Дядя поехал в Ереван праздновать рождение Левона. Хорошо они там кутили. Это уже после революции было. Идет дядя по улице и встречает Богдана. Он с кем-то еще шел, дядя его не остановил. Совсем, говорил, не изменился, а уж сколько лет прошло. Дядя еще кое-что рассказывал, только об этом нельзя говорить. Ладно, скажу.

Дядя перед смертью год больной лежал. Я его каждый день навещал. Дядя меня очень любил. Девяносто пять лет было, больной совсем, а голос такой крепкий! Давай, скажет, неси вино. Надоело болеть. Такой боевой был. У Богдана, говорил, жена была и сын был. Я, говорил, его как-то на улице в Тифлисе встретил. Один раз

в Ереване, другой — в Тифлисе. Грустный такой был, прямо ужас. Лицо виноватое. Я ему так обрадовался, пойдем, говорю, ко мне, Богдан. А он отвечает: меня теперь Рубеном зовут. У меня вся семья погибла, я один остался. Во время резни всю семью убили. Дом сожгли. Ничего не осталось. Так чудно, рассказывал дядя, он на меня смотрел.

Потом еще в разных местах его люди видели. Дядя рассказывал: он скрывался и фамилии менял. У него были враги. Он от них прятался.

Перед смертью дядя такое мне рассказал. Он осенью умер, а в мае в дом его приходили люди. К внучке приехала подруга из Москвы, и много людей собралось. Пришли с ее бабушкой — с дядей моим — поздороваться. Дядя смотрит и видит среди гостей Богдана. Рот раскрыл — слова сказать не может. И Богдан на него смотрит. Без бороды, без усов и, что больше всего удивило дядю, молодой. Внучка увидела, что деду плохо, гостей выпроваживать стала. Бабушка, говорит, устал. И они ушли. Дядя позвал ее. Откуда, спрашивает, здесь взялся Богдан? Внучка не поняла, о чем он спрашивает, принялась его успокаивать. А он на нее кричать: «Что ты со мной так обращаешься, будто я из ума выжил?» Тогда Лия, внучка, спрашивает: «О ком ты так беспокоишься, бабушка?» «О том-то и о том-то», — сказал дядя. «Так вот, его совсем не Богданом и не Рубеном зовут. Он русский». Дядя спрашивает: «Сколько ему лет?» Лия смеется: «Если хочешь, узнаю». — «Почему ты решила, что он русский?» — «Он муж моей подруги». — «Поди узнай». Лия пошла узнала. Сказала: «Ему двадцать семь лет». Дядя сказал: «Когда Богдан последний раз был в Тифлисе, ему было двадцать семь лет. А жена была года на два его моложе».

Тут тайна есть, говорил дядя. Богдан Кнуниан секретом владел, а почему он остался молодым и зачем захотел стать русским, я не знаю.

— Кнуциян в Метехской тюрьме не сидел. Э, что говоришь? Авель Енукидзе сидел. Авель его товарищем был. У него не было жены. У Авеля не было жены. Он всего себя революции отдавал. Они тогда не женились. Им нельзя было жениться. Без женщин жили.

— Э-э-э...

— Слушай, правду говорят, что на земле место есть, где все пропадает? Самолеты пропадают, пароходы пропадают, люди пропадают?

— Потом их находят.

— Бывает, что находят. Пропадет самолет, а через десять лет откуда-то вылетит. Где был, никто не знает. Летчик не знает, пассажиры не знают, на аэродроме не знают.

— Вот я и говорю: о таком лучше помалкивать.

— Летом 1905 года, перед приездом уважаемого Богдана Кнуцияна на Кавказ, мы хоронили нашего Сандро — Сашу Цулукидзе. В Кутаиси это было. Двадцать пять верст гроб на руках несли. Сколько венков было! Дождь шел. Гроза была. По-грузински говорили речи, по-армянски. Большая демонстрация. Миха Цхакая речь держал. Они с Сандро очень дружили. У Миха отец священником был, а мать — дочь известного бунтаря. У Сандро Цулукидзе отец был князь. Он сам книги писал. Красивый человек. Революционер. Миха, Сандро и Ладос Кецохели кружки создавали. В Тифлисе, в Кутаиси, в Баку революцию делали. Степан Шаумян и Богдан Кнуциян тоже революцию делали. Сандро Цулукидзе, Ной Буачидзе, Алеша Джапаридзе свою типографию поставили. Из Баку станки взяли. В Баку Людвиг, Богдан, Тиграп Кнуцияны и Авель Енукидзе были. Они им станки дали. Сандро и Миха типографией руководили. Людвиг Кнуциян большую забастовку в Баку делал.

Когда Миха узнал, что Сандро Цулукидзе болен, он с Лениным за границей жил. Миха все бросил, в Кутаиси

приехал. Сапдро очень болен был. Один глаз у него уже не видел. Перед смертью сильно мучился. Миха так переживал, так переживал! В Кутаиси не мог остаться — на север уехал...»

...На север Миха Цхакая отправился в начале октября 1905 года, успев передать Фаро четыре рабочих кружка, которыми руководил только что уехавший из Тифлиса товарищ. С Богданом они встретились в Петербурге в десятых числах октября, когда был организован первый Петербургский Совет рабочих депутатов. А до того — всю первую половину осени — Богдан как руководитель агитационной коллегии Северного бюро ЦК ездил по городам России.

В письме Ленину и Крупской от 20 сентября Максим Литвинов писал из Берлина: «Знаю, что предполагалось сформировать при ЦК исполнительное бюро, в которое вошел бы из его агентов пропагандист (Инсаров — Лалаянц И. Х.), агитатор (Рубен), организатор (Бур — Эссен) и секретарь (вероятно, я). Это бюро выполняло бы всю практическую работу, лежащую на ЦК».

Из письма Эссен Ленину, 3 октября 1905 г., Петербург: «Организована агитационная группа в 10—12 человек. Каждому агитатору поручен определенный район, где он должен способствовать: 1) реорганизации комитетов на боевой агитационный лад, 2) усилению самой широкой агитации в городе и деревнях, 3) образованию для этой цели летучих отрядов агитаторов из рабочих... Во главе этой группы стоит Рубен. Он уже уехал и начал плаш кампании».

Людей было мало. Катастрофически не хватало профессионалов. Их не хватало год назад, не хватало теперь, хотя теперь их было значительно больше. Нужда в профессионалах возрастала быстрее, чем их абсолютная численность. Термодинамические, если можно так вы-

разиться, условия для победы революции были самые благоприятные: поражение в русско-японской войне, растерянность властей перед волнением народа, слабость режима и готовность людей на жертвы ради существенных политических перемен в стране. Необходимая для громового удара разность потенциалов была налицо. Но кинетические условия, обеспечивающие практическую реализацию революционного процесса на каждой конкретной его стадии, еще не находились на том уровне, который позволил бы желаемому стать действительным.

Нехватка профессионалов — опытных лоцманов, способных провести множество мелких и крупных судов сквозь узкий проход в широком русле бурлящей, порожистой реки, — не искупалась избытком энтузиастов, сочувствующих смельчаков.

До определенной поры места на реке более или менее хватало всем, хотя имелись отдельные столкновения, недоразумения, споры о том, скажем, в какой последовательности надлежит двигаться столь многочисленному флоту, кто должен идти во главе, кто сзади, кто сбоку, но вот впереди послышался слабый, едва различимый шум, как бы ропот листвы на ветру. Ропот усиливался, превращался в рокот, в рев, в громовое рычание, и перед взором плывущих постепенно возникало нечто похожее на туман — сплошная, непроглядная стена брызг. Стало видно, как эта по мере продвижения набирающая силу масса гладко катящей свои воды реки наталкивается на какое-то мощное препятствие, разбивается на мельчайшие брызги, и бог знает, как преодолеть его и что там, за этой стеной.

Нужно было что-то предпринимать, как-то реагировать на меняющиеся условия. Те, кто находился ближе к порогам, понимали, что действовать следует без промедлений. Тех же, кто находился чуть дальше, все еще продолжали беспокоить старые вопросы относительно взаимного расположения судов. 4 сентября ответственный пропаган-

дист Петербургского комитета партии Красиков жалуется в письме Ленину на то, что многие агенты мечутся по России, меняют явки, ахают, охают и мало помогают борьбе с меньшевиками. Красиков жалуется на Бура и на Рубена.

«Дождаться полной солидарности в ЦК или в среде его агентов — утопия, — отвечал ему Ленин десятью днями позже. — «Не кружок, а партия», милый друг!.. Допустим, у вас есть разногласия с «агентами». Гораздо целесообразнее проводить свои взгляды в комитете, особенно если складывается дружный, принципиальный комитет, и вести в нем открытую, прямую, решительную линию, чем спорить с «агентами»... Чем недовольны Вы Рубеном? Свяжите меня непременно и с ним и с Лалаянцем непосредственно».

Тем временем подкатил октябрь. Некто Тихон в самом начале месяца сообщил из Одессы в Киев, что на днях в Николаеве видел Рубена, тогда как после кооптации в Петербургский комитет большевистской организации Кнунянц перестал быть Рубеном. Он стал Петровым. Товарищем Петровым. Это очередное перевоплощение совпало с «одним из наиболее ярких, богатых содержанием периодов его революционной деятельности». Так писал О. Г. Инджикян — автор монографии о Богдане Кнунянце. Сей обстоятельный труд обещал быть надежным компасом при поиске тех, кого я вознамерился отыскать в толще окаменевшего времени.

ГЛАВА XVI

Я попросил итальянца Микеле Барончелли, уже несколько месяцев стажировавшегося в нашей лаборатории, рассказать о тех городах, в которых он неоднократно бывал, жил и учился. Поскольку о Брюсселе и Лондоне, где проходили съезды, а также о Женеве, откуда Богдан вернулся в 1905 году, я имел лишь книжные представления, мои попытки написать хотя бы несколько живых строк о них оказывались, разумеется, безуспешными.

К сожалению, Микеле не помог мне. Итальянец пожал плечами, как бы давая понять, что рассказывать, собственно, не о чем. Такое вот бесстрастное отношение было у него ко всему.

С первых дней у нас сложились настолько добрые, близкие отношения, что им не могла помешать даже та скверная смесь русских и английских слов, с помощью которой мы не без труда объяснялись.

— Доброе утро,— приветствовал я его по утрам.— Как настроение, Миша?

— Хорошо, синьор доктор. *Perfectly well*¹. Как поживает ваш дедушка?

— Вы хотели спросить,— поправляя я,— до какого места в его жизнеописании я добрался? Он сейчас в Петербурге.

— В Ленинграде, не так ли?

— Да, в Петербурге.

— А что он там делает? — спрашивал Микеле не без лукавства.

— Организует первый Совет рабочих депутатов.

¹ Прекрасно (*англ.*).

— Простите...

— Первая русская революция,— объяснил я. — 1905 год.

— О, моя сестра тоже revolutionary,— оживился Микеле,— in Rome¹. Фашист at dead of night² пожом ей в спину — так!

— Ее убили?

— Нет-нет,— улыбнулся Микеле. — Она уже здорова. Молодая,— пояснил он.

— Сколько ей лет?

— Двадцать три. Мама хочет, чтобы дома сидела. Просит папу запретить быть revolutionary. Папа говорит: дети должны интересоваться политикой. У меня красная сестра, синьор доктор. She knows her own mind³. Читает Ленина, дружит с хиппи, говорит, что Россия — родина коллективизации и революции. Родина хиппи.

Самое время было перевести разговор на мышей, мух, геропротекторы — на все то, что составляло предмет наших рабочих интересов.

Мы обсудили текущие дела. Вдруг Микеле спросил:

— Скажите, синьор доктор, вы верите в то, что можно продлить жизнь человека? Сделать старого молодым. Tar the time⁴.

— Да,— сказал я,— верю.

— You want a niche in the temple of fame⁵,— заметил Микеле. — Но ведь Денкла обнаружил такие штуки, от которых ничего не спасает. Death hormone⁶. Когда начинает работать эта машина, всему живому конец.

— Если мы узнаем, кто включает ее...

¹ ...революционерка... в Риме (англ.).

² ...глубокой ночью (англ.).

³ Она твердо знает, чего хочет (англ.).

⁴ Обуздать время (англ.).

⁵ Вы хотите бессмертия (англ.).

⁶ Гормоны смерти (англ.).

— Мы знаем,— Микеле ткнул пальцем в потолок и закатил глаза.— Он падит только cancer cells¹. Только bugs and scorpions² не боятся атомной бомбы. Только cancer cells не знают, что такое смерть. Человек окисляется слишком быстро. Быстрее, чем полимеры. Скажите, синьор доктор, почему вы так заботитесь... как это по-русски?... почему вас так интересует ваш дедушка? Мои предки жили во Флоренции. Они ушли из Флоренции после revolt popolo minuto — тощих людей, have-nots³. Мои друзья тоже из знатных родов. Нас это мало интересует. За это не платят. Хорошее происхождение теперь ничего не стоит. Тебе платят столько, сколько стоишь ты сам. Я приведу домой и получу хорошую должность. У отца есть связи. Я куплю виллу, яхту, дорогой автомобиль. I'll hope a good position⁴. Почему, синьор доктор, у вас нет собственного автомобиля? У синьора профессора должно быть два собственных автомобиля.

— Мне доставляет радость ходить по земле пешком.

— Это оригинально. А вилла, синьор доктор, вам тоже не пужна?

— Пожалуй, нет.

— Я попытаюсь брать с вас пример. Не буду покупать виллу, автомобиль. I'll keep my head above water⁵.— Он рассмеялся. — Вы рассуждаете, синьор профессор, как постоянный хиппи. Как баптист. Им тоже ничего не нужно. Я снова убеждаюсь в том, что Россия — страна великих замыслов и вымыслов. Страна, в которой хорошо умеют жертвовать и мечтать. Это то, что в России умеют делать лучше всего.

¹ ...раковые клетки (англ.).

² ...клопы и скорпионы (англ.).

³ ...восстания немущих (итал., англ.).

⁴ Займу хорошее положение (англ.).

⁵ Я буду с трудом сводить концы с концами (англ.).

Я встал.

— I beg your pardon, синьор доктор. Soviet of workers... Вы, кажется, так сказали. What next?¹

— Рабочий день давно начался, Микеле. Включайте прибор. Иначе вам не дадут хорошей должности. Поневоле придется to keep your head above water.

— Еще один вопрос. Last thing². Зачем вы пишете свои романы? Хотите заработать деньги или it's relaxation³?

— Это средство продлить жизнь,— сказал я, протягивая ему листок с переписанными формулами.— Что вы скажете вот об этой структуре?

— Like a squirrel in a cage⁴.

Я достал с полки бюкс с двойной крышкой. Его дно едва прикрывал белый искрящийся порошок.

— Вот все, что смогли сделать синтетрики, пытаюсь воспроизвести «белку в колесе». Нужно провести возможно полные испытания.

Я не стал объяснять Микеле, что это вещество почти отвечает структуре V, рядом с которой лет восемьдесят назад экзаменатором был поставлен жирный вопросительный знак.

— Прошу вас только об одном. Предельная аккуратность. Это все, что мы имеем. Испытайте на мышах. Как обычно.

— Okey.

— Непременно проконтролируйте, как будет изменяться содержание препарата в крови.

— Okey.

На следующий день Микеле рассказывал:

¹ Извините... Совет рабочих... Как дальше? (англ.).

² Последний (англ.).

³ ...это способ расслабиться, отдохнуть от забот (англ.).

⁴ Точно белка в колесе (англ.).

— Я разделил powder¹ на десять частей. Exactly². Распределил между десятью животными.

— В котором часу это было?

— Ближе к вечеру. Между четырьмя и пятью. Вот заниси в журнале.

— Огромная концентрация, Микеле.

— Мы обычно так делаем.

— Да, но... Я забыл вас предупредить. Здесь может быть очень высокая активность. Как они себя чувствуют?

— Пойду посмотрю.

Когда он вернулся, на нем лица не было:

— Вы смеетесь надо мной, профессор. You know I am weak sister³.

— Что случилось?

— Их там нет.

— Кого?

— Мышей. Вы спрятали их. Вы велели их спрятать.

— Что за ерунда!

— Клетка пуста. Контрольные животные на месте, а другая клетка is empty⁴.

— Вы думаете, что говорите? Все мыши?

— Не кричите на меня. I am more sinned than sinning⁵, — пробурчал Микеле.

— Вы что-нибудь перепутали.

— Это невозможно.

— Когда вы вчера уходили из лаборатории, животные были на месте?

— Да.

— Но чудес не бывает.

¹ Порошок (англ.)

² Точно (англ.).

³ Вы считаете, что на меня нельзя положиться (амер.).

⁴ Пуста (англ.).

⁵ Я скорее пострадавший, чем преступник (англ.).

— Они исчезли, как тело из гроба господня.

Совместный осмотр клеток ни к чему не привел. Животных на месте не было. Клетка, на которую указал Микеле и которая значилась в его лабораторном журнале, в самом деле оказалась пустой. О том, чтобы обратиться к синтетикам повторно с той же просьбой, не могло быть и речи.

Вот так ничем и окончился наш опыт.

При имени Микеле Барончелли я до сих пор испытываю чувство стыда и запоздалого раскаянья за столь небрежное отношение к труду моих отзывчивых, многотерпеливых коллег. Впрочем, меня не оставляет одно очень смутное, почти невероятное предположение, касающееся таинственного исчезновения мышей. А что, если Микеле в самом деле ничего не напутал? Опасно слишком часто задавать себе этот вопрос.

Ах, если бы сохранился тот небольшой плоский пакет, который Богдан носил в серебряном кошельке, подаренном ему перед отъездом из Тифлиса! Я хорошо помню благородную тяжесть потемневшего металла, вензель на крышке, посекавший от времени материал подкладки. На дне кошелька и на стенках в складках ткани застряло несколько белых крупинок, а одна стенка имела гораздо более тусклый цвет, чем другая, будто была испачкана мукой или пудрой.

Серебряный кошелек просуществовал в нашем доме до начала шестидесятых годов. Скорее всего, его потеряли при переезде на новую квартиру, когда исчезло много мелких вещей и несколько старых, дорогих мне теперь книг. Кажется, среди них была и брошюра издания 1906 года «Политические партии и формы государственного строя», написанная в Петербурге в период создания первого Петербургского Совета рабочих депутатов. С наступлением реакции эта брошюра побудила власти начать судебное преследование против ее автора, Богдана Ради-

на, ибо С.-Петербургский комитет по делам печати усмотрел в ней «стремление возбудить рабочих к борьбе за осуществление республиканского образа жизни в России и переустройства общества на основе социалистического строя».

Это могла быть та же брошюра, но вынужденная гораздо позже, в Иркутске, сразу после Февральской революции 1917 года, под названием «Монархия или республика?». В таком случае она должна была кончатся фразой «Итак, через демократическую республику к социализму», изъятый в издании 1906 года. Но таких подробностей я, конечно, не помню.

С недавнего времени, совпавшего с началом работы над бабушкиным архивом, во мне усиливалось нечто подобное защитной реакции выздоравливающего организма. Противодействие «жизненному реализму» Микеле Барончелли все дальше увлекало в водоворот страстей и идеалистических устремлений живых людей первой русской революции.

Итак, 13 октября 1905 года Богдана Кнунянца избрали членом первого Петербургского Совета рабочих депутатов. 15 октября как представитель большевиков он вошел в состав Исполкома Совета, а 18-го числа в качестве одного из трех руководителей-распорядителей возглавил многотысячную демонстрацию с требованием освобождения политических заключенных.

Плотные стояли дни. Сверхплотные. «Петербургская осень» оказалась для Богдана необыкновенно плодотворной в литературном отношении. Ее заполнили богатые событиями дни, им самим описанные.

«Сентябрь 1905 года начался в Петербурге особенно бурно. Все высшие учебные заведения были открыты. Почти везде сходки формулировали в резолюциях ту мысль, что они открывают двери «автономной» высшей школы не для занятий, а для превращения аудиторий

в места народных митингов и арену политической агитации.

Студенты «академисты» и либеральные профессора со своей стороны делали все возможное, чтобы освободить «хранилище науки» от наплыва улицы. Но общее революционное настроение было так велико, что они не решились мешать митингерам.

Аудитории открылись, и митинги начались.

Хотя на митингах дозволялось говорить всем желающим, не помнится, чтобы на этих действительно народных собраниях выступал оратором кто-нибудь из либералов. Все те, которые еще в предыдущем году на многочисленных банкетах произносили бесконечные речи, как бы испарились теперь и очистили место для революционеров. Арестов больших в это время не было, чтобы можно было этим объяснить их воздержание.

Несколько недель шли митинги. Полиция не вмешивалась совершенно. Вчера еще городовые арестовывали, избивали на улицах мирных граждан, а сегодня сами присоединялись к «крамольникам», призывали к солидарной с рабочими борьбе. Вчера они были оплотом самодержавия, оплотом монархии, сегодня становились вольными гражданами, друзьями народа, врагами его врагов.

Такова логика революции. Не удивит, если завтра сыщики из охранного отделения, унтер-офицеры, служащие в жандармском управлении, чины департамента полиции забастуют. Революционная армия — это беспорочная сила, демократическая Россия — это факт. Что же удивительного, что к ним все льнут, что с демократией, и только с ней, все хотят связать свою судьбу.

Революция идет, идет неудержимо!

Буржуазная «Русь» дает следующее описание одного из митингов: «Еще задолго до открытия собрания со всех сторон столицы подходили к зданию университета небольшие кучки людей. Тут были и курсистки, и студенты, и

рабочие с женами, даже подростки... Плотво сомкнутыми рядами, сквозь которые нет силы пройти вперед, толпа, окружив кафедру, растет все больше и больше. К началу собрания не только зал, но и все окна его, столы и стулья уже заняты. Море колыхающихся фигур, гул толпы...»

И так почти каждый день. Трудно даже приблизительно сказать, сколько народу прошло через эту агитацию.

Начавшаяся в Москве стачка типографских рабочих, происходившие там столкновения с полицией, митинги на площадях не могли не отозваться на петербургских рабочих. «Союз рабочих печатного дела» объявил трехдневную забастовку сочувствия, которая очень дружно прошла с 4 по 7 октября. Частичные забастовки начались и на заводах. Забастовал Семянниковский завод, брожение пшело на Обуховском. Как раз в это время вспыхнула железнодорожная забастовка. Вслед за рабочими объявили забастовку и союзы интеллигентских профессий.

Стачка быстро распространялась. Вся хозяйственная жизнь города замерла. Необходимо было создать для руководства стачкой более широкий и приспособленный аппарат, чем партийные организации. Результатом этой необходимости и явился Совет рабочих депутатов.

...Совет сделался больше чем стачечным комитетом, а вместо рабочего «самоуправления» он стал руководителем всех боевых действий петербургского пролетариата в октябрьские и ноябрьские дни.

Не будь Совет учреждением, явившимся в результате долгой работы социал-демократии среди петербургского пролетариата, и не поддержки его во всей его деятельности партийные организации, никогда бы Совет не достиг той мощи и того влияния.

Массы с большим доверием относились к своим депутатам, которые были им постоянно подотчетны. Совет депутатов стал в Петербурге первой массовой организа-

цией пролетариата на строго выборном начале. В партийной организации этого не было: конспиративные условия не давали возможности развернуться и создать действительно массовую организацию. Самые отсталые слои пролетариата смотрели на Совет как на свое учреждение, где все дела решают рабочие, а не «интеллигенты».

Задачи, которые ставил себе Совет рабочих депутатов, можно сформулировать очень кратко: демократическая республика и 8-часовой рабочий день. За все время существования Совета не помнится ни одного случая, чтобы кто-нибудь из депутатов высказался против полной демократизации нашего государственного строя. А ведь в состав Совета входила очень разнообразная публика: наряду с высокосоциальными рабочими крупных заводов были представители мелких мастерских, ремесленных предприятий. Одним только объясняется такое безусловное признание республики как ближайшей политической цели — глубокой ненавистью к существующему режиму и полной уверенностью в невозможности ждать чего-нибудь «сверху». Этот «верх» после особенно памятных петербургскому пролетариату январских дней рисовался в представлении всех как воплощение самого жестокого произвола, варварской азиатчины.

После кровавых событий 9 января 1905 года пролетариат стал в глазах всего населения главным деятелем революции. Буржуазный либерализм как бы совершенно исчез с арены. Либералы где-то заседали в своих союзах, выносили резолюции на съездах, но никто не ждал от них ни инициативы, ни сколько-нибудь имеющих значение выступлений.

Пролетарская борьба накладывала на все свой отпечаток: чиновники, инженеры, юристы, банковские служащие и даже профессора — все превратились в забастовщиков, все стихийно шло за пролетариатом, перенимая у него не только самый способ борьбы, но и тип его уч-

реждений, как-то: стачечные комитеты, стачечные фонды и т. д.

Тут было не простое подражание уже созданным пролетариатом образцам. Неспособная к решительным действиям, затертая революционной волной буржуазная оппозиция льнула к силе, старалась хоть сколько-нибудь замаскировать свою дряблость.

Ждать от правительства было нечего, пока власть находилась в руках представителей старого режима; пока революционный народ не победил по всей линии, нечего было и мечтать об осуществлении народовластия.

В пятницу генерал Трепов писал: «Для народа не жалеть патронов», а в субботу: «В народе созрела потребность в митингах». Какая перемена за двадцать четыре часа! Вчера мы были зрелы только для патронов, а сегодня уже созрели для народных собраний.

В народе созрела потребность в митингах, говорит генерал Трепов и открывает для петербургского народа три небольшие клетки. В воскресенье утром он захватывает военной силой все университетские здания, ставшие в эти дни достоянием народа. Но нам, революционному народу Петербурга, тесно в тех полицейских ловушках, дверь которых раскрывает перед нами треповский указ.

Народу нужны не царские указы, а оружие.

Меньше всего в области вооружения мог сделать Совет депутатов. Вся надежда была на партийные организации, которым благодаря налаженному конспиративному аппарату это было легче устроить. Но и им в большом масштабе не удалось ничего сделать. Совет же только сумел вооружить часть депутатов, что вызывалось необходимостью самообороны: черная сотня всякими средствами старалась изъять «из обращения» того или другого из ненавистных ей депутатов. Не раз происходили стычки между возвращавшимися с собраний депутатами и хулиганами.

Совет, естественно, должен был очень скептически отнестись к «свободам», дарованным манифестом 17 октября. В то время, когда буржуазия ликовала по поводу «конституции», пролетарский орган хладнокровно подчеркивал, что, пока власть находится в руках правительства, не может ставиться вопрос о правовом порядке. «Известия Совета Рабочих Депутатов» писали в передовой статье о новом положении вещей:

«Дана свобода собраний, но собрания оцепляются войсками.

Дана свобода слова, но цензура осталась неприкосновенной.

Дана свобода науки, но университеты заняты войсками.

Дана неприкосновенность личности, но тюрьмы переполнены заключенными.

Дан Витте, но оставлен Трепов.

Дана конституция, но оставлено самодержавие.

Все дано и не дано ничего».

Между тем не раз уже прибывали делегации от митинга на Казанской площади с запросом, согласен ли Совет руководить шествием к тюрьмам или нет. Кажется, было решено отсоветовать от такого рискованного шага, но скоро обстоятельства сложились так, что Совету пришлось выступить в качестве руководителя грандиозной манифестации.

Около девяти часов вечера послышались громкие звуки «Марсельезы» и крики толпы, вызывающей депутатов. Толпа демонстрантов в несколько тысяч человек заполнила всю улицу перед зданием, где происходило заседание Совета. Демонстранты требовали немедленного ответа, согласен ли Совет руководить ими и вести к тюрьмам для освобождения арестованных. Момент был удивительный. Все депутаты были назлектризованы. Без прений сейчас же постановили стать во главе демонстрации и

вести ее, если это окажется возможно, на «Предварилку» для освобождения товарищей. Тут же выбрали трех распорядителей-«диктаторов», как в шутку их называли, с большими полномочиями: им разрешалось распустить в любой момент от имени Совета демонстрацию, если они это пайдут нужным. Было также постановлено безусловно повиноваться всем их решениям. Заседание закрыли, и депутаты присоединились к толпе.

Шум на улице усиливался, требовали немедленного выхода распорядителей. Наконец, они показались в окне второго этажа с белыми повязками на шляпах. Раздалось громкое «ура», потом все смолкло в ожидании речей. Улица казалась совершенно красной от знамен, красных повязок на шляпах, рукавах и т. д. Везде во время шествия толпа снимала «национальные» флаги (по случаю манифеста дома и магазины были разукрашены ими), срывала с них синие и белые полосы, из красных же делала или знамена или всевозможные повязки.

Распорядители объявили из окна, что по постановлению Совета они станут во главе шествия, и именем Совета требуют безусловного подчинения, вплоть до распускания демонстрации. Толпа громкими возгласами выразила свое согласие. Распорядители вышли и, окруженные морем красных знамен, стали впереди шествия. Еще сверху, рассмотрев численность толпы и расспросив о ее составе (было много просто уличных зевак и детей), они решили сейчас ни в коем случае ее к Дому предварительного заключения не вести, а попытаться соединиться с участниками митинга на Казанской площади и в университете, а потом, в зависимости от настроения масс и их состава, попробовать освободить арестованных.

Шествие, сперва беспорядочное, скоро приняло удивительно стройный характер. За цепью — несколько рядов знамен, а за ними уже масса, тоже по возможности выстро-

ившаяся в ряды во всю ширину улицы. Перед цепью шли распорядители, около которых несли высокое знамя с флагом. Вечер был тихий и ясный. Нигде не видно ни войск, ни полиции. Надлежало пройти Лиговку и весь Невский проспект. На панелях стоял народ и приветствовал демонстрантов криками сочувствия. Многие присоединялись к шествию. Толпа все более и более разрасталась и скоро достигла нескольких десятков тысяч человек. Невский проспект представлял собой необычайную картину. Далеко впереди тянулась лента проспекта, совершенно свободная от извозчиков. По обеим панелям шпалерами стоял народ. Торжественно и медленно продвигалось море красных знамен под звуки «Марсельезы», «Варшавянки» и других революционных песен.

Дошли до Казанской площади. По знаку распорядителей шествие остановилось. На Казанской площади еще шел митинг. Участников было не особенно много. Один из распорядителей отправился в сопровождении нескольких знамен к митингу, где ему устроили овацию. От имени Совета рабочих депутатов он предложил стоявшим там присоединиться к шествию и вместе направиться к тюрьмам для освобождения арестованных товарищей. «Идем, идем!» — зашумела толпа, и многие вслед за распорядителями примкнули к главному шествию.

Решили отправиться к университету не через Дворцовый мост, а через Николаевский. В первом случае пришлось бы пройти мимо Зимнего дворца, где могла быть засада; наконец, деревянный Дворцовый мост мог не выдержать тяжести нескольких десятков тысяч человек. Около Александровского сада шествие остановилось. Все, как один, сняли шапки и пропели «Вечную память» и «Вы жертвою пали» в память товарищей, павших здесь в бойне 9 января. Проходя мимо правительственных зданий, толпа чествовала их свистками и криками: «Долой монархию!», «Да здравствует свобода!» и т. д.

На Университетской набережной случилась любопытная встреча. Откуда-то шла полурота солдат с офицером и попала как раз в самую гущу толпы. Солдаты шли молча, в каком-то подавленном настроении. К ним со всех сторон обращались с призывами: «К нам, братья!», «Пойдем освобождать арестованных!», «Передайте оружие народу!» и т. д. Те не отвечали ни слова и только шли несколько быстрее.

Соединившись на Университетской набережной с манифестантами, вышедшими из университета навстречу, шествие повернуло назад, чтобы отправиться к Дому предварительного заключения. Трудно хотя бы приблизительно определить число демонстрантов; говорили, что со знаменами идет около 80 тысяч народу.

Перейдя Николаевский мост, направились к казармам 14-го и 8-го флотских экипажей, среди которых происходило особенно сильное брожение. Площадь перед казармами мигом наполнилась народом. Знаменосцы с распорядителями подошли к подъезду. В чередных рядах оказался какой-то матрос с большим красным знаменем. Подъезд был высокий, и когда распорядители поднялись на него, перед ними открылась дивная картина: целое море голов, над которыми развевались сотни больших и малых красных флагов. Тишина стояла поразительная. Распорядители долго стучали в двери и вызывали кого-нибудь, но никто не выходил. Стоявший тут же дневальный объявил, что все двери заперты на замок и охраняются изнутри солдатами. Следовало попробовать обратиться к матросам как-нибудь иначе. Окна казарм выходили на набережную канала. Толпа направилась в ту сторону и долго стояла под окнами, убеждая матросов выйти и присоединиться к народу. С верхних этажей, где заперли матросов, у которых, как рассказывали, еще долго до того отобрали оружие, слышался треск разбиваемых стекол. Нижний этаж охранялся более надеж-

пой пехотой. Почти полчаса оставались манифестанты у казарм, однако, убедившись, что никому не удастся выйти, двинулись дальше.

Без всяких приключений прошли мимо Мариинского театра, через Садовую, Невский проспект на Литейный. У дома Победоносцева учинили кошачий концерт. На Литейном в передних рядах произошла из-за пустяков паника: поводом, кажется, послужило столкновение между демонстрантами и извозчиками. Тут особенно ярко проявилось настроение толпы, поддающейся панике из-за пустяков. Дойдя до Пантелеймоновской улицы, распорядители остановили шествие и отправили несколько человек к Дому предварительного заключения узнать, свободен ли путь. В это время к ним подошел какой-то инженер в форме министерства путей сообщения и от имени стачечного комитета Союза инженеров передал, что сейчас только была у Витте депутация, «амнистия» уже подписана и завтра будет опубликована. С таким же известием прибежали откуда-то еще инженер и студент. Инженер клялся своей честью, что все это не слухи: его отправил стачечный комитет для предупреждения излишнего кровопролития.

Распорядители решили ввиду этих сведений распустить демонстрацию. Большинство сейчас же начало расходиться. Небольшая группа повернула обратно к Невскому, столкнулась, кажется, с патриотической манифестацией черносотенцев и после маленькой стычки также разошлась. «Патриоты» в эту ночь еще долго бесчинствовали на улицах с национальными флагами, избивая попадавшихся под руку интеллигентов.

Распустив демонстрацию, распорядители отправились сейчас же в Союз инженеров узнать подробности об амнистии. Инженеры еще заседали, несмотря на позднее время. Оказалось, что все рассказанное была сплошная ложь и что никакой стачечный комитет не уполномочи-

вал этих господ что-либо подобное передавать! Ходили только слухи, довольно достоверные, но одни слухи. Инженеры приняли резолюцию, выражающую извинение перед Советом и порицание господам, помешавшим своей мистификацией демонстрации (они тут же присутствовали на заседании). Лишь через несколько дней опубликовали частичную амнистию, освобождающую некоторые категории политических «преступников». Вопрос о полной амнистии опять остался на разрешение самой революции.

Из многих городов приходили известия, что похороны павших за время стачки сопровождались грандиозными манифестациями. Описание похорон убитого Н. Баумана, в которых участвовала вся революционная и оппозиционная Москва, переходило от одних к другим. Убитые были и в Петербурге. Совет рабочих депутатов и партийные организации решили устроить торжественные похороны-манифестацию с участием рабочих всех районов. Похороны назначены были на ближайшее воскресенье 23 октября. Приготовление делались грандиозные. Готовился хор, оркестры учащихся консерватории собирались сопровождать шествие. Принимались меры, чтобы трупы товарищей как-нибудь не исчезли.

Октябрьская стачка в Петербурге особо выдвинула вопрос о введении 8-часового рабочего дня. С первых же дней существования Совета депутаты на заседаниях не раз говорили, что теперь уже ни за что рабочие не согласятся приняться за работу на прежних условиях. Это было единственное экономическое требование, выставленное крупными заводами.

Революционное движение шло в гору, правительство пошло на крупные уступки, пролетариат становился хозяином положения, влияние Совета с каждым днем возрастало, и всякое его постановление моментально исполнялось; в такой момент трудно было бы удержать массы

и их выборных от исполнения заветной мечты рабочих — укорочения рабочего времени.

Бывают события в жизни отдельных классов, как и в жизни отдельных лиц, которые оставляют глубокий след. Грандиозная манифестация петербургского пролетариата в пользу 8-часового рабочего дня принадлежит именно к таким событиям.

Чтобы понять, почему даже люди, глубоко сомневающиеся в возможности осуществить в одном Петербурге 8-часовой рабочий день, не сопротивлялись декрету Совета, не старались уговорить его не делать подобного шага, нужно проникнуться тем исключительным напряжением, какое господствовало тогда.

Многие наивные люди сильно преувеличивали впоследствии значение этого шага. Они приписывали Совету все дальнейшие успехи и даже последующую реакцию. Они как будто забыли, что не будь такого повода, правительство и буржуазия сумели бы найти другой.

В возможность установления у нас спокойствия после манифеста никто в Совете не верил. Уже 18-го приходили известия о столкновениях у Технологического института и в других местах. Правительство Витте наконец-то заговорило, и на этот раз не туманными фразами о народной пользе, о будущих свободах, о благе родины, а определенными, не поддающимися никаким кривотолкованиям действиями.

«Конституционное» министерство Витте оказалось решительнее, чем «самодержавное» министерство Трепова. Трепов объявлял на военном положении только отдельные города и губернии, а «либерал» Витте, призванный к проведению в жизнь царских свобод, без всякого стеснения целых десять губерний сразу поставил вне даже русских законов, в полное хозяйничанье доблестных генералов.

Не раз уже «либеральные» реформы аккомпанирова-

лись ружейными залпами, свистом нагаек, воплями избиваемых и истязуемых граждан. Не в первый раз правительство давало доказательство своей «искренности» и «доброжелательности»!

России торжественно обещали неприкосновенность личности — на деле это воплотилось в свободное разгуливание казацкой плети по спинам граждан, в полное господство военных судов, вешающих граждан в двадцать четыре часа, в провокаторские убийства переодетыми чинами полиции нежелательных правительству лиц и так далее.

Маска была сброшена. Кто еще сомневался в выборе между Витте и революционным народом, теперь уже сомневаться не мог»...

ГЛАВА XVII

Я легко понимал почерк Богдана, тогда как при чтении писем Тиграна и Тарсая неизменно пользовался увеличительным стеклом. Нанесенные ими на бумагу буквы напоминали тончайшие узоры из проволоки. Что касается почерка Людвиг Кнунианца, то он напоминал, пожалуй, почерк Ивана Васильевича своей жесткостью, резко оборванными хвостами букв и жирными закорючками, выводимыми с решимостью, угрожающей целостности бумажного листа.

Написанное Богданом я читал так же бегло, как машинописный текст, несмотря на старое написание слов. Переписывая нужные отрывки, я непроизвольно корректировал текст в соответствии с новой орфографией, пытаясь, однако, сохранить своеобразие стиля того времени. Но случалось и так, что рука сама вносила редакционную правку.

«Для того, чтобы хоть сколько-нибудь заполнить пробел, получившийся от газетной забастовки,— писал он далее,— решили издавать бюллетени или, как потом их называли, «Известия Совета Рабочих Депутатов». Технически дело было легко обставить при содействии Союза рабочих печатного дела. Никакая нелегальная типография не могла бы, конечно, решить ту задачу, какую ставили себе «Известия»: выходить по возможности ежедневно в количестве нескольких десятков тысяч экземпляров. Поэтому Совет и не думал ставить своей нелегальной типографии или печатать в партийных, а вместо этого — воспользоваться существующими легальными типографиями, бездействующими из-за забастовки, и «захватным правом» выпускать номер. В опытных наборщиках и других необходимых рабочих недостатка не ощущалось; связи с типографиями были большие. Эту операцию довольно удачно проделали над типографиями

различных газет. Являлась группа наборщиков, занимала все помещение типографии, выставив всюду часовых и задерживая всякого пришедшего постороннего, и не уходила, пока не копчала работы. Полиция обыкновенно узнавала уже после того, как номер был отпечатан и увезен. Довольно живописно изображает старик Суворин, как экспроприировали на одну ночь станки его типографии для тиснения ненавистных ему «Известий». Вот это любопытное описание.

«Шестого ноября около шести часов вечера в типографию «Нового времени» явилось трое молодых людей. Типография вследствие политической забастовки была закрыта. В здании ее находились трое рабочих при электрической станции, которая работала для освещения здания редакции, два сторожа и десятник. Случайно в это же время туда зашел управляющий типографией г. Богданов; он явился с целью сделать кое-какие предварительные распоряжения относительно следующего дня, так как предполагалось, что на другой день работы должны начаться. Пришедшие в типографию молодые люди заявили сторожу, бывшему у ворот, что им необходимо переговорить по важному делу с управляющим. Сторож позвал десятника, предложившего молодым людям не входить всем вместе, а послать от себя кого-нибудь одного. Молодые люди, однако, настаивали на том, чтобы их приняли всех. Доложили управляющему г. Богданову, и он попросил их в контору типографии.

— Удалите всех,— обратился один из них к управляющему,— нам необходимо с вами переговорить наедине.

— Вас трое, я один,— отвечал г. Богданов,— и я предпочитаю говорить при свидетеле.

— Мы просим удалить посторонних в соседнюю комнату, нам всего два слова вам надо сказать.

Господин Богданов согласился. Тогда пришельцы объявили ему, что явились по приказанию Исполни-

тельного комитета Совета рабочих депутатов и что им предписано захватить типографию «Нового времени» и напечатать в ней № 7 «Известий Совета Рабочих Депутатов».

— Я не могу вам ничего сказать по этому поводу, — заявил депутатам г. Богданов. — Типография не моя, я должен переговорить с хозяином.

— Вы не можете выйти из типографии, вызовите хозяина сюда, — отвечали депутаты.

— Я могу передать ему о вашем «предложении» по телефону.

— Нет, вы можете лишь вызвать его по телефону и попросить его в типографию.

— Хорошо.

Господин Богданов направился к телефону в сопровождении двух депутатов и вызвал М. А. Суворина.

Во все время разговора г. Богданова с г. Сувориным по телефону гг. депутаты держали его под дулами револьверов, для того чтобы он не имел возможности сказать г. Суворину «ничего лишнего».

М. А. Суворин, таким образом, узнал лишь, что какие-то депутаты пришли в типографию и желают с ним переговорить по важному делу.

— Я нездоров и не выхожу, — сказал М. А. Суворин, — попросите этих господ пожаловать ко мне в редакцию.

— Они не хотят, — ответил г. Богданов, — и предлагают прислать доверенное лицо от вас.

В редакции из сотрудников находился Л. Ю. Гольштейн, которого М. А. Суворин и попросил отправиться вместо него в типографию.

Все эти переговоры длились минут двадцать. Таким образом, в типографию в половине седьмого вечера пришел Л. Ю. Гольштейн, который рассказывает о своем посещении следующим образом.

«— Когда я подошел к типографии, газовые фонари не горели, весь Эртелев переулочек был почти совсем погружен в темноту. У дома типографии и рядом я заметил несколько кучек народа, а у самых ворот на панели — человек восемь — десять. Не зная, в чем дело, я полагал, что это наши рабочие, пришедшие узнать, окончилась ли забастовка и с которого часа на другой день начнется работа. Во дворе у самой калитки было человека три-четыре. Меня встретил десятник и проводил в контору. Там сидели управляющий типографией и три неизвестных молодых человека, по-видимому, рабочих. Когда я вошел, они поднялись мне навстречу.

— Что скажете, господа? — спросил я.

Вместо ответа один из молодых людей предъявил мне бумагу с предписанием от Совета рабочих депутатов печатать следующий номер «Известий Совета Рабочих Депутатов» в типографии «Нового времени». Предписание было написано на клочке бумаги, и к нему была приложена какая-то печать.

— Дошла очередь и до вашей типографии, — заявил мне один из посланцев.

— То есть что значит «дошла очередь»? — спросил я.

— Мы печатали в «Руси», в «Нашей жизни», в «Сыне отечества», в «Биржевых ведомостях», а теперь вот у вас.

— Что же вам от меня угодно?

— Мы требуем от вас, чтобы вы нам не препятствовали.

— Я не могу исполнить ваше требование. Типография не моя, и я не имею уполномочия давать такие разрешения.

— Да, но нам разрешения не требуется; мы все равно будем печатать.

— В таком случае я не понимаю, что вам угодно.

— Вы должны дать честное слово за г. Суворина и

за вас, что не донесете на нас, пока мы не окончим работы.

— Я не могу отвечать за г. Суворина и не желаю давать честное слово за себя.

— В таком случае мы вас отсюда не выпустим.

— Я выйду силою. Предупреждаю вас, что я вооружен.

— Мы вооружены не хуже вас,— ответили депутаты, выпнимая револьверы.

— Тогда дайте мне возможность спросить Суворина по телефону.

— У нас нет времени дожидаться ваших переговоров. Для вас представляется два выхода: или дать честное слово, или оставаться здесь.

Положение было ясно. Захват типографии, несомненно, был решен. На помощь извне рассчитывать не приходилось. Нельзя было даже позвать сторожа, десятника и рабочих электрической станции. Да и звать бесполезно: господа депутаты вооружены, а у нас всех имелся один мой неважный револьвер. Пришлось *faire bonne mine au mauvais jeu*¹, тем более, что я вспомнил про темные фигуры на улице и на дворе.

— Позовите сторожа и десятника,— обратились к г. Богданову депутаты.

Господин Богданов взглянул на меня вопросительно. Я развел руками: чистая работа, любой разбойничий атаман позавидует.

Позвали сторожа. Потребовали, чтобы он снял полубок, десятника «пригласили пожаловать» в контору. Мы все были арестованы.

Через минуту по лестнице слышались шаги поднимающейся толпы; в дверях конторы, в передней стояли

¹ Сделать хорошую мину при плохой игре (франц.).

люди с весьма решительными лицами. Захват состоялся.

Трое депутатов куда-то выходили, входили, проявляя весьма энергичную деятельность. Я, Богданов, сторож и десятник оставались под стражей толпы, стоявшей в передней.

— Позвольте спросить,— обратился я к одному из депутатов,— вы на какой машине соблаговолите работать?

— На ротационной.

— А если испортите?

— У нас прекрасный мастер.

— А бумага?

— У вас возьмем.

— Да ведь это квалифицированный грабеж.

— Что делать...

Начали беседовать о забастовке. Господа депутаты признали неудачу ее и говорили, что политическая забастовка прекращается завтра, но что экономическая может повториться еще не раз.

Обмен мыслей был мирный.

— Так как же,— спросил меня один из депутатов,— даете честное слово или остаетесь?

Я дал слово за себя, что не предприму никаких мер, но прибавил, что заявлю М. А. Суворину о происшедшем.

— Если что-либо произойдет,— сказали мне,— помните, что это дело нешуточное и что мы примем меры.

— Но позвольте,— возразил я,— за вами могла следить полиция; вас могут накрыть, заметят свет в типографии, мало ли что может случайно толкнуть полицию в этот дом.

— Это уже наше дело; мы приняли меры.

Не могу умолчать еще об одном характерном инциденте. Когда вопрос об отпуске меня на честное слово был решен, депутаты куда-то вышли. Прошло минут де-

сать, они не возвращались. Тогда я обратился к толпе, стоявшей в передней, и громко сказал:

— Что же, меня отпускают или нет?! Это свинство, господа! Я не обедал и хочу есть.

Из толпы выделился какой-то полуоборванный субъект.

— Вы, пожалуйста, поосторожнее выражайтесь,— заявил он мне.— Вас никуда не отпустят; вы здесь и оставайтесь.

— Это свинство,— повторил я раздраженно.— Извольте сказать, отпускают меня или нет. Если нет, я пошлю за едой.

— Нечего брыкаться, посидите тут, вы не имеете права уходить...

Становилось противно. В это время вернулся один из депутатов, и я повторил ему свой вопрос.

— Конечно, вы можете уходить,— отвечал он.

— Да вот этот кавалер не согласен,— сказал я.

— Какой? Вот этот? Вы кто такой, товарищ? Я вас не знаю. Вы пришли случайно. Товарищи, его кто-нибудь знает?

Молчание.

— Товарищи, его нужно убрать подальше.

И субъекта убрали.

Я спустился вниз. Под воротами стояла непроглядная тьма. У самых ворот в полушубке сторожа дежурил пролетарий с револьвером.

Другой зажег спичку, третий вставил ключ в скважину. Щелкнул замок, калитка открылась, и я вышел. На улице стояло человека три. На противоположной стороне падали какие-то люди. На обоих углах Эртелева переулка с улицы Жуковского и Бассейной тоже ходили тени. Типография и Эртелев переулок охранялись. Пролетарии могли спокойно работать.

Ночь прошла спокойно. Управляющий типографией

г. Богданов, которому предложили отпустить его под честное слово, отказался уйти, говоря, что он отвечает за целостность вверенного ему имущества и не покинет здания. Пролетарии его оставили. К сторожу и десятнику был приставлен караул, вооруженный револьверами. Арестованным запретили сообщаться и следили за каждым их движением. Набор шел очень медленно, да и рукописи поступали чрезвычайно медленно. Ждали текущего материала, который еще не поступил в типографию. Когда г. Богданов давал советы торопиться с работой, ему отвечали:

— Успеем, нам спешить некуда.

Уже к утру, к пяти часам, появился метранпаж и директор — по-видимому, народ очень опытный. Несколько позже приехали два автора и одна авторша — еврейка. Они писали статьи настолько медленно, что метранпаж потерял терпение и, вырвав недописанный листок, крикнул:

— Ну вас к черту с вашей передовой статьей, выйдем без нее.

Бумага была заперта в сарае. Пролетарии решили взломать замок. Господин Богданов запротестовал и потребовал, чтобы послали за артельщиком. Посланы были два товарища. Они привели артельщика, и тот выдал бумагу.

Среди ночи приезжал какой-то незнакомый с револьвером.

— Во какой,— рассказывал потом сторож.

Приехал еще какой-то субъект и при входе крикнул:

— Вот и я, главный предводитель хулиганов!

Наборная работа окончилась около шести часов утра. Начали выколачивать матрицы и отливать стереотип. Газа, которым согревались печи для стереотипа, не оказалось. Послали куда-то двух рабочих, и газ появился. Все лавки были заперты, но в течение ночи провизия

добывалась непрерывно. Для пролетариев лавки открывались. В семь часов утра приступили к печатанию официальной пролетарской газеты. Печатание длилось до одиннадцати часов утра. К этому времени типографию очистили, унеся с собой экземпляры газеты. Увозили ее на извозчиках, которых собрали в достаточном количестве из разных концов. Впрочем, ночью, около четырех часов, на Бассейной стояло... два автомобиля (!). Утром в типографию попал В. В. Васмунд, заведующий домами А. С. Суворина. Его арестовали и продержали до окончания работ.

Полиция обо всем узнала на другой день и сделала «большие глаза»...

Если выбросить из рассказа романтические «автомобили», таинственные «тени» с браунингами, свирепых оборванных субъектов, рисовавшихся напуганному воображению верного стража суворинских интересов, то в общем он верно передает те условия, при которых обыкновенно печатались «Известия».

Номера газеты выходили в большом количестве и расходились, конечно, главным образом, среди рабочих. Несмотря на неоднократные просьбы различных буржуазных организаций выдавать им «Известия» в большом количестве за плату, последние доставались им в очень ограниченном числе. Точных цифр, в каких печатались «Известия», не помню: кажется, от сорока до шестидесяти тысяч. Раздавались они рабочим даром.

Поведение правительства по отношению к Совету было несколько странное. Вначале оно, видно, не усмотрело ничего особенно опасного в новом учреждении, ставшем во главе стачки. Оно не предполагало, что Совет мог сделаться такой крупной общественной силой, с которой не на шутку придется считаться. Положим, и трудно было помешать первым заседаниям Совета. Высшие учебные заведения еще не открылись, митинги каж-

дый день происходили беспрепятственно, и Совет заседал под их прикрытием. Позже, когда Совет окреп, когда правительство под давлением стачки должно было пойти на уступки и серьезно считаться с общественным настроением, Совет сделался совершенно «легальной» организацией, и полиция даже как будто бы взяла его под свое особое покровительство.

После закрытия высших учебных заведений и до 17 октября полиция только раз потребовала закрытия заседания, но оно было в тот же день перенесено в здание Рождественских курсов (оставшихся почему-то открытыми), где беспрепятственно и состоялось. Что полиция знала об этом, не может быть сомнения, но она не сочла необходимым снова вмешаться. По всей вероятности, главной причиной такого поведения властей было опасение вызвать репрессиями против Совета крупные волнения среди рабочих.

Когда по предписанию судебной палаты полиция явилась в здание Союза рабочих печатного дела отобрать последние номера «Известий Совета Рабочих Депутатов», она все время оправдывалась перед председателем Совета, что сама в этом не виновата. Тут же во время обыска бывшие в наличии номера были спокойно увезены присутствующими товарищами, и никто из явившихся конфисковать не возражал. Совет считался еще настолько сильным, что с ним церемонились. Угрозы председателя, что приставу и прокурору будет объявлен бойкот, не на шутку перепугали их.

В то время как либеральная буржуазия без конца писала петиции, адреса, отправляла депутации с ходатайствами, в Совете каждое предложение, даже вызванное необходимостью отправлять депутатов к Витте с тем или иным требованием, вызывало горячие дебаты и протесты. К концу своей деятельности Совет совсем перестал их отправлять.

Кто бы ни стоял во главе правления, Трепов или Витте, Совет не мог изменить своего отношения к представителям господствующего режима. Сейчас же после 17 октября боевым лозунгом буржуазии стало требование отставки Третьякова. В заседаниях Совета депутаты смеялись над такой политической наивностью, связывающей режим с тем или иным страшным именем. С диктатурой Витте, заменившей диктатуру Третьякова, старый режим еще не перестал существовать.

Какие чувства питал Совет к Витте, особенно рельефно выразилось в ответе его на знаменитую телеграмму последнего. Узнав, что рабочие снова собираются бастовать, мнящий себя очень популярным в народе премьер обратился к «братцам рабочим» с воззванием:

«Братцы рабочие! Станьте на работу, бросьте смуту, пожалейте ваших жен и детей. Не слушайте дурных советов. Государь приказал нам обратить особое внимание на рабочий вопрос. Для этого Его Императорское Величество образовал министерство торговли и промышленности, которое должно установить справедливые отношения между рабочими и предпринимателями. Дайте время — все возможное будет для вас сделано. Послушайте совета человека, к вам расположенного и желающего вам добра. Граф Витте».

На митингах телеграмма дала повод к многочисленным островам по адресу любвеобильного графа. На заседании Совета без прений единогласно была принята следующая резолюция, дающая резкий отпор фамильярности министра и высмеивающая его «рабочелюбие»:

«Совет рабочих депутатов, выслушав телеграмму г-ра Витте к «братцам рабочим», выражает прежде всего свое крайнее изумление по поводу бесцеремонности временщика, позволяющего себе называть петербургских

рабочих «братцами». Пролетарии ни в каком родстве с гр. Витте не состоят.

По существу Совет заявляет:

1. Гр. Витте призывает нас пожалеть наших жен и детей. Совет рабочих депутатов призывает в ответ всех рабочих подсчитать, сколько вдов и сирот прибавилось в рабочих рядах с того дня, как Витте взял в свои руки государственную власть.

2. Гр. Витте указывает на милостивое внимание к рабочему народу. Совет рабочих депутатов напоминает петербургскому пролетариату о кровавом воскресенье 9 января.

3. Гр. Витте просит дать ему «время» и обещает сделать для рабочих «все возможное». Совет рабочих депутатов знает, что Витте уже нашел время для того, чтобы отдать Польшу в руки военных палачей, и Совет рабочих депутатов не сомневается, что Витте сделает все «возможное», чтобы задушить революционный пролетариат.

4. Гр. Витте называет себя человеком, расположенным к нам и желающим нам добра. Совет рабочих депутатов заявляет, что рабочий класс не нуждается в расположении царских временщиков. Он требует народного правительства на основе всеобщего, равного, прямого, тайного избирательного права».

Не менее резко ответил Совет на воззвание к населению градоначальника, предостерегающее мирных обывателей и рабочих от злонамеренных людей, именующих себя депутатами.

Тем временем правительство хулиганов, «черной сотни», шпионских банд и полицейских провокаторов готовило направить на революционный пролетариат темные силы народа. Все средства оно мобилизовало для этого: спаивание, подстрекательство, раздачу оружия, открытое учреждение под покровительством полиции «хулиганских» союзов, наконец, печатное слово. Сотни тысяч воз-

званий «с разрешения цензуры» и на средства полиции печатались открыто с призывом «Бей жидов, студентов, рабочих и всех социалистов!»

Революционный московский пролетариат в лице Московского союза рабочих печатного дела решил не печатать развращающих массы черносотенных листовок. Петербургские наборщики последовали их примеру, и помещаемое ниже воззвание титулованных хулиганов, графа Орлова-Давыдова и графини Мусиной-Пушкиной, ни один из них не согласился набрать. Хозяева заставили набирать учеников, но печатные экземпляры по постановлению Исполнительного комитета СРД были конфискованы. Чтобы не дать повода черносотенным «сиятельствам» утверждать, что мы побоялись опубликовать их призыв, мы решили перепечатать этот поучительный документ целиком. Вот полный текст:

«Братья рабочие!

Опять борьба, опять кровь изнуренных голодом, измученных душой, вас вновь зовут в бой. Но кто же зовет вас? Ваши новые цари — социал-демократы. Русский царь дал вам свободу, а вы избрали себе других царей — социал-демократов. Царь смягчил всем налоги, а ваши цари вновь наложили и взимают их не на ваши нужды, а на свои. Где эти сотни тысяч ваших денег в Совете рабочих депутатов? Где хлеб для вас?

Вам говорят: бастуйте, голодайте. Так спросите ваших царей, социал-демократов, голодают ли они?

Откуда те газеты социал-демократов: «Русская газета», «Начало», «Новая жизнь», где клеветают на рабочих, что рабочие жаждут братской крови? На ваши деньги издают эти газеты, вас подставляют вновь под пули и штыки, чтобы озлобить вас против войск и войска против вас.

А вы слушаете их и льете братскую, драгоценную кровь. Разве мало вам той крови, пролитой на полях

Манджурии, разве мало вам трупов, сваленных вражеской рукой? А вам говорят: мало, убивайте снова, но уже братской рукой.

Лейте же родную кровь, но этой кровью вы зальете свою свободу. Вы утонете в крови, а вместо вас ваши новые цари найдут себе других рабов. Они не утонут, они не пойдут вместе с вами. Вы нужны им для того, чтобы заслонить их от удара.

Царь зовет вас в Государственную думу, а ваши цари зовут вас на смерть. Царь хочет вашего совета, а они лишь жаждут вашей крови.

Рабы! Вам разбили ваши цепи, а вы куете их для себя. Вы просите на ваши деньги хлеба, а они дают вам газету. Читайте же газету, а ваши цари, социал-демократы, будут есть ваш хлеб.

Орлов-Давыдов, Сергиевская, 17,
граф. Мусина-Пушкина, Франц. набереж., 14
и типогр. «Тренке и Фюсно».

Слушайте, товарищи пролетарии, к вам обращается новый граф-хулиган со старым панибратским «братья рабочие». Слушайте речи сытого графа и беснующейся с жиру графини к голодающим «братцам»!

Они беспокоятся, что ваши деньги в руках Совета рабочих депутатов и социал-демократов!

Подсчитайте, товарищи, сколько миллионов и миллиардов кровных народных денег поглотила сиятельная графская фамилия вместе со своими лошадьми, содержаниями, объедающимися устрицами «графенками» и остальной их славной компанией.

Они спрашивают, голодают ли социал-демократы, зовущие вас к голоду!

Спросите их хулиганское сиятельство, сколько крестьян они высекли, сколько вдов и сирот они пустили по миру за то время, когда социал-демократия в борьбе за

свободу и социализм шла па виселицу, в тюрьмы, в ссылку. Жирный граф и рыхлая графиня беспокоятся, что на ваши деньги издаются социалистические газеты!

Интересно знать, на какие средства думал граф издать свое хулиганское воззвание. Не на трудовые ли деньги, заработанные им и графиней в поте лица своего?

Граф напоминает о потоках крови, пролившейся в Манджурии. (По чьей вине, граф? Может, тоже социалдемократии?)

Не помогли правительству пушки и пулеметы.

Может, ему помогут писатели-хулиганы из графов и графинь?

Все возрастающее влияние Совета должно было заставить его врагов, как часто это бывает в случае бессилия, прибегать к клевете. Смешно их опровергать. Странно было бы отвечать на предъявляемые Совету обвинения в растратах, мошенничестве и т. д., печатавшиеся в разных черносотенных листках, хотя бы авторы их были такие «высокоблагородные» лица, как графы Орловы-Давыдовы и Мусины-Пушкины. Все расходы делались под строгой отчетностью, по постановлению Исполнительного комитета или самого Совета, если вопрос доходил до него. Интересно было бы знать, сделал бы кто-нибудь из этих так заботящихся о «братцах рабочих» буржуев то, что часто делали депутаты, члены Исполнительного комитета, идя на заседание или возвращаясь с него поздно ночью: имея полную возможность брать из кассы на свои разъезды, они предпочитали идти пешком чуть ли не десятки верст, чем тратить на конку лишний гривенник из общественных денег. А ведь на следующее утро им надо было чуть свет подыматься на работу.

Между тем реакция к концу ноября все больше сгустилась. Правительство Витте от туманных речей и воззваний переходило к далеко не туманным действиям. Сперва как бы неуверенно, ощупью, а с каждым днем

все смелее и откровеннее оно давало знать русским обывателям, почему-то возомнившим себя после 17 октября гражданами, что, в сущности, ничего не изменилось, что теперь так же, как прежде, оно призвано бесконтрольно управлять, а народ — молча быть управляемым.

Все чаще и чаще стали распускать собрания, на которые не пропускалась полиция, и конфисковывать номера социалистических газет. Уже целый ряд местностей, особенно на окраинах, были объявлены на военном положении (положение усиленной охраны считалось уже пережитым). В тиши кабинетов вырабатывались законы, которые якобы должны были обеспечить обещанные «свободы», но на самом деле предназначались к обузданию фактически установившейся свободы. Временное положение о печати стало ярким доказательством того, как правительство понимает манифест 17 октября. Только прекраснодушные либералы продолжали еще умиляться тому, что они живут теперь в конституционной стране и никто у них не отнимет завоеванных «неотъемлемых прав человека и гражданина». А в это время разгоняли съезд почтово-телеграфных служащих, производились аресты членов крестьянского союза, Дурново издавал свои циркуляры, которым позавидовали бы даже Плеве и Трепов.

26 поября арестовали председателя Совета. Правительство делало первый шаг, как бы разведывая, на какое сопротивление оно наткнется. Личная популярность председателя среди широких слоев рабочих, занимаемый им ответственный пост как бы наперед обеспечивали серьезность отпора.

Многие из депутатов высказывались за немедленную забастовку, некоторые — за уличную демонстрацию и другие формы массового протеста, по все это было отклонено собранием. На место арестованного председателя был избран президиум из трех товарищей.

За неделю, прошедшую после ареста председателя Совета, выяснилось, что правительство решило ни перед чем не останавливаться для подавления революционного движения. «Конституционная» маска, наполовину уже приподнятая, была окончательно сброшена.

3 декабря должно было состояться очередное заседание Совета в здании Вольно-экономического общества. Исполнительный комитет заседал там с четырех часов. Во время оживленных прений один из товарищей принес известие, что из достоверных источников передают о правительственном решении арестовать сегодня Совет.

Депутаты уже в довольно большом количестве собрались в зале. Было так же много гостей, как и всегда. И до них дошло известие о готовящемся аресте. Исполнительный комитет постановил не распускать собрания, а только предпринять меры для обеспечения преемственности в работах будущего Совета. Предполагалось хотя часть депутатов, хорошо знакомых со всеми делами Исполнительного комитета, спасти от ареста, чтобы тем облегчить эту преемственность. Но было уже поздно. Войска и полиция заняли все выходы, а вскоре и все помещение. Исполнительный комитет успел только принять решение не оказывать сопротивления производимому насилию (обстоятельства складывались так, что оно было бы бесполезно), о чем и было передано собравшимся депутатам.

А дальше... Дальше начались такие привычные для русского революционера сцены: выворачивание карманов для обыска, грубые окрики полицейских, тюремные кареты, одиночное заключение... Хваленая либералами «конституция» 17 октября ничего не изменила в этой обычной картине. Было, правда, одно утешение, что теперь придется сидеть под сенью «неприкосновенности личности», но не знаю, доставило ли бы это утешение даже г. Струве.

3 декабря, как мне кажется, закончился октябрьский период русской революции. Совет, эта организация всеобщей стачки, сделал все, что было возможно, развил в течение двух месяцев своего существования громадную деятельность. Но революция переросла свою старую форму — забастовку, и нужны были новые формы борьбы и новая для них организация.

Наступят ли вновь подходящие условия для зарождения таких широких беспартийных организаций, как Совет?

Конечно да! Наша революция еще далеко не достигла своего апогея. Еще ни один из тех жгучих вопросов, которые выдвинула русская жизнь за последний год, не разрешен».

ГЛАВА XVIII

В расширительном смысле замечание Богдана о неизбежной трансформации формы можно отнести и к подготовительным записям для книги о нем самом. Они то и дело меняли свое обличье, а метод поиска соединял в себе инженерский, паучный и художественный подход.

Сколь решающее влияние может иметь обрамление чужого текста при восприятии его смысла, легко видеть уже из приведенного в записках обращения графа Орлова-Давыдова и графини Мусиной-Пушкиной к пароду. Если отделить текст обращения от кнунянцевских комментариев, то прежде всего бросается в глаза немудрепость письма, изобилующего грамматическими огрехами, в которых повинны то ли авторы, то ли ученики-наборщики. Кажется, что его писали не аристократы, а какой-нибудь нижний полицейский чин.

«Братья рабочие», к которым обращено послание, это, по существу, те же «бедные солдатики», о которых с нескрываемым раздражением против патристически настроенных учениц писала Фаро-гимназистка в связи с началом русско-японской войны. Сами по себе такие определения не более чем сентиментальные пустячки, тогда как комментарии Богдана вкладывают их в уста «сиятельных хулиганов», существенно изменяя не только тональность послания, но и предельно выявляя образ коллективного автора, их писавшего. Слова «братья», «братский», «драгоценная кровь» и «трупы, сваленные вражеской рукой», обретают запах винного перегара и колорит знаменитого «братья и сестры!», хорошо знакомого послевоенным пассажирам пригородных электричек.

В своих записках о первом Совете рабочих депутатов Богдан не называет фамилий, хотя имена членов Исполнительного комитета и рядовых депутатов были уже хорошо известны тем, кто вел длящееся около года судеб-

ное разбирательство. Ничего не пишет он о встрече с Миха Цхакая, ненадолго приехавшим в Петербург и введенным в Совет от рабочих Закавказья. Отсутствуют также упоминания о встрече с Виктором Никодимовичем Пилипенко в стенах Технологического института, где происходило второе заседание Совета. Не сообщается и о том, что одним из «диктаторов», руководивших грандиозной демонстрацией 18 октября, был двадцатидевятилетний инженер Николай Саркисянц, оп же Петров, а другим — председатель Совета, двадцатисемилетний кандидат юридических наук Георгий Степанович Хрусталеv-Носарь.

По окончании расследования обвиняемый Саркисянц якобы признался, что его настоящее имя Богдан Кну-нянц, а почти через год после ареста заявил, что никаких показаний на дознании не давал, таковой фамилии не называл и совершенно не понимает, какими данными руководствовались жандармы, признав в нем Кнунянца.

По делу проходил еще один Петров, Алексей, одногодок Богдана, «владелец трех револьверов». Если добавить к этому, что двадцатисемилетний Кнунянц на всякий случай прибавил себе два года и на процессе фигурировал как «шутинский мещанин, 29 лет», то станет ясно, какой бег с пренятствиями представляли собой для суда конспиративные игры.

Отсутствие имен, некоторая отстраненность повествователя от описываемых событий, ссылки на передовые статьи «Известий», им самим написанные, как на коллективное мнение Совета, что само по себе подразумевает отказ от авторства, придает фигуре Богдана таинственную незавершенность и неопределенность. Будто лицо его потерялось, деллокализовалось, деперсонифицировалось, слилось с лицом многоликой толпы демонстрантов. Словно член Исполнительного комитета инженер Саркисянц, он же Петров, Радин, Русов, Богдан, Рубен, вся-

кий раз существовал в новой резонансной форме, в новом лице, новом качестве, перевоплощаясь то в одного, то в другого подсудимого, проходящего по делу Совета рабочих депутатов.

Выдержки из передовой статьи второго номера «Известий», написанной Богданом Кнунянцем, цитировались в обвинительном акте для доказательства призыва Совета к вооружению. «Когда народ возьмет в руки ружье,— писал Богдан,— он на кроваво-красных стенах Зимнего дворца напишет концом палки свой великий указ. Это будет указ смерти царскому правительству и указ свободной республиканской жизни для народа».

В бумагах Ивана Васильевича имеется довольно много записей, касающихся деятельности Петербургского Совета. Судя по всему, сделаны они во время процесса, который проходил при закрытых дверях. Но как тогда понять утверждение Ивана Васильевича, что Богдана Мипаевича он никогда не видел?

Вся история захвата «Нового времени» в этих записях выглядит несколько иначе, чем в рассказе Суворина. Например, причина освобождения сотрудника газеты Гольштейна становится здесь более понятной: он дал требуемое слово за себя и за Суворина, что они не сообщат о захвате типографии в полицию. В суворинской интерпретации его сотрудник предстает в более выгодном свете, но его освобождение едва ли можно считать мотивированным.

В тех же записях имеется чрезвычайно интересное упоминание о типографском рабочем Зенине, ставшем впоследствии провокатором. Но об этом рассказывает уже бабушка Фаро в своих воспоминаниях.

Бабушкины свидетельства всякий раз возвращают меня на твердую почву реальности. Я стараюсь постоянно держать ее в поле зрения, как водитель автомобиля — разделительную полосу или кромку шоссе в сильный туман.

В числе лиц, принимавших участие в нападении на типографии газет «Новое время» и «Наша жизнь», а также в работах по печатанию в этих типографиях «Известий», были Исаак Голынский, Арсений Симановский, Ольга Никольская, мещане Семен Зенин и Алексей Филиппов, крестьяне Николай Шевченко, Иван Клейц и Александр Быков, скрывшийся во время производства следствия. Арсений Симановский являлся главным руководителем как по распределению работы, так и по принятию различных мер предосторожности. Голынский и Быков находились в числе тех трех лиц, которые первыми проникли в типографию «Нового времени». Шевченко был тем лицом, которое заменило собой сторожа Усачева, надев полушубок и шапку последнего и заняв его место у ворот. Филиппов состоял в числе лиц, взявших на себя охрану помещений типографий во время печатания «Известий», а Зенин и Никольская занимались корректурую этих последних.

На суде Голынский показал, что для отпечатания седьмого номера «Известий» он заручился запиской-ордером за подписью Хрусталева. Для осуществления возложенной на него задачи он пригласил с собой Александра Быкова и еще одно, не установленное следствием, лицо, а также около двадцати трех человек наборщиков и рабочих. Люди эти были вооружены револьверами, кинжалами и кистенями, причем сам он, Голынский, раздал им по дороге в типографию девять револьверов. Голынский и двое первых из указанных лиц собирались проникнуть в типографию, завладеть ею и затем впустить всех остальных, которые должны были ожидать распоряжений, собравшись в трактире, помещающемся на Басейной улице, против Эртелева переулка. План этот был приведен в исполнение, причем сторожа, стоявшего у ворот типографии, сняли со своего поста и заменили одним из рабочих, назвать коего Голынский отказался. Рабочего

этого тотчас одели в верхнее платье сторожа, причем, хотя у него уже имелся револьвер системы «Смит и Вессон», Голынский вручил ему еще пистолет системы «Браунинг». Далее Голынский удостоверил факт напечатания «Известий» на бумаге, принадлежащей типографии, и заметил, что они второпях забыли заплатить за бумагу. В тот вечер, когда была таким образом занята типография «Нового времени», в Вольно-экономическом обществе происходило заседание Совета рабочих депутатов. Тотчас по завладении типографией об этом было дано знать Совету, и оттуда около двух часов ночи пришел Арсений Симаковский, приведший с собой на помощь еще нескольких вооруженных рабочих, в их числе арестованного позже Зенина, которого отпустили без последствий, так что на процессе по делу Совета рабочих депутатов он не фигурировал.

Не отрицая того обстоятельства, что типография была занята посредством насилия и угроз, Голынский заметил, что они, нападавшие, рассчитывали на действенность этих угроз, не предполагая, чтобы их пришлось приводить в исполнение. Однако, добавил Голынский, если бы при сопротивлении попытались их задержать и передать властям, то они, разумеется, стреляли бы, так как револьверы были заряжены, притом у него, Голынского, разрывными пулями.

Ольга Никольская, не отрицая пребывания своего в типографиях «Нашей жизни» и «Нового времени», когда печатались там «Известия», заявила, что о способах завладения этими типографиями ей ничего не было известно и что посещения ею таковых объясняются тем, что, ведя протоколы заседания Совета и не успевая закончить их вовремя, она вынуждена была ездить туда, где печатались «Известия», чтобы по мере окончания протоколов немедленно отдавать их в набор. Клейц, признавая свое участие в напечатании № 6 и 7 «Известий», утверждал,

что его послали для этого в типографии газет «Наша жизнь» и «Новое время» из Союза рабочих печатного дела, причем в последний раз неизвестным человеком в присутствии Зенина ему был выдан рубль на поездку и на прокормление.

Обвиняемый Георгий Носарь утверждал, что захват типографий происходил по обоюдному согласию владельцев типографий или их заместителей и Совета. По словам обвиняемого, Совет, вынужденный для проведения всеобщей стачки приостановить выпуск газет в Петербурге, счел необходимым издавать свой собственный орган, носящий характер бюллетеней. По этому поводу Совет снесся с редакциями некоторых газет с целью выяснить, не уступят ли они для этого свои типографии. Ответы получились однородные. Редакции заявили, что они, сочувствуя рабочему движению, готовы помочь, но опасность уголовной кары не позволяет сделать этого. Ввиду сего он, Носарь, предложил компромисс: фиктивное насильственное занятие типографий по ордеру Совета, сопровождающееся якобы арестом застигнутых там служащих, и поэтому, в случае возбуждения уголовного преследования против лиц, заведующих типографией, — полная безответственность последних. Носарь утверждал, что если бы «Новое время» отказало ему в предоставлении типографии для напечатания «Известий», то он отказался бы от пользования этой типографией.

Между прочим, Носарь указал и на то, что 3 или 4 ноября к нему от Суворина явилось одно лицо с предложением принять участие в обсуждении с самим Сувориным и членами Союза борьбы за свободу печати вопроса об издании во время забастовки общей газеты. На это предложение он, Носарь, ответил Суворину письмом на бланке Совета рабочих депутатов: «Милостивый государь, господин Суворин! На ваше предложение отвечаю, что приехать для переговоров не могу. В настоящее время

«Известия» будут выходить прежним порядком. Редакция газет, в том числе и «Новому времени», придется стать на революционный путь, тогда мы будем у вас печатать. Насчет будущих забастовок издание газеты или «Известий» будет зависеть от Совета. Председатель Хрусталев».

Во время первого разбора дела 20 июня 1906 года было вызвано до четырехсот свидетелей, из них не явилось сто двадцать, в том числе А. С. Суворин и М. А. Суворин. После двухчасового заседания на обоих Суворинных палата наложил штраф за неявку по двадцать пять рублей на каждого и постановила слушание дела отложить. После отсрочки дела состоялось распорядительное заседание С.-Петербургской судебной палаты, которое решило изменить меры пресечения по отношению к части подсудимых, и некоторые из них были оставлены на свободе.

Во время второго судебного разбирательства сторож типографии «Русь» Вилинов в связи с печатанием в этой типографии «Известий» рассказал следующее:

— Когда я стал ложиться спать, я услышал, что кто-то со двора стучится. Доложил управляющему. Он спрашивает: «Кто стучится?» «Должно,— говорю,— наборщики». «Какие,— говорит,— наборщики?» «Должно,— говорю,— наши». Ну и пустил их. Входят человек двадцать. Смотрю — не наши. Нет ни одного знакомого. Последний вошел и запер двери на ключ. «Ну,— говорит,— теперь ты арестован до свету, ложись спать!» Потом пришел управляющий. «Ты,— говорит,— не бойся, спи». Я и лег. Ушли почные посетители утром и понесли с собой какие-то свертки.

Один из свидетелей, директор Тенишевского училища А. Я. Острогорский, для доказательства того, что Хрусталев и Совет рабочих депутатов играли роль негласного правительства, сослался на «Маленькие письма» Су-

ворина, в которых он противопоставлял умное и талантливое правительство Совета бездарному правительству графа Витте и выражал удивление, почему Хрусталеv до сих пор не арестовал графа Витте. «Я смотрю, где живые люди,— писал Суворин.— Я их ясно вижу у правительства незаконного, и они в тумане мне видятся у правительства законного». Даже по поводу захвата своей типографии он восклицал: «Ай да молодцы! Чистая работа!»

Другой свидетель, Васмунд, на дознании показал, что в типографию явился он случайно 7 ноября утром и был задержан. Типография занята была вооруженными рабочими, которые угрожали ему револьверами. Свидетель хотел удрать через окно по веревке, но веревки не было. Как только рабочие окончили печатание, свидетеля отпустили, и он поехал доносить об эпизоде градоначальнику.

Усачев, сторож типографии «Нового времени», также показал на дознании, что ему угрожали.

Управляющий типографией «Нового времени» Богданов опроверг показания предыдущих свидетелей. Револьвером свидетелю не угрожали ни разу, даже когда он говорил по телефону. Всего отпечатано было тридцать тысяч экземпляров, больше свидетель печатать не дозволил, и явившиеся ему повиновались. Гольштейн, переговорив с рабочими, уехал, никаких распоряжений не оставив.

Все остальные свидетели эпизода в «Новом времени» отвергали влияние угроз со стороны явившихся. Наличие рабочие «Нового времени» помогали печатать. Работавшим служащим «Нового времени» явившиеся предлагали плату за работу. Все вместе закусывали и пили чай.

К сожалению, в бумагах Ивана Васильевича я не нашел никаких упоминаний о том, закусывал ли и пил ли чай вместе со всеми Семен Зенин. Вообще эта неясная

фигура ни в коей мере не выявлена на процессе, не «выкристаллизована», если пользоваться физико-химической терминологией одного из обвиняемых, двадцатисемилетнего дворянина эсера Авксентьева, как и Богдан, приговоренного судом к пожизненной ссылке на поселение с лишением прав. Авксентьев использовал эти слова в следующей части своей речи на суде: «Правительство имело власти только настолько, чтобы, будучи аморфным само, сделать аморфным и народ, которым оно управляло. Партия должна была заняться организацией этих аморфных масс. Партия должна была их кристаллизовать».

Из пятнадцати обвиняемых, разделивших участь Богдана Кнунянца и дворянина Авксентьева, то есть сосланных на поселение за Полярный круг, десять человек было в возрасте от 23 до 27 лет, а самому старшему, надворному советнику Федору Флориановичу Шанявскому, исполнился 61 год.

Исчезнув с петербургского процесса, Семен Зепин двумя годами позже объявляется в Баку, куда из Тифлиса приезжает и бабушка в силу обстоятельств, изложенных ею в автобиографии.

«В те дни,— пишет бабушка,— большевики прямо и резко ставили вопрос об организации всенародного вооруженного восстания, тогда как меньшевики поддерживали Булыгинскую думу. В день объявления царского манифеста на одном из митингов в Тифлисе, кажется на Головинском проспекте, Ной Жордания и Исидор Рамишвили в один голос кричали о том, что абсолютизм пал и Россия стала конституционной монархией. Мы же бегали с митинга на митинг, из района в район, разъясняя лживый характер манифеста.

Пережив все ужасы 1905 года — Кровавое воскресенье, черносотенные погромы, шушинскую резню с ее пожарами, убийствами и грабежами,— я чувствовала себя порой

совершенно сломленной и опустошенной. Герцен в «Былом и думах» говорил: «Кто мог пережить, тот должен иметь силу помнить». У меня не оказалось таких сил. Я старалась подавить память, не оглядываться назад, думать только о будущем, но ничего не могла поделать с собой.

По вечерам, завершив дела, я возвращалась в свою тихую комнату на Пушкинской улице над молочной Короны. Усталая, опускалась на кровать и долго сидела, не в силах пошевелиться. Вдруг начиналось какое-то движение наверху. Внутри все сжималось от леденящего страха. В темном углу копошились тени, на меня обрушивался потолок, стены раздвигались, возникал огонь, и вот уже горел весь угол комнаты. Пламя жадно схватывало портрет, написанный Тиграном к первомайской демонстрации, флаги, шушинский наш дом. Из этого огня ко мне тянулись руки изувеченных и обожженных. Они пытались душить меня. В комнате стоял душераздирающий вопль осиротевших детей, множество судорожно сжатых кулаков грозило мне, сыпались проклятья.

Я хотела кричать, звать на помощь, но голоса не было и не было сил. Видение исчезало. Я вздрагивала, просыпалась.

Я лежала на полу, одетая. Лампа горела на столе. Стояла глубокая ночь.

Утром я старалась забыть о ночных кошмарах. Бурные события дня вновь вовлекали меня в свой водоворот.

Тогда я всецело паходила под влиянием всего, что писал Ленин о вооруженном восстании. Душа жаждала подвига, жертв, необыкновенных действий, способных усмирить душевный мятеж. Занятия в рабочих кружках, переданных мне Миха, вся организационная работа казались чем-то второстепенным, явно недостаточным. На очереди было вооруженное восстание, и я полагала, что все силы должны быть отданы теперь ему.

Однажды в воскресный день ко мне зашел Камо и пригласил отправиться с ним за город на занятия стрелкового кружка. Я с радостью согласилась. Сначала, помнится, мы шли по Коджорской дороге, потом свернули с нее и углубились в лес. Шли, весело болтая о пустяках. Я догадывалась, что Камо взял меня с собой лишь для того, чтобы не вызвать подозрений у полиции.

— Ну чем мы с тобой не жених с невестой? — радовался он как мальчишка. — Кто догадается, куда и зачем мы идем?

В условленном месте собралось человек восемь дружинников — все веселые, прекрасные ребята, грузины. Некоторые из них даже не знали русского языка.

Я стреляла вместе со всеми.

Стрелять я научилась еще в Шуше, когда два-три года назад летом мы с Тиграпом уходили за несколько верст от города и стреляли в цель из маленького револьвера, купленного им за бесценок у какого-то семинариста. Потом училась стрелять в Петербурге как член одной из боевых дружин, организованной за Нарвской заставой.

Потребность с кем-то поговорить, посоветоваться, что делать дальше, оставалась неутоленной, ибо не было рядом человека, с которым могла бы поделиться своими переживаниями. Не с Камо же. Он казался для этого слишком молодым и легкомысленным.

Я продолжала находиться в таком неопределенном, как бы подвешенном состоянии, когда в Тифлисе появился Кирилл Грошев вместе с безукоризненно одетым человеком средних лет, назвавшимся Цейтлиным. Да, именно Кирилл познакомил меня с ним.

Я поинтересовалась, не имеет ли приехавший отношения к бакинским богачам Цейтлиным, чей дом находится на Большой Морской улице. Цейтлин оказался их родственником. Он объяснил, однако, что еще юношей по прин-

ципальным соображениям порвал с семьей и уехал в Америку. Там он стал социалистом. Уже тридцатилетним человеком много ездил по Европе как член социал-демократической партии, познакомился с Лениным и вот теперь, после ряда встреч и переговоров с ним, приехал в Россию со специальными полномочиями.

После расспросов, где я живу, чем занимаюсь, он рассказал о том, ради чего приехал в Тифлис. Дело, предупредил он, сугубо конспиративное, и поэтому никто, даже руководящие работники Тифлисского и Союзного комитетов, не должны о нем знать.

— Ни один член партии не может действовать без ведома и согласования своих действий с руководством, — возразила я.

Он заметил на это, что бывают такие исключительные случаи, когда отдельным партийцам даются указания непосредственно из Центра через специально делегированных лиц. Обычно это бывает тогда, когда речь идет о чрезвычайных обстоятельствах. Такие обстоятельства настали. Россия накануне величайшей революции, какой еще не знал мир.

Слова незнакомца несказанно взволновали меня. Захотелось узнать подробнее, что имеет в виду этот вдруг неизвестно откуда взявшийся в моей жизни человек и почему он избрал именно меня для своих конспиративных переговоров.

Однако в тот день мне так и не удалось ничего узнать. Нужно было срочно ехать на вокзал с цветами, чтобы встретить приезжающего товарища, а затем устроить его на время у кого-нибудь из знакомых, пока ему не подыщут подходящее убежище. Поэтому мы попрощались с Цейтлиным, условившись завтра вечером снова встретиться у меня.

На следующий день Цейтлин рассказал, что он возглавляет диверсионную группу, в которой уже имеется необ-

ходимое число преданных делу мужчин. Нужно, чтобы в группу вошла хотя бы одна женщина. Поскольку в ближайшее время группе предстоит действовать на Кавказе, женщина должна быть из местных. Переговорив с товарищами, он остановил свой выбор на мне, как наиболее подходящей кандидатуре.

На вопрос о целях и задачах группы Цейтлин ответил, что им поручено заниматься захватом денег и оружия для нужд революции.

— Словом, дорогой товарищ, все это пахнет партизанщиной и сопряжено с большим риском. Затея наша требует мужества, находчивости, самоотверженности. Если вы решитесь пойти с нами, то должны быть готовы к самому худшему, включая военно-полевой суд. Может случиться и так, что самой придется убивать. Хотя в большинстве случаев, скажем, при нападении на почтовый транспорт или на казначейство, женщине предстоит завлекать охрану, прятать экспроприированное имущество, доставлять его к месту назначения.

Чем больше он пугал, разжигая мое воображение, тем быстрее готова я была согласиться на его предложение. Он все еще продолжал говорить о той физической и нервной нагрузке, которая выпадает на долю каждого участника боевых операций, когда я перебила его:

— Мне все понятно. Я согласна.

Видимо, мой решительный тон несколько обескуражил его.

— Знаете ли, товарищ Эмма (я жила в Тифлисе по паспорту Эммы Саркисян), мне кажется, вы еще не вполне отдаете себе отчет, насколько все это серьезно. Вы слишком молоды для того, чтобы так сразу принимать подобные решения. Я не хочу, чтобы вы упрекнули меня потом в подстрекательстве и обмане. Ведь вам придется отречься от близких, родных, друзей, исчезнуть из жизни, жить под разными фамилиями, стать человеком-невидим-

кой. Подумайте как следует. Даю вам сутки на размышление.

Я взялась что-то шить, как бывало в часы особых волнений, и просидела всю ночь, размышляя о предстоящих переменах в моей жизни. Мысль о том, что придется оставить стариков родителей без материальной поддержки и что мое исчезновение причинит им много горя, заставляла страдать и сомневаться. Но ведь предлагаемое Цейтлицым было как раз то, о чем я мечтала долгие бессонные ночи последних месяцев, в дни гапоповских событий, когда мы разыскивали по больницам раненых товарищей, и в дни армяно-татарской резни в Шуше, когда город горел и люди, чувствуя свое бессилие, ждали собственной гибели. Жажда мести, решительных действий была столь недолима, что все прочее казалось второстепенным.

Настало утро. Наспех умывшись и позавтракав, я отправилась на урок.

— Что с вами? — спрашивали ученицы. — Уж не больны ли? Вы сегодня на себя не похожи.

Потом отправилась на Адельхановскую фабрику, где вела рабочий кружок из армян. Занятия по программе не ладились, и мы стали просто говорить о разном, о пустяках. Но пустяки эти невольно смыкались с теми большими общественно значимыми проблемами, к которым сводился любой разговор, ибо сам воздух был ими пропитан и вся жизнь наша зависела от их решения. Я вспомнила «Дедушку»-Мелика, или мастера Мелика — Мелик-уста, его еще так называли, — который, посылая меня на собеседование с кустарками в Баку, советовал быть попроще с рабочими, не читать поучений, не говорить с ними языком брошюр, ибо простым, естественным языком разговаривая на любую тему, вольно или невольно передашь им все, с чем пришла. Теперь я убедилась на практике в справедливости слов Дедушки.

И вдруг точно кольнуло.

Я с тоской подумала о том, что теперь ничего этого не будет — ни кружков, ни учениц, ни старых товарищей. Не означало ли это отступления? Нет и еще раз нет. Вопрос решен. Сегодня же даю согласие.

Поздний вечер. Цейтлин, Грошев и я сидим в моей комнате, обсуждаем практическую сторону дела. Через две недели, самое позднее через три, я получу телеграмму с подписью «Савва» и сообщением о том, что он ждет меня такого-то числа. К назначенному времени я приеду в Баладжары — на станцию, близко расположенную от Баку. У входа в зал первого класса меня будет ждать человек с марлевой повязкой на правой руке. Он скажет: «От Саввы», — и мы отправимся в условленное место.

Потянулись мучительные дни. В ожидании телеграммы от Саввы я не раз представляла себе, как свяжу свои вещи, напишу письмо Леле Бекзадян — пусть придет и заберет их себе. Хозяевам комнаты заплачу вперед. Попрошу Лелю передать товарищам, что я вынуждена срочно выехать из Тифлиса по личному делу. Пусть понимают как хотят. Когда вернусь, объясню, в чем дело.

Но на самом деле я уже никогда не вернусь.

Так прошла неделя, другая, третья.

При полном попустительстве властей между армянами Авлабарского района Тифлиса и татарами Харпукского произошла вторая для меня за этот год братоубийственная резня. Забастовали железнодорожники. Я чувствовала себя, как в мышеловке, продолжая механически делать все, что требовалось: вести рабочие кружки, выполнять организационную работу, дежурить в редакции нашей газеты.

Меня не покидала мысль о том, что жизнь копчена. Что-то неладное творилось со мной. От Цейтлина не поступало никаких известий.

Начавшееся в предместьях Тифлиса восстание было жестоко подавлено, Камо — арестован.

В феврале в Тифлис по партийным делам приехала Ногин. Явка ему была дана ко мне, и поскольку он добрался до дома Короны только поздним вечером, то должен был остаться до утра. Его очень смущало это обстоятельство. Мы виделись впервые. За разговором предстояло как-то скоротать ночь. Я сидела на кровати, он — на диване, поскольку стульев в комнате не было. На столе стояла керосиновая лампа, в щели полуоткрытой в коридор двери гуляли кособокие тени. Мы не заметили, как заснули.

Когда я с трудом разомкнула глаза, кругом стоял мрак. Сквозь черные занавеси едва пробивался утренний свет. Я огляделась, ничего не понимая. Вдруг рядом раздался хохот. Это смеялся Ногин. Взглянув на его покрытые толстым слоем сажи лицо и одежду, я догадалась, что ночью поднялся ветер, дверь захлопнулась, лампа закончила всю комнату.

— Ай да трусы мы, пуритане, нет чтобы сразу закрыть дверь, — смеялся Ногин.

Он был похож на черта. Видно, и я выглядела не лучше. Стены, потолок, скатерть — все было черно. Наскоро умывшись, Ногин отправился в баню, а мы с кухаркой хозяев принялись убирать комнату.

Сажу невозможно было стереть. Липкая, она въедалась во все поры, и желание очиститься, освободиться от грязи было столь же велико, сколь трудно выполнимо.

От Цейтлина по-прежнему не было никаких вестей. Я чувствовала, что больше так жить не могу. По вечерам болело все тело, ныл каждый нерв. Жизнь становилась невыносимой.

Я худела на глазах. Друзья заставили пойти к невропатологу, дяде одного из наших пронагандистов. Он охотно брался бесплатно лечить друзей своего племянника, ибо хотел всегда иметь в приемной побольше пациентов.

Это могло дать ему репутацию врача с большой практикой.

Врач сказал, что у меня полное первичное истощение, необходимо длительное лечение: уколы, ванны, покой, усиленное питание.

О каком покое могла идти речь? О каком отдыхе и питании?

Через несколько дней после посещения врача пришло письмо от Кирилла Грошева из Баку. Он просил прощения за столь долгое молчание, которое объяснял тем, что сам с нетерпением ждал известий от Цейтлина.

«Фаро, милая, — писал Кирилл, — произошло непредвиденное. Цейтлин не социал-демократ вовсе, а известный в Европе анархист. Он действительно был в Женеве, но никаких полномочий от Ленина не добился. Поэтому решил действовать на свой страх и риск. Возможно, при благоприятном стечении обстоятельств он бы помог партии, однако, на беду, в его группу по чьей-то рекомендации попал агент царской охранки, который выдал его. Сам он человек честный, но собрал вокруг себя таких отъявленных авантюристов и головорезов, что неизвестно, чем бы все это кончилось. Цейтлина арестовали, и что с ним стало, не знаю: не то расстреляли, не то сослали на каторгу».

Письмо кончалось словами: «Прости, Фаро, что вовлек тебя в эту авантюру, которая могла для нас так плохо кончиться».

Вместо облегчения я испытала полное опустошение. Словно кто-то подтолкнул меня к краю обрыва. Как после всего, что случилось, могла я смотреть в глаза товарищам? Кому посмела довериться? На что истрачен остаток сил, решимости, энергии? Как дальше жить?

Письмо от Кирилла пришло в субботу. Я вернулась с очередного урока. По субботам у нас в организации особых дел не было, и остаток дня я пролежала в постели.

Работница, которая за небольшую плату обслуживала меня, заглянула ко мне вечером, спросив, не падо ли чего. На завтра с утра она уезжала куда-то на весь день. Я сказала, что мне ничего не нужно, и работница ушла.

Был поздний вечер, когда почти машинально я начала складывать свои вещи. Боялась спросить себя, зачем это делаю. Потом села за стол и написала письмо Леле. Просила ее отправить мои вещи родным, сообщив, что я умерла от разрыва сердца. В этот же конверт вложила записку с просьбой никого не винить в моей смерти. Я уйду из жизни лишь потому, что совсем не осталось физических сил жить дальше.

Запечатав письмо, наклеила марку, написала на конверте адрес и села на кровать. Часы показывали три часа ночи. В голове ни одной мысли, в душе ни одного желания. Сажу и повторяю про себя до бесконечности: «Сегодня воскресенье, последний мой день».

Видимо, я заснула. Очнувшись, увидела, что комната освещена солнцем. Десятый час. Было такое чувство, будто уже случилось что-то непоправимое, нужно поторопиться, иначе могу опоздать.

Поспешно одеваюсь, причесываюсь. Снова открываю корзину с вещами, надеваю лучшее платье. Торопливо выхожу из дому. Решение приходит само собой: на фуникулере наверх и спрыгнуть оттуда, как это сделал, по рассказам, некий самоубийца.

Быстро иду, не оглядываясь. Ни о чем, кроме фуникулера, не могу думать. Поднимаюсь на Эриванскую площадь. Жарко. Хочется пить. Так хочется выпить чего-нибудь холодного, ледяного. Необыкновенно сильное желание, сумасшедшая жажда.

Остановливаясь перед молочной Сакаяна. Ничего не соображая, будто все это происходит во сне, вхожу в молочную и прошу у подавальщицы порцию мороженого. Она с удивлением смотрит на меня и говорит, улыбаясь,

что в такой час мороженого у них не бывает, придется немного подождать.

— В это время обычно берут кофе, простоквашу, какао со сладкими булками, — говорит подавальщица.

В кафе врывается шумная ватага студентов. Все звенит от грузинской речи. Откуда их столько в Тифлисе в конце февраля? У каждого в петлице мимоза. Студенты смотрят в мою сторону, перешептываются.

Подают мороженое.

Я жадно съедаю порцию, прошу дать другую. С жадностью уничтожаю и эту, позабыв о всяком приличии. Слышится молодой смех. Студенты вынимают из петлиц ветки мимозы — получается букет. Один из них подходит ко мне и кладет букет на мой столик.

Второпях расплачиваюсь и выбегаю из молочной. Улица полна движения, света. Лица людей освещены первыми лучами весны. Такое ощущение, будто из мрачного подземелья жизнь вырвалась на свежий воздух.

На фуникулере я поднялась наверх.

С горы Тифлис казался необыкновенно красивым. Колюче поблескивали вымытые после зимы окна в домах. Мелкие изломы крыш, хаотические нагромождения каких-то строений выпукло выступали из стеклянно-прозрачного утреннего воздуха.

Я спустилась с горы и принялась, как безумная, бродить по улицам. Жадно разглядывала прохожих, заглядывала в окна первых этажей, за которыми, мне казалось, протекала радостная жизнь счастливых семей. Где-то там, за занавесками, люди нежились в своих постелях, пили кофе, любили, читали газеты, разговаривали.

Как нечто далекое, ненавистное, отдаленное от меня на целую жизнь вспоминались комната над молочной Короны, страшные ночи и вечера, с ней связанные. Я решила тотчас отправиться к Леле, чтобы с ее помощью сегодня же подыскать себе другую комнату.

Шла к Леле, но почему-то оказалась в отдаленном от центра городском саду и теперь чувствовала только усталость — впервые за долгое время,— приятную физическую усталость».

Дальше бабушка описывает свой приход к Леле Беквадян и то, как принялась ее целовать, будто не видела целую вечность, как переехала на новую квартиру и проспала в ней семнадцать часов кряду.

«Какой это был живительный сон! — пишет бабушка.— Я проснулась с тихой, спокойной душой, навсегда похоронив воспоминания о зимних петербургских и летних шушинских событиях, о тягостных встречах с Кириллом и Корой, о неудачном вооруженном восстании и невыносимо томительных днях ожиданий телеграммы от авантюриста Саввы».

Чтобы вплотную подойти к обстоятельствам, сопровождавшим бабушкин переезд из Тифлиса в Баку, и к продолжению истории Зенина, имеющей прямое отношение к последним дням жизни Богдана Кнунянца, мне придется привести еще ряд выписок из ее воспоминаний. Но прежде я бы хотел возблагодарить ту жажду и тот счастливый день ранней тифлисской весны, который подарил жизнь бабушке, маме, мне, детям моим и внукам. Пусть книга, которую я когда-нибудь напишу, послужит доказательством этой моей, быть может несколько запоздалой, благодарности.

«У нас, армянских работников, членов РСДРП,— пишет бабушка,— с каждым годом обострялись отношения с дашнаками. В один из воскресных дней конца февраля 1906 года во дворе армянской церкви, где мы часто назначали явки, я ждала товарища. Неподалеку стояла группа знакомых дашнаков и о чем-то громко спорила. Самым шумным был один из их лидеров по кличке Дьявол. Он-то и обратился ко мне с насмешливым вопросом:

— Как же теперь, товарищ Фаро, вы собираетесь критиковать нас? Ведь мы объявили себя представителями армянского рабочего класса и намерены бороться за социализм.

Помнится, я ответила:

— Так трудно предположить, что будет завтра с политиками, которые держат нос по ветру. Боюсь, что когда ветер подует с противоположной стороны, они много бедствий принесут своему народу. Можете ли вы называть себя социалистами, когда еще совсем недавно отрицали существование армянского пролетариата, кричали о единых национальных интересах, о национальной дисциплине, называли нас изменниками нации? А теперь сами сделались представителями армянского пролетариата, социалистами. Да кто вам поверит? Кого хотите обмануть своим хамелеонством?

— Вы ответите за свои слова,— крикнул мне Дьявол.— Я велю вас арестовать.

— Что ж,— сказала я,— вы и на кулачную расправу мастера.

Через день после этого разговора, когда я шла с урока по Веньяминской улице, ко мне подошли двое молодых людей и один из них сказал тихо:

— Ормиорт, вы арестованы. Идите с нами.

— С какой стати? Кто вы такие?

Тогда говоривший расстегнул пальто, и я увидела, что он вооружен.

— Вы хотите показать, что мне грозит, если не подчинюсь вам?

Мой вызывающий тон несколько смутил их.

— Да вы не беспокойтесь, ориорт. Велено арестовать вас только на три дня за оскорбление партии дашнакцутюн.

— Ладно,— сказала я,— пойдем. Только даром вам это не пройдет. Вряд ли кому-нибудь придется по вкусу ваша тактика в отношении политических противников.

Они привели меня в незнакомый дом. Просторная комната была убрана по старинному армянскому обычаю: три тахты покрыты коврами и огромный дорогой ковер на полу. Встретила меня пожилая женщина в армянском костюме. Видно, была предупреждена о моем приходе.

— Вот здесь, ориорт, вы и останетесь.

— Я хочу написать вашим руководителям.

— Пожалуйста, мы передадим.

В записке я написала, что арест политического противника — явление позорное для тех, кто называет себя революционерами, что это далеко не лучший способ полемики, что помимо политической работы у меня имеется другая, что я не могу пропускать уроков и поэтому предлагаю срочно освободить меня.

Оставшись вдвоем со старушкой, мы долго говорили о Шуше, откуда она оказалась родом. Ее сын был студентом и состоял в партии дашнакцутюн. Эту свою большую комнату она сдавала партийным работникам. Тут, видимо, они встречались. Узнав, кто я, из какой семьи, она забеспокоилась, поскольку знала моего отца. Угощала меня разными вкусными вещами, а вечером устроила прекрасную постель.

В этой комнате я провела неполных два дня и ушла,

не дождавшись ответа на свою записку, как только старушка сообщила, что охрана за дверью снята. Когда я рассказала товарищам обо всем, что со мной приключилось, они при столкновениях с дашнаками стали в качестве примера приводить этот факт. Шаумян был категорически против — не хотел, чтобы трепали мое имя.

Позже, когда я встретила Дьявола, он отрицал свое участие в аресте, ссылаясь на дашнакскую, воинственно настроенную молодежь, которая якобы была возмущена моим поведением и расправилась со мною по-молодежному.

После IV Объединительного съезда в апреле 1906 года областным бюро большевиков, входящим в Закавказский областной комитет, группе большевиков, работающих в Тифлисе, было предложено переехать на подпольную работу в Баку, где надо было наладить агитацию среди рабочих армян в связи с усилением влияния на них дашнаков и армянской социал-демократической партии, так называемых «спецификов».

Вначале, помнится, выехали Ашот Хумарян, Касьян, Даштоян, Габо Садатян, Шант и я, а несколько позже в Баку приехали Сурен Спандарян и Степан Шаумян с семьей.

К тому времени была почти ликвидирована шендрикковщина, постепенно стала разряжаться атмосфера межнациональной вражды, начали возникать профессиональные союзы.

Осенью 1906 года мне удалось получить должность заведующей фундаментальной библиотекой Армянского человеколюбивого общества с окладом сто рублей в месяц, что вполне обеспечивало меня и стариков родителей. На этой работе я продержалась до сентября 1909 года, то есть до самого моего отъезда из Баку в Петербург.

Библиотека помещалась рядом с армянской церковью, у Паранета, в центре города, в многолюдном месте. Это

давало возможность иметь под рукой конспиративное помещение для явок и для хранения партийной литературы. С помощью своего переплетчика мы подготовили серию книг, в которых под одной обложкой вместе с вполне благонадежными брошюрами переплетались переводы отдельных статей Ленина, издания «Молота», «Буревестника», «Донской речи» и др.

Моя библиотечная работа давала возможность проникать в среду дашнакски настроенных рабочих, организовывать в фирмах, целиком находящихся под влиянием дашнакпаканов, социал-демократические ячейки. В нефтяные фирмы довольно легко бывало попасть хорошо одетой женщине, тем более библиотекарше. Назовешь фамилию кого-нибудь из начальства и спокойноходишь, а войдя, снимешь шляпу, вуаль, белые перчатки, завернешь все это в бумагу и идешь себе в казармы, куда к вечеру начинают собираться свободные от вахты рабочие».

Далее бабушка пишет о том, как приносила рабочим книги, спрашивала, не надо ли кому написать письмо домой, поскольку большая часть промысловых рабочих была неграмотна. Как завязывался разговор о том, о сем и как исподволь, постепенно подводила бабушка своих подопечных к усвоению социал-демократических идей.

Одно из немногих лирических описаний в бабушкиной «Автобиографии» связано с ночным катанием на лодке после очередного заседания Бакинского комитета — видимо, летом 1907 года. «В жаркие, душные ночи,— пишет бабушка,— когда не хотелось возвращаться домой, мы отправлялись кататься по морю на лодках или шли на Баилковский мыс встречать восход». В ту запомнившуюся бабушке ночь они взяли большую лодку, на которой поместился чуть ли не весь БК: Шаумян, Джапаридзе, Коба, Ваня Фиолетов, Саратовец, Сурен Спандарян, Жгенти, Ашот Хумарян, Надежда Колесникова, Слава Каспаров, Клавдия Завьялова, а также бабушка со своим первым

мужем Карлом и братом Людвигом. «Ночь была тихая, лунная,— вспоминает бабушка,— море необычайно спокойное. Мы отплыли далеко от берега, перестали грести и долго молчали, полулежа любуясь красотой моря и наслаждаясь тишиной.

Первым после долгой паузы заговорил Ванечка Фиолетов. Любивший пофилософствовать, он мечтал когда-нибудь серьезно заняться философией. Мы все по очереди помогали ему пройти курс среднего учебного заведения.

— Вот кончится революция,— мечтательно говорил Ванечка,— завоюем мы власть, установим пролетарскую диктатуру, и — кто знает? — может, из кого-нибудь выйдет большой ученый. Будем тогда гордиться старой дружбой».

Я сознательно тороплю события бабушкиной биографии, чтобы поскорее добраться до истории с Зениным, которая, как завалявшееся в сухом чулане, а потом попавшее во влажную почву зерно, проросла в сегодняшний день. Необходимость встретиться с ним вновь возвращает повествование в Петербург конца 1906 года, на очередное судебное заседание по делу Совета рабочих депутатов.

Не только едва наметившиеся ростки будущего и попытка выявить третьего участника подпольной типографии, о которой речь впереди (бабушка — Карл — Зенин), вынуждают меня возвращаться к старым записям, порой радующим, порой повергающим в отчаяние, как если бы они были моими собственными, но и что-то еще, что имеет непосредственное отношение к портрету протагониста, который я хотел бы написать в той же свободной манере, в какой столь близкий мне художник писал портрет своей дочери.

«Художник писал свою дочь, но она, как лунная ночь, уплыла с полотна. Хотел написать он своих сыновей, но

вышли сады, а в садах — соловей! И дружно ему закричали друзья: — Нам всем непонятна манера твоя! И, так как они не признали его, решил написать он себя самого. И вышла картина на свет из темноты, и все закричали ему: — Это мы!»¹.

Я обнаружил, что линии Камо — бабушка Фаро, Камо — Ханояны, а также Камо — Цхакая стягиваются в один сюжетный узел. Во всяком случае, достоверно известно, что заграничный паспорт для Муха Цхакая перед его поездкой в Лондон весной 1905 года достал именно Камо. В княжеском одеянии он прошел с чемоданом нелегальной литературы через весь Тифлис до дома, где жил Цхакая, поскольку своих денег не было, а партийные тратить не хотелось. (Еще один пример, которым мог бы воспользоваться Богдан Книунянц, отводя клевету властей на социал-демократов в связи с деятельностью Совета рабочих депутатов). Не только бабушка (разговор на Коджорской дороге по пути на стрельбище), но и Муха считал Камо легкомысленным человеком. (Как мог не вызывать подозрений грузинский князь, идущий пешком по Тифлису с тяжелым чемоданом в руке?) В этих же бабушкиных записях, посвященных Камо, упоминается имя Тиграна Исахаяна, товарища Богдана по реальному училищу, того самого, в квартире которого она останавливалась во время своих кратковременных приездов в Москву. Исахаян был последним из близких, кто видел Богдана в тюремной больнице весной 1911 года.

Итак, бабушка пишет: «В Баку среди партийцев очень скоро стало известно о том, что группа членов боевой организации большевиков под руководством Камо 13 июня 1907 года среди бела дня на Эриванской площади в Тифлисе напала на кассира Государственного банка, сопровождаемого пятью конными казаками

¹ Стихи Леонида Мартынова.

и двумя охранниками. В результате непродолжительной стычки она сумела изъять двести пятьдесят тысяч рублей на нужды все еще готовящегося вооруженного восстания и спрятать их в безопасном месте. Среди нас не было такого, кто бы не волновался за судьбу Камо, не ждал известий о нем.

Однажды поздним августовским вечером кто-то постучал в дверь моей конспиративной квартиры на Великокняжеском проспекте. Открыв дверь, увидела офицера с прекрасной военной выправкой.

— Камо! — бросилась к нему. — Живой! Откуда? Как ты? Рассказывай.

— Фаро, — перебил он меня, хмурия брови, — не время сейчас. За мной могли следить. Я собрался за границу. Но вместо того, чтобы попасть на Черное море, забрался в Баку. Я говорю с тобой так, потому что знаю: ты — могила. Хочу отсидеться где-нибудь. Если удастся, хотя бы несколько дней. Нужно замести следы. Случайно встретил Степана, он дал твой адрес, считая его самым надежным. Богдан бежал из ссылки, ты слышала?

— Да.

— Они с Лизой в Берлине, кажется.

— Разве?

— Точно не знаю. Давай условимся: о моем появлении в Баку никто не должен знать. Даже самые близкие товарищи. Употребь все свои связи, чтобы достать мне на девять-десять дней сугубо безопасное место. Кроме того, пужны два безукоризненно чистых, лучше новых, заграничных мужских костюма моего размера с полным комплектом белья и прочего, новый кожаный чемодан иностранного производства, шляпа и остальное, что соответствует внешности интеллигентного молодого человека. Степан говорил, что все это ты можешь достать. Теперь запри меня и иди искать то, о чем прошу. Я пока отдохну немного. Совсем не спал ночью.

Покормив и уложив дорогого Камо, вышла на улицу. Нужно было что-то срочно предпринимать. Время позднее. Тут я вспомнила о лудильной мастерской Серго Мартикяна и отправилась к нему. Это был подлинный друг и товарищ, которому можно довериться.

Серго и его жену Сато я застала за работой. Она всегда помогала Серго, находилась в курсе всех его партийных дел. При ней можно говорить свободно. Вот уж кто был «могилой», так это Сато. Жили они скромно, даже скудно, как рядовые рабочие. Ко времени моего прихода дети уже спали. Когда я рассказала, в чем дело, оба были сильно озадачены. Предприятие связано с огромным риском. Дело нешуточное, но медлить нельзя. Мы вместе думали, к кому бы еще обратиться с подобной просьбой, но не могли никого припомнить.

— Вот что, Фаро, — сказала Сато. — Отправляйся-ка ты домой и присылай его к нам. У нас все-таки безопаснее, чем у тебя. Вот старый костюм Серго, пусть он его надеет. А утром постараемся что-нибудь придумать.

Если бы Камо выследили, им обоим — Серго и Сато — грозила смертная казнь. И они знали об этом. А ведь у них было трое маленьких детей, они сами еще были очень молоды, любили друг друга, были счастливы.

Камо отвели в мастерской угол, скрыв его золочеными рамами, разной церковной утварью, медными статуэтками. Серго так завалил угол, что если бы даже пришли с обыском, то ни за что не догадались бы, что там прячется человек. Так говорил Серго. И Сато ему вторила. А утром следующего дня, когда я пришла к ним с полными руками сладостей для детей, Сато шепнула мне:

— Пускай еще день-другой останется у нас. Там видно будет.

За чаем я рассказала Камо о своей попытке вступить

в диверсионную группу. Он пожурил, что я не посоветовалась с ним.

— Я-то решил, это у тебя несерьезно. Ты же интеллигентка, Фаро. Кто бы мог подумать. Я был тогда дураком, не раскусил тебя. Мы бы вместе таких дел наделали.

После чая я отправилась на поиски нужных вещей для Камо. В то время самым влиятельным членом Красного Креста, обслуживающим большевиков, был врач Георгенбургер, женатый на дочери богачей Цейтлиных. Жил он с женой в их доме на Большой Морской улице. От имени Бакинского комитета я попросила его срочно приобрести необходимые вещи. У Камо и Георгенбургера оказался одинаковый размер одежды, так что, прежде чем покупать, он мог примерить на себя. Жена Георгенбургера только что получила из Парижа посылку с галстуками и носовыми платками. Отобрав наименее ей нравившиеся, она отдала их мне.

Все же я решила рассказать Алеше Джапаридзе о принятых мерах и попросить подыскать другое пристанище для Камо на случай, если Георгенбургер не сумеет быстро достать одежду. Однако Алеша ничем не смог помочь. В связи с готовящимся заключением коллективного договора между нефтепромышленниками и рабочими нефтяниками за ним была установлена такая слежка, что он боялся даже навещать друзей и знакомых, чтобы не подвести их. БК на одежду Камо не сумел отпустить денег, потому что в партийной кассе оставались копейки.

Шли дни. Серго нервничал, сетовал на друзей. Вроде бы никому не было до него дела. Камо переживал из-за Серго. Приезжавшие из Тифлиса товарищи рассказывали, что Камо везде ищут, а он как в воду канул. Рассказывали, как возросло вознаграждение за его поимку.

Наконец Георгенбургеру с нашей помощью удалось достать все необходимые вещи. Большую помощь оказал Тиграп Исаханян, друг детства Богдана, с которым мы

сильно сблизилась во время моих приездов из Петербурга в Москву на свидания к Богдану в Таганскую тюрьму. Он на всю жизнь остался преданным другом нашей семьи. Тигран отдал один из своих дорогих костюмов, купленных в Берлине. Тогда же было решено, что, одевшись под стать Камо, я выеду вместе с ним до Ростова в вагоне первого класса. Я одолжила у подруг кое-что из одежды, мы сели в поезд и на одной из ближайших станций незаметно сошли. Здесь нас ждал присланный Алешей товарищ с билетом первого класса до Батума для Камо и третьего класса до Баку для меня. Мы сели в разные вагоны встречных поездов, и Камо через Батум уехал за границу.

Ближе к зиме мы узнали, что 27 октября 1907 года он был выдан агентом царской охраны Житомирским и арестован германской полицией. Он обвинялся в скупке оружия и попытке переправить его в Россию на пароходе «Заря», а главное — в похищении двухсот пятидесяти тысяч.

Мы все понимали, что грозит нашему Камо, и болели за него. А какими героями были Сато и Серго Мартияны! Они остались в тени и тогда и после, а ведь, в августе — сентябре 1907 года, когда Камо скрывался в мастерской, реакция ползла изо всех дыр, человеческая голова уже ничего не стоила, кругом шли аресты, расстрелы.

Никогда не забыть бедную лудильню на первом этаже в самом центре города, на Молоканской улице, и заднюю комнату, служившую местом для наших явок. Сердце обливается кровью, когда вспоминаешь о последних годах жизни дорогого Серго, одинокого, больного, почти слепого. Сколько издевательств претерпел он в связи с арестом младшего сына, с собственным арестом.

После многих лет разлуки я встретила с Серго в Ереване. Его едва можно было узнать. Сато уже не было

с ним. Жил он один, обедать ходил к дочери. Сколько, несмотря ни на что, сохранилось в нем человеческого тепла. Хотя он был очень слаб и плохо видел, ежедневно приходил ко мне в гостиницу, расспрашивал о друзьях, от которых давно не имел известий, делился мыслями о будущем Армении, гордился старшим сыном Татулом, оправдавшим его надежды, и дочерью Эммой. Я благословляла судьбу за то, что она вновь позволила мне встретить этого человека, обладающего таким лучезарным сердцем и ясной душой.

К концу 1907 года работать в Баку стало невыносимо. По ночам участились нападения на прохожих, в районах бесчинствовали кочи — телохранители владельцев фирм, местная мафия. Однажды заседание Биби-Эйбатского комитета партии, секретарем-организатором которого я состояла в то время, сильно затянулось. Стояла беспросветная холодная ноябрьская ночь. Когда почти все разошлись, между членом комитета Кобой и лидером бакинских меньшевиков Сандро все еще продолжалась перепалка. Они до того увлеклись, что, схватив друг друга за грудки, выскочили из комнаты. Когда я собрала бумаги, погасила лампу и захлопнула за собой дверь, ни Кобы, ни Сандро на улице не было. Спорщики исчезли, забыв о моем существовании, оставив меня одну во втором часу ночи.

В это время где-то поблизости слышались крики, выстрелы. Стараясь остаться незамеченной, останавливаясь при малейшем шорохе, я за час добралась до ворот «Электрической силы», где горел слабый свет и можно было различить фигуру ночного сторожа, старика. Я опустилась подле него на скамейку и почувствовала, что не смогу больше сделать ни шага. Только теперь вспомнила, что с утра ничего не ела, из библиотеки помчалась сразу на собрание.

Старик оглянулся, зло зыркнул глазами и погнал меня прочь.

— Разве я помешаю? — взмолилась я.

— Молодой-то был — с такими не путался, а теперь и недавно. Ступай отсюда.

— Прошу вас, разрешите мне посидеть рядом. Может, появится какой-нибудь экипаж. Кругом беспокойно, особенно на Баилове. Какая вам польза, если меня убьют?

— А не жалко, — спокойно отвечал старик.

Тут я услышала быстрые решительные шаги. Мимо проходил мужчина. Я подбежала к нему.

— Пожалуйста, проводите меня до ближайшего извозчика. Я заплачу.

— Вы мне не нужны.

— Да нет же, вы меня не за ту принимаете.

— Какая порядочная женщина будет шляться ночью в наших краях?

Он брезгливо стряхнул с рукава мою руку, ускорил шаги и исчез. Снова слышались выстрелы, крики. Я вернулась к воротам «Электрической силы». Сторож спал. Устроилась рядом и просидела так до утра. С рассветом отправилась домой пешком, поскольку извозчиков нигде поблизости не оказалось.

Вскоре у меня прибавилась новая нагрузка — работа в оборудованной нами подпольной типографии, нужда в которой в годы начавшейся реакции была особенно велика. В типографии работали трое: Карл, я и типографский рабочий Зенин.

В этой типографии мы проработали около трех месяцев. Она помещалась под бондарной мастерской на Губернской улице, в подвале, куда вела дверца из мастерской. Это была большая яма без окон и вентиляции, темная и сырая. Работать приходилось при свете керосиновой лампы, которая сильно коптила, поскольку не доставало

кислорода. Воздух проникал лишь через щели между досками в крыше, закрывающей подвал. Чтобы шум стапка заглушался шумом, который производили бондари, работать приходилось одновременно с рабочими мастерской. Раньше Карл в течение двух месяцев практиковался в типографии своего дяди, и поэтому мог работать теперь с Зениным в паре. Я же таскала бумагу, резала, раскладывала ее, доставляла печатную продукцию куда следует.

Через три месяца после начала работы типографии Карл уехал учиться в Петербург, я переключилась на иную работу, а типографию передали в другие руки. Но просуществовала она недолго. После ареста всех трех работников, как передали из тюрьмы, исчез Зенин. Никто не знал, куда он делся. Стали подозревать, что он провокатор. Только после Октябрьской революции выяснилась его связь с охранкой.

Осталось тайной, почему он не выдал также и нас. Рыжий, рябой, он казался очень несчастным. Мы помогали ему чем могли, а он смотрел на нас с каким-то восторженным почтением и все повторял: «Нет, вы совсем не такие, как все. Вы другие», — и при этом каждый раз краснел от смущения».

В январе 1955 года бабушка получила письмо следующего содержания:

«Уважаемая тов. Фаро.

Простите за беспокойство. Я очень прошу Вас ответить на мой к Вам вопрос. В газете «Известия» было напечатано письмо старых коммунистов «Идеи Октября торжествуют». Среди подписей под этим письмом имеется и Ваша подпись — члена КПСС с 1903 года. Прочитав это письмо и увидев Вашу подпись, я вспомнил о далеком прошлом большевистского подполья. Примерно в 1907 го-

ду в городе Баку я знал по совместной работе в подпольной типографии Фаро и Карлушу. Теперь я в сомнении: Вы ли та самая Фаро, которую я знал, или это случайное совпадение имен?

Ответьте, пожалуйста.

С искренним уважением к Вам

Бакинцев Владимир Петрович.

Поскольку бабушка никогда не выбрасывала писем, это письмо Бакинцева сохранилось, как и копия его второго письма, оригинал которого бабушка отправила в Баку историку Б. Н. Маркелову, занимавшемуся в то время историями подпольных типографий. Копии своего ответа Бакинцеву бабушка почему-то не оставила, но по характеру второго письма легко догадаться, что бабушка упомянула в нем имя Зенина, которое привело Бакинцева в сильное возбуждение, о чем можно судить по избыточному многословию и довольно неожиданному отрицанию факта знакомства с бабушкой, исходя из которого было написано первое письмо.

«Уважаемая тов. Фаро.

Я очень рад и благодарен Вам за то, что Вы не оставили мое письмо без внимания и ответили по существу на мои вопросы.

Вы пишете, что в 1907 или в 1908 году Вы, Карл и наборщик Зенин втроем работали в подпольной типографии на Губернской улице и больше в типографии никто не работал.

Да, совершенно верно, Вы правы. В тот период работы типографии так оно и было. Типография была уже на ходу. А я работал раньше, в период организации и оформления типографии. Вот почему Вы и не знали меня. Когда же Вы и Карл стали работать в типографии, Зенин говорил мне о Вас и о Вашей работе.

Чтобы в этом деле было больше ясности, я хочу из-

ложить все более подробно и с самого начала. В 1907 году по заданию Бакинской большевистской организации наборщику Зенину было поручено устроить небольшую подпольную типографию для выпуска листовок. В то время Зенин работал наборщиком в типографии Первого типографского товарищества. Там же работал наборщиком и я. В то время я был с Зениным в близких товарищеских отношениях. Оба были большевиками. Получив задание на устройство подпольной типографии, Зенин предложил мне помочь ему в этом деле, и я охотно согласился.

Перед нами стояла задача найти подходящее помещение для типографии, сделать печатный станок, типографскую краску для шрифта и где-то добыть типографский шрифт в количестве, которого бы хватило хотя бы на одну большую листовку — примерно килограммов двадцать пять. Я взялся добыть шрифт, а Зенин — сделать все остальное. Тотчас мы приступили к делу. Почти ежедневно, уходя из типографии Первого типографского товарищества, я брал с собой в карманы небольшое количество шрифта, примерно килограмма два. Больше было нельзя — могли заметить. Вначале я носил этот шрифт на квартиру к Зенину, а когда Зенин нашел помещение для типографии, я стал носить его прямо туда.

Помещение подпольной типографии находилось в доме на Губернской улице, на углу Базарной. Это была бондарно-столярная мастерская, в ней работали два кустаря-ремесленника, грузины по национальности. В то время я знал их имена, а теперь забыл. Память стала ослабевать. Мне сейчас 68 лет, а тогда было 20. Так вот, в этой самой бондарно-столярной мастерской был отгорожен досками один угол, где находилась деревянная койка. На койке спал один из мастеров, а под койкой был вход в подвал, где и разместилась подпольная типография.

Это все, что я мог припомнить о работе подпольной

типографии. Наверное, я что-то пропустил, напутал, не точно выразился. Ведь мое образование — всего три класса пачального городского училища. За что прошу извинения.

В заключение хочу Вас спросить, известно ли что-нибудь в Бакинской организации о работе нашей подпольной типографии, или все это прошло бесследно, как факт, не имеющий большого значения.

В настоящее время я получаю небольшую пенсию, и товарищи советуют мне хлопотать о пенсии республиканского значения, учитывая мою работу в подполье. Но свидетелями этого дела остались, кажется, только Вы да я. Очень прошу Вас, если это особо Вас не затруднит, дать письменное подтверждение моей работы в подпольной типографии, которая была расположена на Губернской улице, а также прислать Ваши критические замечания по настоящему письму.

С искренним уважением

В. Бакинцев
3/II—1955 г.г.

У бабушки имелись, видимо, самые серьезные основания для того, чтобы не посылать «письменного подтверждения» Бакинцеву, ибо просто так, по лености или за недосугом, она никому никогда не отказывала в помощи. Насколько мне известно, бабушка не ответила на это и на последующие письма Бакинцева, но переправила их все Б. Н. Маркелову, словно бы не чувствуя за собой права единолично владеть документальными свидетельствами, так или иначе связанными с историческими событиями, очевидцем которых она была. В доме остались только отдельные копии писем и черновики посланий Б. Н. Маркелову.

«7.8.55 г.

(Черновик)

Посылаю вам, тов. Маркелов, второе письмо Бакинцева. Оно путаное, странное. У меня складывается впечатление, что он и есть Зенин. В первом письме он называет меня тов. Фаро, Карла — Карлушей. Я никогда не называла так Карла. Карлушей звали его только мать и сестры. К тому же все было иначе, чем рассказывает Бакинцев.

В своих воспоминаниях я нашла место, где говорится о том, что осенью 1907 г. в Баку на «Электрическую силу» (Баилов) под именем Марии Николаевны дамой-патронессой из Петербурга приехала тов. Драбкина (бывшая жена Гусева) для сбора денег на рабочую печать. Вместе с Семеном Жигенти мы зашли к ней и попросили дать небольшую сумму из собранных средств для вновь организуемой типографии БК. Было решено сообщить о типографии товарищам лишь после того, как она будет готова. В то время я работала секретарем Биби-Эйбатского районного комитета и затеяла это предприятие на свой страх и риск. В условиях наступающей реакции ощущалась ог-

ромная потребность в типографии. Карл недавно приехал в Баку из Франции (Монпелье), где закончил курс естественных наук, и теперь был намерен поступить в Петербурге на историко-филологический факультет. Кроме нас с Карлом и Семена Жгенти, работавшего на Биби-Эйбате у Хатисова, о типографии никто не знал.

Семен Жгенти обещал найти помещение, а мы с Карлом решили пойти к его дяде, человеку либеральных воззрений, председателю Первого типографского товарищества, чтобы он помог достать станок, шрифт и порекомендовал бы хорошего, надежного наборщика. Дядя поначалу не соглашался, называл нашу затею авантюрой, но потом согласился с тем неременным условием, что никто, кроме нас, не будет вхож в типографию. Тогда же он указал на наборщика Зенина как на хорошего работника, любящего деньги. Дядя сказал, что Зенин сможет выкрасть из типографии все, что нужно, только пусть делает это, когда в кабинете, через который можно выйти из типографии, не будет никого, кроме него, дяди.

Так мы познакомились с Зениным, оказавшимся большевиком, и от имени БК договорились о том, чтобы он снабдил типографию всем необходимым и начал работу в ней. В случае провала типографии дядя Карла обещал снова принять Зенина на работу. Видимо, тогда же Зенин взял себе подручного Бакинцева, но, скорее всего, он был один, а теперь это скрывает.

Семен Жгенти нашел довольно скверное помещение, которое в письме Бакинцева названо подвалом. Это была просторная, сырая, скверная яма, вырытая под полом бондарной мастерской, хозяин которой называл себя Карапетом Карапетовичем, хотя я не уверена, что это было его настоящее имя. Впрочем, все мы тогда жили под вымышленными именами...»

(Копия)

«Уважаемая тов. Фаро.

Поскольку Вы не ответили на последнее мое письмо, я решил еще раз написать Вам, чтобы дополнить сведения о себе, которые Вы могли получить также от Вашего брата Богдана Кнувянца. Мы вместе с ним проходили по делу Совета рабочих депутатов.

Кроме Вашего брата, помню Эразма Комара, Алексея Филиппова, Сверчкова, Федора Сильвестрова, двух или трех женщин и студента Арама Тер-Мкртчянца, который при повторном разборе дела уже не числился в списке обвиняемых, потому что в июле был казнен по приговору военно-полевого суда в Кронштадте.

Помню также рабочего Путиловского завода, члена Исполнительного комитета Осипа Логинова, который оказался впоследствии врагом Советской власти Серебровским и, возможно, уже тогда был связан с царской охранкой. Меня в свое время вызывали для дачи показаний по его делу, и я подтвердил, что знаю Логинова как Гришку-гапоновца.

С Вашим братом я встречался позже в Баку в 1910 году. К нему меня привел рабочий-литейщик Мисак Саркисян. Хотя Ваш брат жил в Баку под другой фамилией, я сразу узнал его.

Теперь таких, как мы с Вами, свидетелей пламенных лет революции, почти не осталось. Если бы я имел писательский дар, то обязательно написал бы о том времени для нашей молодежи.

Надеюсь, Вы сможете ответить мне.

С искренним уважением

Бакинцев
10/1—56 г.».

«8.2.56 г.
(Черновик)

Не могу передать, Багдасар Николаевич, как взволновало и возмутило меня последнее письмо Бакинцева. У меня теперь не остается сомнений, что Бакинцев это

и есть Зенин или другой связанный с ним провокатор. Прежде всего в этом убеждает меня упоминаемое в письме имя Мисака Саркисяна, по чьему доносу осенью 1910 года был арестован мой брат Богдан. Об этом рассказал Серго Мартиянян, которому я абсолютно доверяю. Во-вторых — то, что Бакинцев пишет о Серебровском (он же Осип Логинов).

Как-то Вы просили меня прислать воспоминания об А. П. Серебровском, а я до сих пор не собралась этого сделать. Посылаю их Вам теперь в том виде, в каком они были когда-то написаны, то есть в виде беглых заметок.

Александр Павлович Серебровский родился в 1884 году в семье старого революционера. Поступив на работу в главные железнодорожные мастерские Самаро-Златоустовской железной дороги, на постройке которой работал его отец, сосланный под надзор полиции, Александр Павлович впервые сблизился с молодыми рабочими, посещавшими социал-демократический кружок, и вошел в организацию так называемого Уральского комитета.

Весной 1902 года Серебровский сдал экстерном за восемь классов и осенью поступил в Петербургский технологический институт, где в это время учился также Богдан Кнунянц.

Зимой он был арестован по доносу провокатора Расказова и переведен в самарскую тюрьму, где уже сидела целая «уфимская компания». Через несколько месяцев его выпустили на поруки до решения дела, сказав отцу: «Яблоко от яблони недалеко падает».

Впоследствии Серебровский работал в Уфимском комитете партии большевиков, был сослан в Вятскую губернию, стал нелегалом, через Северный комитет партии был отправлен в Иваново-Вознесенск, снова был арестован, по дороге в Шуйскую тюрьму бежал с поезда, приехал в Ярославль на данную ему явку, затем переброшен

в Москву, в Одессу. Вот как он сам описывал этот период своей жизни:

«В Одессе тов. Барон (Эссен) дал мне паспорт на имя Алексея Ухова, и некоторое время я благополучно работал в Николаеве, а затем — в Одесском комитете большевиков. В августе 1904 года был арестован на собрании у Кирпичного завода и месяца полтора пролежал в тюремной больнице, ибо был при аресте избит. Однако паспорт оказался хорошим (это была копия), к тому же в это время в Одессу приехал какой-то член царской фамилии (кажется, наследник). По этому случаю всех подследственных, кого можно было выпустить, выпустили. Я вышел на волю и был послан парторганизацией в Петербург.

В Петербурге меня направили сначала работать на Васильевский остров в качестве парторганизатора, но через месяц там оказался провокатор с гвоздильного завода (фамилию забыл), и многие были арестованы. Петербургский комитет посоветовал мне поступить работать на завод за Нарвской заставой. Я поступил на Путиловский завод в кузнечную мастерскую, где работал слесарем на штампах. Подложный паспорт я получил в Петербургском комитете. Если не ошибаюсь, дала мне его Елена Стасова.

В декабре мне было поручено работать в рядах гапоновской организации. Участвовал в забастовке Путиловского завода и в выступлении 9 января 1905 года. В начале февраля был отправлен в Баку. Работал слесарем сначала в Черном городе, потом в Балаханах. Состоял членом Бакинского комитета большевиков и организатором Балахано-Сабунчинского партрайона.

После августовской резни армян и татар и провала Бакинского комитета меня снова перебросили в Петербург. В сентябре поступил на Путиловский завод слесарем в старо-механическую мастерскую, в бригаду Шид-

ловского. Был начальником большевистской боевой дружины за Нарвской заставой, членом Петербургского Совета рабочих депутатов от рабочих Путиловского завода.

Жил я по очень хорошему паспорту, полученному при выезде из Баку. Был арестован 3 декабря 1905 года в Вольно-экономическом обществе. Летом 1906 года судился под фамилией О. Логинова. Почти перед самым вручением нам обвинительного акта меня вызвали из тюрьмы в жандармское управление и почему-то ввели через парадный подъезд в большую комнату, где находился полковник Николаев. Сказав, что меня привели сюда по ошибке, он указал на другую дверь. Я быстро направился к ней, опередив сопровождавшую охрану, и столкнулся лицом к лицу с типографским рабочим Зениным, который, казалось, был смущен встречей. Он тотчас куда-то исчез. Мне бросилось в глаза, что Зенин отпустил усы, и удивило, что он шел по коридору без охраны. Потом выяснилось, что Зенин был провокатором и находился, видимо, в жандармском управлении для опознания. В другой комнате сидели генерал Иванов и товарищ прокурора Меллер. Те тоже сказали, что произошла ошибка, и извинились. Я было поверил, но потом узнал, что и с другими товарищами произошла такая же «ошибка».

Суд отложили до осени, а меня освободили под залог в 2 тысячи рублей до суда. Деньги внес Н. Д. Соколов, мой защитник.

Выйдя из тюрьмы в начале осени 1906 года и снова переименовав паспорт, я стал работать в Петербургской партийной военной организации, перевозить оружие через финляндскую границу. Потом у нашей организации зародилась мысль проникнуть в солдатскую среду. Явившись на призыв в октябре 1906 года, я добился назначения в Кронштадтскую крепость, но скоро меня перевели во Владивосток. Мне удалось наладить связь с партийной орга-

низацией и довольно хорошо работать, но после восстания на «Грознящем» 17 октября 1907 года я был арестован в минной роте.

В конце 1908 года я уехал учиться в Брюссель, и в 1911 году окончил курс с дипломом инженера-механика. Вернулся в Россию, работал в Сормове, в Москве на заводе Бромлея, был арестован и выслан из пределов центральных губерний. Благодаря знакомству с инженерами, работавшими по холодильному делу, получил работу, связанную с установкой холодильных машин завода «Франц Круль».

В июле 1914 года меня забрали рядовым в армию. Однако завод «Франц Круль» выхлопотал, чтобы мне дали возможность работать по специальности. В сентябре 1915 года фирма «Круль» добилась того, что меня отпустили работать на завод в Ревель. Как только произошел переворот, я вернулся в Петербург и стал работать на заводе Людвиг Нобеля. 1 января 1918 года был назначен членом правления Путиловского завода, а в августе 1918 года — заместителем Л. Б. Красина в Чрезвычайной комиссии по снабжению Красной Армии.

С марта по ноябрь 1918 года — комиссар-начальник военного снабжения Украинского фронта, затем — заместитель наркома путей сообщения. В мае 1920 года меня назначили председателем «Азнефти» в Баку».

После Петербурга и Баку я встретила с тов. Серебровским в Москве на XV партийной конференции, когда уже работала в статистическом отделе ЦК партии. Вскоре он стал моим мужем.

В течение ряда лет тов. Серебровский был заместителем председателя ВСНХ, членом ЦИК СССР, непосредственно отвечал за золотую и нефтяную промышленность. Его выдающиеся организаторские способности сочетались с увлеченностью, которая ни перед чем не останавливалась. Энергия его была неисчерпаема, память необъятна,

интеллектуальные способности из ряда вон выходящие.

Так случилось, что жизнь наша не сложилась, и мы расстались друзьями.

Последний раз я встретилась с Серебровским в 1936 году в Новосибирске в кабинете первого секретаря Западно-Сибирского крайкома партии тов. Эйхе. Больше я его не встречала. В 1937 году его больного увезли из Кремлевской больницы, и он уже туда не вернулся.

Конечно, не для того все это пишу я Вам, чтобы оградить его от чудовищной клеветы Бакинцева-Зенина. Жизнь Александра Павловича не нуждается в адвокатах.

Если что будет нужно, обращайтесь, пожалуйста, без церемоний.

Фаро Кнунянц.

Этому письму, видимо, предстоит замкнуть некий самостоятельный кольцевой маршрут повествования, непосредственно связанный с основным радиальным маршрутом, ибо октябрьско-декабрьским дням 1905 года суждено затянуть в водоворот петербургской жизни многих действующих лиц книги о Богдане Кнунянце: его самого, Лизу Голикову, Миха Цхакая, Осипа Логинова-Серебровского, Александра Меликова — его сокурсника по Технологическому институту, В. Н. Пилипенко — руководителя геронтологических исследований. И даже Дмитрий Постоловский, следы которого потерялись, казалось бы навсегда, в зимнем заснеженном Тифлисе 1904 года, вновь возникнет на процессе по делу Совета рабочих депутатов в качестве свидетеля. Его введут в зал суда под конвоем, и он откажется дать обещание суду говорить правду, ибо, как объяснит, «никаких обещаний морального свойства он, вообще, суду давать не намерен». То есть Постоловский в своем отказе воспользуется той же аргументацией, что и Кнунянец на заседании Московской судебной палаты полтора года назад.

Тут же, на процессе, уже упомянутым лицам предстоит встретиться с присяжным поверенным Н. Д. Соколовым, который внес 2 тысячи рублей залога за освобождение из-под стражи А. П. Серебровского, а также с другим защитником — О. О. Грузенбергом, следом за Постоловским повторившим доводы Кнунянца, что защита не понимает, «как можно было из огромной массы подсудимых (подсудимыми, господа судьи, по этому делу является весь петербургский пролетариат) вырвать небольшую кучку и сделать ее ответственной за дело масс».

К этим двоим — Соколову и Грузенбергу — присоединится тридцать других защитников, одновременно защи-

щавших всех подсудимых, которые также отчасти выступали как одно лицо.

Обвиняемый. (Держась обеими руками за переднюю спинку скамьи и сильно через нее перегнувшись. Говорит, обращаясь к суду.) На вопрос о виновности я не могу ответить, так как мое представление о виновности и представление Уголовного кодекса полицейского государства резко расходятся. Мы решили принять участие в настоящем исключительном суде только потому, что находим его необходимым в целях политических для широкого публичного выяснения истины о деятельности и значении Совета рабочих депутатов. Зародыш Совета надо искать в сентябрьских днях. Сентябрь — это время митингов. Под натиском всеобщей стачки правительство пошло на уступки. 17 октября оно выдало русскому народу вексель на свободу. Обыватель верил манифесту на первых порах. Правда, опровержения на обывательские ликования последовали быстро. Полковник Римап обстреливал Технологический институт, корнет Фролов кавалерийскими атаками рубил толпу на Загородном, полковник Мин расстреливал манифестантов на Гороховой. Знакомство революционного пролетариата с «отцами города» началось 14 октября и очень скоро оборвалось. 18 октября...

Свидетель (инженер-технолог Позен). 18 октября в помещении Общества технологов состоялось заседание Союза инженеров. Около часа ночи я возвращался вместе с товарищами по Садовой улице. Навстречу нам неслась толпа и хотела нас остановить. Мы успели от них уехать. Та же толпа бросилась на Хрусталева и Кнуниаца. Это было около Государственного банка. Тут же стояло спокойно несколько полицейских, и никто не сделал попытки остановить толпу. Вероятно, это происходило оттого, что нападавшие шли с национальными флагами.

Гласный Думы Оппель. Время было тревож-

ное, все вооружались. Многие обыватели уезжали из города. Принимались домашние меры предосторожности. На Пушкинской улице, например, организовалась самооборона квартирантов.

Бывший член Государственной Думы Брамсон. Я проживал в Коломенской части, где расположены почти все общественные и духовные учреждения евреев. Я знаю, что хулиганы собирались разнести синагогу. Кроме того, еврейским детям дети христиан говорили, что их «скоро перережут». В Литейной части некоторые квартиры были отмечены буквой «а», другие — «ж». В этой же части неизвестные люди ходили по домам и брали у старших дворников списки проживающих в данных домах евреев. То же происходило на Петербургской стороне. Когда по вопросу о погроме некоторые общественные организации снеслись с гр. Витте, гр. Витте ответил сначала весьма недружелюбно, но затем, когда на Измайловском мосту была найдена прокламация, призывающая к погрому не только «жидовского отродья», но и «жидовствующего министра гр. Витте», — отношение его изменилось.

Свидетель Яворский (управляющий типографией «Сын отечества»). «Черная сотня» деятельно готовилась к погрому. Редакция получила целый ряд угрожающих писем. Многие фабриканты и инженеры, несмотря на чисто отрицательное отношение к вопросам рабочей жизни, говорили, что Совет рабочих депутатов — единственная гарантия порядка.

Свидетель Статцовский (из охранного отделения, принимавший участие в аресте Совета рабочих депутатов). Это было преступное сообщество, произносившее непатриотические речи. Самых речей я не слышал, но до меня доходили отдельные слова.

Защита. Из чего же вы вывели их непатриотический характер?

Свидетель Статковский. Но ведь просто так полиция и солдаты не явятся.

Защита. Прошу доложить, какие имеются сведения о причине неявки подсудимого студента Тер-Мкртчянца.

Председатель (неохотно). Как уже известно защите, подсудимый Тер-Мкртчянц расстрелян по приговору суда в Кронштадте.

Подсудимые, защита и публика молча встают. Встает и не разобравшая, в чем дело, жандармерия.

Председатель (раздраженно). Прошу всех сесть и не вставать со своих мест без приглашения пристава.

Защита. Вот копия письма, посланного 14 июня этого года бывшим директором департамента полиции Лопухиным господину председателю совета министров П. А. Столыпину. В этом письме г. Лопухин, производивший самое тщательное расследование о печатавшихся в департаменте полиции прокламациях, призывавших к избиению...

Председатель. Прошу не оглашать содержания письма.

Защитник. Я должен указать главные места из этого письма.

Председатель. Нет, скажите вкратце, о чем говорит письмо.

Защитник. Вы хотите вкратце? Извольте. Письмо говорит, что погромы евреев, интеллигенции и всякие иные создавались органами правительственной власти. Письмо говорит, что та же правительственная власть заведомо ложно в сочиняемых и распространяемых ее агентами воззваниях обвиняла представителей Совета рабочих депутатов в растрате рабочих денег. Свидетель Лопухин должен удостоверить перед судом, что в департаменте полиции на особом станке под редакторством бывшего директора департамента полиции, ныне сенатора Вунча, печатались прокламации об избиении евреев, ар-

мян и интеллигенции. Лопухин должен также удостоверить, что Рачковский развозил их по всей России, что в Петербурге распространение этих прокламаций было им поручено доктору Дубровину, в Москве — Грингмуту, в Курске — Михайлову, в Вильно — Шкотту. В письме своем г. Лопухин утверждает, что, несмотря на устранение высочайшей волей Рачковского от должности, «другое начальство» сейчас же сделало его начальником всех охранных отделений России, и это его назначение не замедлило ознаменоваться повсеместными погромами. Эти обстоятельства важны не только для подсудимых, но и для истории. Помимо вопроса о виновности, гг. судьи, вам предстоит еще вопрос о наказании. Это вопрос вашей совести. И мы увидим еще, что скажет ваша совесть, гг. предводитель дворянства, городской голова и представитель крестьян, когда вы узнаете, что в Петербурге устраивался погром и что только этим людям, которых вы теперь судите, по на которых, как это доказано, не было ни капли крови, вы обязаны тому, что Петербург избег этих ужасов.

На заседании 14 октября 1906 года палата объявила об отказе в ходатайстве защиты о прочтении письма Лопухина и о вызове его в суд. Слово просит защита.

Защитник. Господа судьи! Защита уполномочила меня изложить перед вами ее соображения. Все, даже враждебно относящиеся к подсудимым, должны были признать, что настоящее дело является обратной стороной того попустительства правительства, которое существовало у нас. Совет не был самозванным. Он явился так же, как являются весной листья на деревьях. А они являются потому, что осенью старая, отжившая листва опадает. Мы хотели показать, как это случилось, но нам не дали.

Мы просили дать возможность путем вызова свидетелей доказать это. Нам отказали. Участие правительствен-

ных властей в организации погромов, в убийствах — вот коренной вопрос настоящего дела, так как Совет организовал народные массы для самозащиты. Для этого мы представили неопровержимый документ — письмо одного представителя власти к другому. Для этого мы просили вызвать свидетеля, автора этого письма. Нам отказали.

Теперь мы вправе сказать, что поставлены в невозможность далее продолжать свою работу по настоящему делу. При таком положении вещей это дело грозит обратиться в то же самое, что происходило здесь на суде несколько дней назад, когда секретарь тихим голосом, в тихом зале читал нам слова рабочей «Марсельезы»: «Вставай, подымайся, рабочий народ».

Это было ничто в сравнении с тем, как в октябре та же самая песня мощно раздавалась в Петербурге и созывала миллионы людей.

Суд хочет, чтобы и мы тихим голосом, в тихом зале, по секрету рассказали ему, как произошла в Петербурге революция, как создался и работал рабочий парламент.

Мы считаем своим профессиональным и гражданским долгом, по соглашению с нашими подзащитными, отказаться от дальнейшего участия в разбирательстве настоящего дела, в котором мы, ввиду постановления особого присутствия судебной палаты, не можем выяснить ни исторической, ни юридической правды, как мы и наши подзащитные их понимаем.

Обвиняемый. Мы не можем принимать участия в таком суде. Поэтому мы просим председателя позволить нам удалиться обратно в Дом предварительного заключения.

Обвинение. При настоящем положении вещей удерживать силою подсудимых в зале суда не представляется возможным.

После этого заседание продолжалось в отсутствие подсудимых и защитников.

Чтение документов по делу. Речь прокурора. Приговор.

К ссылке на поселение с лишением прав — 15 человек. К заключению в крепости — 2. Оправданы — 12.

Я все более укреплялся в мысли, что история с Цисманом, поездка бабушки в Шушу в августе 1905 года, как и ее письмо Б. Н. Маркелову, имеют непосредственное отношение к осенним событиям в Петербурге и к книге, которая, думается, станет чем-то вроде реликвария, содержащего живые слова тех, кто когда-то произносил их. Им предстоит прозвучать, прорасти сквозь авторское повествование, сквозь сюжет, фабулу, непроницаемую толщу времени. И дай мне бог не превратиться в преграду на их пути. Ни на этой, подготовительной стадии, ни впредь я не буду заниматься режиссурой, модуляцией срывающегося голоса Богдана:

— Вооруженного сопротивления не оказывать, своих имен не выдавать!

Пусть остаются как есть эти громко, чтобы слышали все, сказанные им слова, когда полиция и войска ворвались в зал Вольно-экономического общества, чтобы арестовать Совет. И люди пусть остаются на своих местах. Не хочется превращать их в шахматные фигуры. И даже в литературные персонажи — не хочется.

Что касается плотности заселения столь малой площади, каковой является история первого Петербургского Совета, знакомыми лицами, как бы специально согнанными на литературную массовку, то мне остается лишь повторить: «Как тесен мир!» Какое неисчислимое количество связей — пространственных, родственных, дружеских, профессиональных — удерживает каждого там, где он находится.

Живя настоящим, мы неизбежно принадлежим будущему. Это так же верно, как и то, что прошлое неумолимо держит нас в поле действия своих сил. И не образует ли множество совпадений цельную часть одного из кругов, по которым идем все мы — жившие, живущие, еще не родившиеся?

В октябре 1905 года Петербургский технологический был открыт круглые сутки. Сюда стекались представители табачных и конфетных фабрик, мелких мастерских, стекольных заводов, а также железнодорожники, печатники, чиновники, канцеляристы. Здесь происходило одно из первых заседаний Совета и выборы в Совет от союза фармацевтов. Именуемый на процессе Николаем Саркисянцем Богдан Кнунянц назначил тогда дозорным Александра Меликова — постоянного участника химических работ в пилипенковской лаборатории. Меликов следил за входом в институт через двор церкви.

В день объявления манифеста и дарования свобод войска обстреляли Технологический. В отношениях Совета, властей, населения, правительства воцарилась полная неразбериха. У парадного входа можно было встретить рабочего и студента, дворянина, крестьянина или полицейского пристава, покупающего «Известия». Газета стояла пятачок, но он не брал сдачи с рубля:

— В пользу Совета!

А через полтора месяца тот же пристав был с теми, кто пришел в здание Вольно-экономического общества, чтобы арестовать его депутатов.

По одному из коридоров Технологического прогуливались бывшие студенты, ныне члены Исполнительного комитета Совета Николай Саркисянц и Осип Логинов. Ждали Миха Цхакая, который опаздывал.

— Наверняка что-нибудь напутал наш Миха. Или забыл.

— Не мог забыть. Я посмотрю на улице. Может, он дожидается там?

— Встретимся в зале.

Быстрая как ртуть фигура Логинова мелькнула у поворота. Мимо прошел профессор Явейн — ответственный устроитель собрания. Раскланялись.

Продолжая прохаживаться по коридору, погруженный в свои мысли Богдан скорее почувствовал, чем заметил, что за ним наблюдают. Он огляделся и увидел высокого человека в пальто и шляпе, с обмотанным вокруг шеи шарфом.

— Богдан Мирзаджанов Кнунянц? — близоруко сощурившись, спросил тот.

Богдан не сразу признал в этом сильно исхудавшем человеке своего учителя, а как только узнал, бросился навстречу:

— Виктор Никодимович!

Взгляд Пилипенко по-прежнему оставался мертвенно-неподвижным.

— Не угодно ли пройти со мной в лабораторию?

— В лабораторию? — не поверил Богдан. — Неужели кто-нибудь работает?

Когда пришли в препараторскую, Пилипенко принялся медленно разматывать шарф.

— Ну-с, как поживаете? Не скучаете по лаборатории?

— Иногда скучаю, — признался Богдан.

— Никого не осталось. — Голос Пилипенко был тускл, тих, равнодушен. — Все сбегали. Эпидемия какая-то, поветрие. Неужели политика увлекательнее науки?

— Нужно ли объяснять, Виктор Никодимович, что не в политике дело? Решается будущее России. Быть или не быть республике. Нет, я не точно выразился. Быть, конечно, но весь вопрос — когда?

— Будущее,— покачал головой Пилипенко, бросая шляпу, шарф и пальто на кафельный стол,— будущее представляется вам праздником, тогда как мне оно видится в довольно мрачных тонах. Что творится в Петербурге, в Москве! Сумасшедший дом. Время настолько пачиноено событиями, настолько назлектризовано, что хочется хотя бы немного разрядить его, раздвинуть, проветрить. Все вооружаются, на улицах стреляют. Погромы. Грабежи.

— Это как болезнь,— заметил Богдан.— Ею пужно переболеть, выстоять, победить.

— Вы торопите время. Натягиваете его на себя, как ветхую простыню, забывая, что где-то там, впереди, материя непременно треснет, лопнет, расползется. В результате образуются клочья, дыры, которые вашим же детям и достанутся. Такой сильный ветер! И вы будете меня заверять, что твердо знаете, куда нас несет? Ваше место здесь, а не там.— Пилипенко шлепнул ладонью по кафельному столу.— Слишком много сегодня охотников разрушать. Найдется ли хоть один, кто пожелает строить среди этого хаоса? Какой пример мы даем будущему?

— Иногда и в разрушениях большая нужда.

Пилипенко достал с полки какую-то склянку, поднес ее к глазам, поставил на место.

— Не смотрите на меня так, будто я на старости лет выжил из ума и стал монархистом. Нет, я не монархист. Если помните, господин Кнулянец, в девяностые годы я был с вами. Но теперь... Во мне, знаете ли, очень силен дух противоречия. Когда преследовали студентов, я был с ними. Но сегодня, когда все сошли с ума, я хочу находиться в здравом уме и трезвой памяти...

Из прогрессивной прессы тех лет:

«Пройдутъ года, и исторія произнесетъ свой безпри-

страстный приговоръ; она сообщить будущимъ поколѣніямъ о великомъ единствѣ и героической самоотверженности русскаго народа, боровшагося стойко и пугающе за свою свободу и положившаго на алтарь этой свободы свое достоинство и тысячи молодыхъ жизней.

Подсудимые и защитники, участвовавшіе въ процессѣ только «въ цѣляхъ политическихъ, *для широкаго публичнаго выясненія истины*», шли до тѣхъ поръ, пока была еще малѣйшая возможность осуществлять эту задачу, и отказались отъ дальнѣйшаго участія въ процессѣ, когда передъ ними и всѣмъ русскимъ обществомъ вдругъ опустились завѣсу и заставили разыгрывать въ дальнѣйшемъ только роли статистовъ для окопчанія процессуальнаго церемоніала.

И подсудимые и защита вполне своевременно и съ полнымъ сознаниемъ своего достоинства отказались отъ этой роли.

Въ искренности и правдивости подсудимыхъ не усумнился даже представитель обвиненія, но этотъ же представитель обвиненія отказался съ безгласностью отъ инсинуацій, выдвинутыхъ охранниками, и отъ многихъ результатовъ того дознанія, которое было произведено жандармскими и охранными агентами правительства.

Стоитъ только вдуматься въ это обстоятельство, чтобы понять нравственный обликъ обѣихъ сторонъ, представшихъ передъ судомъ и передъ представителемъ обвиненія, которому выпала на долю крайне тяжелая задача опираться на тѣ данныя, которые оказались противными его совѣсти, чтобы понять, какая глубокая пропасть отдѣляетъ этическое міросозерцаніе пролетаріата отъ идеаловъ и нравственныхъ устоевъ бюрократіи.

Помимо палаты, не имѣвшей права входить въ политическую оцѣнку процесса, русское общественное мнѣніе

вынести и свой приговоръ по этому процессу. И этотъ приговоръ, вынесенный на основаніи не статей закона, а совѣсти народной, будетъ тяжелѣе для правительства, чѣмъ приговоръ палаты для подсудимыхъ.

Пролетаріатъ выйдетъ изъ этого процесса съ гордо поднятымъ челомъ и скажетъ с твердой вѣрой въ свое будущее «Будетъ нѣкогда день и погибнетъ священная Троя!»

Тем временемъ Лиза собиралась в далекий путь. «Ты меня от себя не отпускай»,— писала она когда-то мужу в Таганскую тюрьму, и теперь, сидя на чемоданах, чувствовала себя так, точно пребывала не в преддверии вечной ссылки, а в ожидании семейного счастья, которое должно было наступить вместе с началом долгой дороги.

ГЛАВА XXII

Обдорск давно ждал «советских».

Правительство со своей стороны сделало все, чтобы заинтересовать местное население новыми ссылками. Еще за два месяца до нашего прибытия местным приставом были получены инструкции о том, как нас принять, как строго за нами следить. Кроме того, приготовления, которые предпринимались по всему тракту, та исключительная «помпа», с которой нас везли, не могли не отразиться на обдорчанах. Они ждали, что к ним приедут какие-то исключительные «политики».

Были, конечно, и такие, особенно среди молодежи, которые слыхали о Совете рабочих депутатов, следили за судебным процессом по газетам. Их симпатии уже наперед были на нашей стороне, так как по своему политическому настроению они были большие радикалы.

Впоследствии мои хозяева, зырянские купцы и рыбопромышленники, рассказывали, что они нарочно на неделю отложили свой отъезд в самоедские тундры, чтобы только видеть высланных депутатов, о которых они так много слыхали. Это было большой жертвой с их стороны, но чего не сделаешь для удовлетворения так сильно возбужденного любопытства?

Дорога между Березовом и Обдорском не представляет ничего интересного. Путь идет или через Обь, или по безлюдной, безлесной тундре. На всем пути на протяжении пятисот верст есть только одно населенное место, которое может носить название села. Остальные места остановки состояли лишь из нескольких остяцких юрт и чумов, в которых жили содержатели земских станций. На каждой из таких станций нас встречал местный десятский или другое должностное лицо. При этом они старательно выставляли вперед свою палку. Мы долго не знали, в чем тут дело. Сопровождавший нас секре-

тарь полиции разъяснил, что это эмблема их официальной власти. Действительно, на палке (самой обычной, даже неаккуратно обтесанной) имелась сургучная печать, которая давала владельцу ее большую власть над окружающими.

Дорога привела нас в не особенно веселое расположение духа. Мы все ехали в Обдорск с неперменным желанием вернуться обратно. Внимательно изучали условия передвижения, чтобы при первом же удобном случае дать себе «амнистию». Но эти пятьсот верст от Обдорска до Березова имели очень мало удобств. Дорога вилась узкой лентой среди безлюдной тундры, и единственным способом передвижения служили земские лошади и олени. Нами, конечно, они не могли быть использованы, так как отпускались только едущим по специальному бланку. Что же касается оленей частных владельцев, то их стада кочевали по всей тундре. Требовались связи и время, чтобы до них добраться.

Но это дело будущего, а пока что мы приближались к месту нашего постоянного жительства. Наконец-то сможем освободиться от проклятой этапной жизни!

Все с наслаждением мечтали о том времени, когда, прибыв на место, каждый останется сам с собой или со своей семьей. Радость конца тюремного заключения и конца долгого месячного пути покрывала все остальные чувства. Даже побег как-то стушевался. К Обдорску мы приближались с тем же чувством, с каким приближаются к своей родине те, кто долго ее не видел.

Обдорск приятно поразил с первого же взгляда. Мы не ожидали, что на столь далеком севере может быть такое богатое и красивое село. Издали еще бросались в глаза две церкви и целый ряд больших, красивых, чисто городских зданий. Не будет преувеличением сказать, что там встречаются дома, которые сделают честь любому провинциальному городу Европейской России.

Оказалось, что те ужасы, которые нам рисовали в Тобольске, были страшно преувеличены. Видно, губернская администрация не имеет никакого представления о таком важном в коммерческом отношении пункте, как Обдорск. Достаточно сказать, что ни тобольский тюремный инспектор, ни чины канцелярии губернатора не знали, какой способ сообщения существует между Березовом и Обдорском: на лошадях, оленях или собаках.

Обдорчане и товарищи ссыльные еще за несколько верст до села увидели наш кортеж. Становой пристав еще с утра был предупрежден приехавшим раньше нас урядником. Все село высыпало на улицу.

Остановились мы в чайной Общества трезвости. Это довольно большое помещение со светлыми, теплыми комнатами. Чайная отдавалась в полное наше распоряжение, пока мы не устроимся. Надо сказать, что эта чайная всецело находилась в руках «политиков». Трезвость вообще не в большом почете у обдорчан, да, кажется, нигде на свете ей особенно не везет. Чайная оставалась всегда пустой, и редко когда в нее заглядывал какой-нибудь приезжий остяк или самоед. Только во время январской ярмарки, как рассказывают, чайная бывает полна приезжими из окрестностей инородцами. Но трезвость тогда уже совершенно из нее изгоняется. Каждый считает себя вправе приносить и распивать там продукты «монопольки».

Товарищи ссыльные в Обдорске встретили нас очень сердечно. Местная ссыльная колония состояла из пяти человек, из которых четверо были сосланы по делу Крестьянского союза, а один — за стачку на Сормовских заводах. В Обдорск, как в самый далекий путь Тобольской губернии, ссылались сравнительно редко, да из тех, кто попадал туда, многие возвращались в Россию или переселялись на юг. Эти товарищи остались там, потому что нашли себе работу и вообще более или менее устроились.

Приехали мы в два часа дня. Трудно было найти помещения для двенадцати ссыльных, из которых семь было семейных.

Мы пошли сами искать для себя квартиры. Нас везде встречали очень любезно, но сдавать комнаты почти везде отказывались. Хозяева любезно предлагали поселиться у них на несколько дней «погостить», как они выражались, но иметь постоянного жильца не желали.

Спасла опытность лиц, знающих обдорские нравы. Нам посоветовали взять пока временно квартиры, а потом уже сговориться с хозяевами, когда они к нам несколько привыкнут. Я так и устроился. Наняв квартиру на очень короткий срок, я прожил в ней до своего побега, больше трех месяцев.

Первые дни мы наслаждались нашей свободой и даже мало виделись друг с другом. С местными жителями сношения были сведены до минимума. Но когда первая жажда одиночества была удовлетворена, мы пошли навстречу желанию местных жителей познакомиться с «депутатами».

К нам все относились очень сочувственно и открыто выражали при всяком удобном случае свое расположение. Несмотря на наше исключительное положение как лишенных всех прав ссыльнопоселенцев и признанных администрацией особенно злостными «преступниками», местные жители делали все, чтобы облегчить нам ссылку.

Даже на этом далеком севере правительство оставалось совершенно изолированным. Было время, когда революционер, попавший в глухую тайгу, чувствовал себя одиноким, чужим. Теперь горячее дыхание революции докатилось до самых отдаленных окраин Сибири.

Поэтому побеги и стали чаще! Никакие административные меры не могут надолго помешать желающему бежать ссыльному осуществить свое намерение, раз население относится к нему сочувственно. Нам, «совет-

ским», помощь со стороны местного населения была особенно необходима, так как губернская администрация сдала нас под личную ответственность местной полиции и тем лично заинтересовала ее в надзоре за нами.

Был случай, когда обдорская молодежь, да и все взрослое население выразили нам свою «политическую» симпатию.

Через месяц после нашего приезда один из товарищей собрался бежать прямо через земский тракт до Березова, а там, если удастся, тем же путем до Тобольска. Разрешение на свободный проезд у него имелось. С этой стороны, словом, не предвиделось задержки. Трудно было выехать из села.

Как раз в это время, по предложению местных жителей, устраивалась охота на зайцев. Отправлялась большая компания наших. Товарищи решили воспользоваться этой охотой, чтобы доставить собравшегося бежать на ближайшую земскую станцию. Чтобы не было подозрения на той станции, для охоты была нанята лошадь и кошевка у содержателя обдорской станции. Кучером нарочно пригласили одного из местных «пролетариев», о котором говорили, что ему все трын-трава.

Обстоятельства складывались благополучно. Охотники выехали. Проехав несколько верст, товарищ обратился к вознице с предложением отвезти его на ближайшую станцию, за что обещал десять рублей. Тот моментально согласился.

Но тут случилось непредвиденное осложнение. Оказалось, что еще два дня назад приехал на эту станцию для каких-то своих дел сын содержателя земского тракта, обдорского купца Т., и еще находился на станции. Когда товарищ подъехал и потребовал сменить лошадей, он обратил на себя внимание купеческого сына. Последний, конечно, узнал в нем одного из «советских» и сообразил, что тот собирается бежать. Он до того перетру-

сил, до того растерялся, что в первое время только мог произнести: «Как же это? Ведь пристав не велел! За это я могу пропасть ни за что». Несколько оправившись, он категорически запретил дать лошадей, велел запрячь лошадей себе и поскакал в село. За товарищем послали урядника и водворили на «место жительства».

Побег сорвался. Дело обычное для нашего брата. Но любопытны оказались последствия доноса для молодого купчика.

В селе не было положительно ни одного человека, который не ругал бы его шпионом. В первые дни ему невозможно было никуда показаться, чтобы не вышла какая-нибудь «история».

Помню одну из таких «историй». Во дворе одного местного купца играли в городки. Молодой Т. также находился среди играющих, как близкий знакомый и даже, кажется, родственник хозяина. Заходит партия нас, политических, с несколькими из местной молодежи. Приглашают присоединиться к игре. Одип из наших заявляет, что, раз в игре участвует такой негодяй, как Т., ни один порядочный человек не может войти в число играющих. Моментально его выключили из игры и вывели со двора с криками:

— Иди к своему приставу и играй с ним в городки!

Раз утром, через неделю после неудачного побега, к тому товарищу входит хозяйка и докладывает с улыбкой, что два молодых человека желают его видеть. Он, конечно, ничего не подозревая, просит их войти. Входит тот самый Т. в сопровождении своего родственника, становится у дверей с шапкой в руках, виновато опустив голову. Парламентер начинает речь:

— Уж вы простите его! Ведь он это сделал не от злости, а по глупости. Сам это понимает теперь и готов загладить свою вину. Ведь все в селе знают, что он вообще умом и самостоятельностью не отличается. Испу-

гался отца, полиции и не хотя сделал подлость. Теперь ему нельзя на улице показаться.

Об этой сцене, конечно, скоро узнал весь Обдорск, но никто не жалел бедного Т.:

— Так дураку и надо, не шпионь.

Вскоре после побега одного товарища из Березова обдорский пристав получил распоряжение организовать за нами строгий надзор, для чего нанять специальных «агентов». Была отпущена ассигновка в размере, кажется, 25 р. ежемесячного вознаграждения каждому шпику. Пристав обратился к некоторым местным жителям. Но они категорически отказались, и даже больше — сочли своим долгом предупредить нас. В течение целого месяца пристав не мог найти ни одного желающего. История с Т. оказалась хорошим предостережением.

Потом говорили, что одно из должностных лиц волости — десятский взял на себя роль «агента». Но он старательно отбояривался, избегал встречаться с «политикамп» и при встрече старался подчеркнуть свою непричастность к такому грязному делу.

Втянувшись в местную жизнь, познакомившись с населением, мы, естественно, пользовались теми маленькими удовольствиями, которые может доставить сельская жизнь севера.

Как-то в морозный зимний день выехали за село, прямо в тундру. Олени неслись, как стрела. Я никогда не представлял, что возможна такая отчаянная, быстрая и бешеная езда. К этой бесконечной, снежной пеленой покрытой равнине, к суровому северному климату удивительно подходили и бешеная скачка, и красивые рога оленей, и приятный скрип нарт, над которым высоко торчал длинный хорей — шест, которым управляют оленями.

Весной оленьи стада перекочевывают к Уралу, и многие из них проходят мимо Обдорска. Хозяева предложи-

ли нам с женой поехать посмотреть оленье стадо и погостить у их брата — оленевода. Снег уже начал таять, и кругом было много воды.

Красивое зрелище представляет оленье стадо в поле. Разбросанные живописными группами по снежной поляне, олени — грациозные, подвижные, гибкие — являются резким контрастом с окружающей мертвой природой. Но контраст этот несколько не дисгармоничен. Наоборот, иначе, как в тундре, нельзя и представить оленя. Говорят, еще красивее стада диких оленей. В них больше грации и больше живости, чем в прирученных.

В чуме нам подали традиционную выпивку и чай. Хозяин, сопровождавший нас все время, говорил:

— Вот поедете в Петербург, опишите, как мы здесь живем, ничего не пропускайте.

Почта прибывает в Обдорск раз в две недели. На письмо можешь надеяться при самых лучших обстоятельствах получить ответ только через месяц. С Кавказа, например, я получил за все время только одно письмо, да и то через три месяца после его отправления. Когда началась весенняя распутица, мы целых два месяца сидели без почты. Два месяца ни звука из России! Какие только мысли не приходили в голову. Может, там уже подъем революции? А может, Дума разогнана, организации разгромлены, и снова начнется кропотливая работа собирания сил?

Не раз в шутку обдорчане говорили, что они на эти два месяца могут объявить у себя республику и никто им помешать не сможет. Кругом тающий лед, непроходимые водные пространства, в которых плавают громадные глыбы льда, — и больше ничего. Зато какая была радость, когда в одно утро нам сообщили, что «лед прошел», и мы увидели громадную водную поверхность, далеко теряющуюся за горизонтом. Вода, окружавшая нас со всех сторон, должна была затруднять побег, но зато

обещала доставить скоро сведения о том, что творится в России.

Наша колония решила отпраздновать 1 Мая народным митингом. Было объявлено по селу, что «политики» приглашают всех желающих на рабочий праздник. Мы особенно подчеркивали, что приглашаем всех, и русских, и инородцев, даже преимущественно последних, так как они — главная масса рабочих. Это очень важно в Обдорске, где к инородцам относятся как к париям.

Для праздника мы заняли чайную Общества трезвости. Зал был прекрасно декорирован зеленью, красными знаменами, аншлагами и соответствующими надписями. Нашли даже фисгармонию для хора, а для гостей приготовили чай и закуску.

Сверх ожидания, на праздник явилось более двухсот человек. И что всего отраднее, среди присутствующих оказалось много инородцев. В своих гусьях¹ и малицах², в оленьих сапогах и с первомайскими красными бантиками на груди, они придавали празднику совершенно особый колорит.

Революционные песни были знакомы большинству. В хоре принимали участие многие из присутствующих. Речи на тему о международной солидарности рабочих и о совершающейся революции были встречены восторженно.

Со дня на день мы стали ждать парохода. Целую неделю дул сильный ветер с Урала, а во время ветра Обь так же сильно волнуется, как море, и пароходы припуждены бывают прятаться под защиту берегов. Эта неделя ожидания стала самой мучительной из всех дней, проведенных в ссылке.

¹ Гусья — пальто из толстого шерстистого оленьего меха или сукна в виде мешка с капюшоном; надевается поверх малицы.

² Малица — рубаха из оленьего меха.

Приход парохода, особенно первого,— целый праздник. Ссылные и все обдорчане собрались на берегу. Еще пароход находился далеко от берега, когда начались расспросы о новостях. Любопытен первый вопрос, который у всех был на устах:

— Ну что, Дума еще существует?

— Пока не разогнана,— был ответ капитана, флегматично стоявшего на мостике и, видно, не первый раз отвечавшего на этот вопрос. Во время далекого пути от Тобольска до Обдорска в каждом селе, в каждом населенном пункте его спрашивали об одном и том же.

Сами обдорчане спокойно относятся к своей оторванности от внешнего мира. Рыбу ловить еще рано. Зимние работы по торговле окончены. Обдорчане предаются веселью и отдыху перед тяжелой летней работой на промыслах. Ежедневные кутежи и пьянство, карточная игра — вот занятия обдорских обывателей в это время.

Вообще на севере пьют много, но Обдорск перешеголял в этом отношении все соседние населенные пункты. Казенная винная лавка ежегодно продает до ста тысяч ведер водки, как рассказывал нам местный заведующий складом. На улицах постоянно можно встретить ряд нарт, на которых приезжают из окрестных чумов за водкой остяки и самоеды. Едут они обыкновенно целыми семьями и напиваются тут же, на улице. Пьют все — и взрослые, и дети, и мужчины, и женщины. Часто спят на улице.

В дни распутицы, когда мы особенно тоскливо ждали известий, особенно остро чувствовали обиду оторванности от родной среды, Обдорск веселился вовсю.

Современная политическая ссылка колония совершенно не похожа на те колонии, какие были несколько лет тому назад. Раньше в ссылку шли главным образом революционеры, члены двух действовавших тогда в России революционных партий — социал-демократов и со-

циалистов-революционеров. Октябрьская амнистия 1905 года вернула из ссылки все старые элементы. Последующая реакция, массовые аресты и высылки целыми тысячами участников революционной борьбы наполнили ссылку новым элементом.

Кого только нет в этом великом переселении живых сил русского революционного движения на сибирский север! Тут аграрник и стачечник, земский деятель и флотский матрос, почтово-телеграфный служащий и железнодорожник. Немало среди этой публики и таких, которые ничего общего не имеют с освободительным движением, а просто арестованы в массе и высланы на основании «чрезвычайных» законов.

Теперь нередко приходится слышать, что тот или иной политический поступил предосудительно, что ссылные пьянствуют, играют в карты и т. д.

К сожалению, многие из этих обвинений безусловно справедливы. Да и не удивительно! Разве мало было таких случаев, когда люди, всю жизнь ничего не делавшие для демократии и даже глубоко ей враждебные, участвовали в революционных актах под влиянием общественного подъема, вызванного революцией? Но вот они вырваны из движения. Их не воодушевляет и не очищает атмосфера высокоидеалистической народной борьбы за свободу. Они заброшены в далекое сибирское село без средств к существованию, без всяких надежд на будущее. И они снова принимаются за свои прежние «дела», несколько не стесняясь многообязующим званием политического ссылного.

Как я уже говорил, мы застали в Обдорске пять человек административно-высланных. Нас приехало восемнадцать. Таким образом, образовалась колония в двадцать три человека.

В сравнении с другими наша колония была поставлена в выгодное положение. Мы все знали друг друга,

большинство из нас были люди, «видавшие виды», и потому никаких неприятностей, как в других местах ссылки, не могло быть.

Когда мы уезжали из Петербурга, нас провожали одними и теми же словами:

— До свидания, ведь все равно не надолго!

Даже тюремный инспектор, товарищ прокурора, присутствовавший при освидетельствовании ссыльнопоселенцев, и вся администрация тюрьмы выражали уверенность, что мы там не останемся.

Местная сибирская администрация также не обманывалась. Она хорошо знала, что основываться в Сибири никто из нас не намерен и что многие воспользуются первым же удобным случаем, чтобы бежать. Помощник тобольского исправника, сопровождавший нашу партию, говоря как-то со мной о побегах, выразил только одно пожелание, чтобы мы не бежали с дороги, не подводили конвоя и сопровождающих чинов полиции.

— Ведь вам же удобнее бежать с места водворения: меньше риску, да и лучше можно все подготовить.

Но их предположения оказались оптимистичнее, чем наша действительность.

До ближайшей железнодорожной станции надо было ехать на оленях и лошадях больше полуторы тысячи верст. Такими станциями были или Тюмень, или Богословские заводы. Был и еще один зимний путь — через Ижму на Архангельск. Полиция почему-то была уверена, что мы выберем его, несмотря на то что он наиболее долгий и неудобный. Пришлось бы, переваливши Урал, скакать около двух тысяч верст по совершенно безлюдным местам, по ужасным дорогам и при этом постоянно иметь в перспективе возможность столкнуться в редких населенных пунктах со становым или урядником.

Единственная хорошо палаженная дорога от Обдорска идет через Березов, Тобольск, на Тюмень. По ней нас

везли этапом. До Березова дорога земская, а оттуда — почтовая. Я уже касался случая с одним товарищем, пожелавшим воспользоваться этим трактом.

Оставалось обратить внимание на другие пути. Мы старательно принялись за изучение различных коммерческих дорог, соединяющих Обдорск с торговыми пунктами Вологодской и Пермской губерний. Карты у нас имелись. В местной библиотеке благодаря трудам миссионера о. Иринарха была собрана богатая литература о сибирском севере. Ею мы и воспользовались, хотя благочестивый монах, верно, не предполагал, что его коллекция будет использована для таких «преступных» целей.

Из нескольких дорог некоторые были совершенно заброшены, и о них никто из местных обывателей не мог дать никаких сведений. Они действовали еще тогда, когда в Обдорск ходило мало пароходов и местным торговцам приходилось организовывать вывоз товаров собственными средствами. Самые свежие сведения, которые нам удалось собрать об этих дорогах, относились ко времени 15—20-летней давности. По другим дорогам, правда, ездили и теперь, но только в определенное время года, со специальными провожатыми. Главный недостаток этих дорог заключается в том, что в целом ряде перегонов в двести — триста верст нет жилых помещений. Надо ехать со своими запасами, с долгими остановками для отдыха и корма лошадей. А нам это было не совсем удобно, так как полиция могла доскакать до телеграфа и предупредить все железнодорожные станции, лежащие вблизи Тобольской губернии. Опасность тогда удесятирилась бы.

Для побега требовалось прежде всего достать проводника и оленей. Без помощи местных жителей мы этого сделать не могли. Полиция также понимала, что мы должны будем обратиться за помощью к местным обывате-

лям. Поэтому она учредила надзор не столько за нами, сколько за ними. Условия жизни в Обдорске настолько просты, и различные комбинации для организации такого экстраординарного предприятия, как побег, настолько невелики, что полиция почти без ошибок наперед знала, что мы можем предпринять. Становой пристав, под надзором которого мы находились, великолепно знал всех местных обывателей, знал, кто из них способен взяться за содействие. При таких условиях нечего было и мечтать скрыть после побега концы в воду.

Мне рассказывал один знакомый зырянин, как внушал ему пристав не помогать политикам, особенно «советским»:

— Конечно,— говорил он,— они люди, достойные с нашей стороны не только уважения, но и признательности. Каждый из нас обязан всячески оказывать им содействие. Но все же не надо забывать и себя. За содействие побегу ссыльнопоселенцев полагается ответственность по суду. Следствие может затянуться года на два, и все это время придется сидеть в тюрьме. Ведь они все равно и без всякого содействия уйдут. Чего же вам подводить себя?

Несколько раз нам удавалось наладить все для побега. Даже назначался день выезда. Но в самый решительный момент все расстраивалось из-за отказа проводника или хозяина оленей. Особенно памятна мне одна неудача, которая, в сущности, была и последней нашей попыткой бежать зимним путем.

Идею организации этого побега, как ни странно, подсказал нам обдорский пристав. Побег служил одной из постоянных тем разговора между нами и начальством, когда мы встречались. Это и понятно, так как и мы, и пристав были в нем непосредственно заинтересованы, хотя по совершенно противоположным мотивам.

Рассказывая о том, в какое нелепое положение он

поставлен циркулярами, требующими неусыпного надзора за «советскими», он, между прочим, остановился на следующей возможности:

— Ну что, например, я могу сделать, если вы убежите перед самой распутицей? Вы предварительно все организуете и отправитесь на Усу¹ тогда, когда вокруг Обдорска не останется ни одного оленя. Погони за вами я организовать не сумею, сообщить в Березов также, так как не будет никаких дорог. Только месяца через полтора или два сумею известить начальство о совершившемся факте.

Пристав был прав. Во время распутицы Обдорск совершенно оторван от остального мира, и что бы в нем ни случилось, известить кого-нибудь из начальствующих лиц нет никакой возможности.

Есть, правда, один путь — послать «депешу», но он действует только в самом начале распутицы, когда лед еще не тронулся. Способ этот весьма оригинален и ярко характеризует ту боязнь начальства, которую администрация сумела внушить остякам.

Пакет с донесением запечатывается большой сургучной печатью «с пером». В этом «пере» вся суть. Сургуч растапливается над гусиным или каким-нибудь другим птичьим пером таким образом, чтобы после запечатания перо торчало из-под печати. «Перо» — символ спешности и важности. Всякий остяк, в руки которого попало такое письмо «с пером», обязан под страхом строгой ответственности доставить его в ближайшее поселение по пути назначения письма. Иногда остяки с большим риском для собственной жизни переправляются во время распутицы через реки, через полуоттаявшие болота на собаках, пешком, на лодке и доставляют письмо по назначению. Рассказывают, что чиновники нередко зло-

¹ Приток Печоры.

употребляют, отправляя визитные карточки с пасхальными поздравлениями такой экстренной почтой.

Мы решили воспользоваться распутицей и уехать так, чтоб не было никакой возможности догнать нас. К страстной неделе начало уже сильно таять. Большинство оленеводов перекочевали за Обь, к Уралу, и к пасхе, по рассказам местных жителей, в окрестностях Обдорска не останется ни одного оленя. При содействии наших друзей из местных обывателей мы нашли оленевода, который брался доставить нас на Урал. Там нас должны ждать купцы, которые сплавляют в это время года товары на Ижму. С ними мы доехали бы до Печоры.

Все было готово к отъезду. В соответствующих для оправдания такого длинного пути «документах» также задержки не было. Обставлены мы были паспортами и другими бумагами великолепно. Путь предстоял очень длинный, почти месяц до железнодорожной станции, и то только при безостановочной езде. Уезжать намеревалось сразу несколько человек.

Мы собирались выехать из Обдорска в ночь на страстную субботу. Занятые праздничными хлопотами, ни жители, ни полиция не заметили бы нашего отсутствия в течение субботы и воскресенья. Если бы узнали о побеге в первый или второй день пасхи, то вряд ли нашли бы в Обдорске хотя бы одного трезвого человека, который бы согласился поехать в погоню за нами. Еще за неделю до пасхи почтовое сообщение с Березовом было прекращено и лошади с земских станций сняты. Все благоприятствовало успеху нашего предприятия, и мы надеялись на удачу. Вещи наши еще за два дня были вывезены из Обдорска в чум нашего антрепренера.

Ездить во время распутицы вообще очень опасно. Нам предстояло совершить свой переезд до притоков Печоры на оленях, переправиться через ряд горных ру-

чейков, которые в это время года особенно полноводны. Как рассказывал проводник, не миновать было ледяных ванн, так как реки приходится переплывать на оленях. Нарты накладываются друг на друга в три-четыре этажа, на самом верху помещается проезжающий и багаж, и таким образом совершается переправа. Олени сами плавают великолепно и легко тащат этот импровизированный плот. Мы запаслись гусьями, вещи уложили в брезентовые мешки — словом, приняли все меры, чтобы быть приспособленными к далекому пути.

Но все наши приготовления пропали даром. В ночь на субботу поднялся страшный снежный буран. Ветер так кружил по улицам, так бешено выл и метался по селу, что опасно было выходить из дому. Что делается в такое время в тундре, с трудом поддается описанию. Выезжать в такую погоду — значит идти навстречу гибели.

Мы не теряли надежды. Думали, что выедем ночью из леса и переждем где-нибудь непогоду. Буран не мог стать причиной задержки побега. Ведь речь шла о последней попытке бежать зимним путем! В случае неудачи пришлось бы целых два месяца ждать парохода.

Проводник обещал заехать за нами к часу ночи. Это было самое темное время суток, так как уже начались белые ночи. Мы собрались у одного товарища, живущего на окраине села. Большинство «советской» колонии оказалось в сборе.

Буря не переставала всю ночь.

Мы напрасно прождали до утра, прислушиваясь к каждому шороху, к отдаленному лаю собак, присматриваясь к мелькающим вдали в тундре огням. Разбитые, разочарованные, полные тоски по несбыточной свободе, мы утром разошлись по домам. То же повторилось и в следующую ночь.

Наступила пасха. Народ веселился. В селе было шумно и пьяно. Только мы ходили как в воду опущенные.

Над нашим зимним побегом висело какое-то проклятье. Уже который раз налаженное почти предприятие срывалось.

На второй день пасхи дело выяснилось. Утром сообщили, что приехал из чума проводник и привез обратно вещи. Оленевод отказался отпустить оленей — побоялся ответственности перед администрацией.

Никогда не забуду того тяжелого чувства, с которым мы разбирали свои вещи и разносили по домам. Обдорчане с удивлением смотрели, что «политики» откуда-то несут дорожные вещи. Они останавливали нас и расспрашивали, куда это в праздничный день мы отправляемся.

Отправляемся! Если бы они знали, как растравляло это слово наши раны.

Побег снова сорвался. Общее настроение было такое, что одно напоминание о побеге приводило в раздражение самых хладнокровных из нас. Как будто создалось молчаливое соглашение совершенно не говорить о нем и не строить пока никаких планов.

Но каждый про себя ежедневно думал о новых способах вернуть себе свободу. Нельзя было забыть о том, с чем связана вся будущая жизнь, возвращение к общественной деятельности, к товарищам.

Мы строили планы, но не высказывали о них ничего друг другу. Нас пугал тот официальный скептицизм ко всяким новым попыткам побега, который установился у нас в колонии.

ГЛАВА XXIII

Переписывая десятки страниц разнообразных текстов, я приходил к выводу, что без этих переписываний не обойтись. Ибо как размочить, размешать глыбы глины, уже начавшей обретать форму?

Как осмелиться уничтожить уже существующие этюды, эскизы, беглые зарисовки, живые отпечатки едва намеченных фигур людей, силуэтов деревьев, домов, отдельные куски барельефов? И можно ли лучше, чем сделал это беглец из Обдорска, точнее, чем очевидец и участник, описать историю его побега?

«Распутица приближалась к концу, — вспоминал он, — и с этим вместе возрождались наши надежды на возможный побег. Снова начались долгие обсуждения всевозможных проектов, связанных с прибытием пароходов.

Прежде всего необходимо было обеспечить себе свободный выезд из Обдорска. Уехать из села таким образом, чтобы полиция сейчас же не узнала об отлучке, невозможно. Обыватели Обдорска не только знают то, что делается в каждой семье, но даже проникают каким-то образом в тайны проектируемых действий.

Пренятствовать нашему отъезду пристав не мог. Сесть на пароход и доехать до Березова мы могли совершенно свободно. Но в Березове нас бы задержали и на основании недавно введенного в крае положения об усиленной охране засадили бы в тюрьму, а потом вернули обратно. Перспектива не из приятных. Нам нисколько не улыбалась березовская тюрьма взамен обдорской «свободы».

Имелся и другой путь — временно исчезнуть из Обдорска, поехать на «низ», к устью Оби, на рыбные промыслы. Летом почти все мужское население села уезжает

на рыбную ловлю вниз по течению. Многие промышленники нас приглашали к себе в гости, и мы могли у них недурно устроиться. Оттуда уехать на пароходе свободнее, так как там совершенно нет полиции, а пассажиров очень мало. Правда, пароход на обратном пути заезжает в Обдорск, но при некоторой предосторожности нетрудно избежать любопытных взоров и более бдительных сторожей, чем обдорская полиция. На «низ» мы могли ехать свободно, так как ссылкой не возбраняется перебираться на север, к полюсу. Это даже некоторым образом поощряется.

Кто-то из ссыльных узнал, что существуют новые правила «об облегчении участи ссыльнопоселенцев», изданные в 1905 году. По этим правилам ссыльнопоселенцы имеют право с разрешения местной полиции в течение первых шести месяцев по водворении разъезжать по уезду, а после шести месяцев, с ведома полиции, — по всей губернии. Лишаются этих льгот только лица порочного поведения и бродяги.

Мы обратились к местному приставу за подобным разрешением. Он подтвердил наше право «искать заработка в пределах уезда», но отказался выдать нужное для этих поисков свидетельство. Любопытно, что, открыто признавая всю незаконность своего отказа, он не мог поступить иначе согласно циркуляру губернатора, где категорически было сказано: «отлучек не давать».

За несколько дней до прихода первого парохода я отправился к приставу с просьбой удостоверить мою подпись на заявлении о неимении препятствий с моей стороны к выдаче заграничного паспорта моей жене.

— Что, вы уже готовитесь в заграничное путешествие? Неужели наш Обдорск вам надоел?

Так встретил меня пристав.

Затем пачался обычный разговор о побегах, отлучках и т. д. Во время разговора присутствовали местный

миссионер, березовский акцизный чиновник и присланный из Березова заместитель пристава (наш пристав должен был с первым же пароходом уехать в Березов исправлять обязанности уволенного исправника).

Я попросил пристава показать мне официальное постановление тобольского губернского присутствия о водворении нас на жительство в Обдорске и об отобрании у нас подписки о невыезде. Благодаря ли небрежности губернской администрации или чему другому, у нашего пристава его не оказалось. Выходило так, что нас привезли в Обдорск и отпустили на все четыре стороны, не обязавши даже подпиской о невыезде.

— Имеете ли вы законное право помешать нам уехать из Обдорска? — спросил я у пристава.

— Законного нет, да если бы и хотел, вы знаете, что я не в состоянии. Но согласно циркуляру губернатора я не могу вам давать отлучек, а если уедете, то обязан немедленно сообщить своему начальству.

Но меня интересовала не эта сторона дела. За самовольную отлучку нас могли засадить в тюрьму административным порядком на основании положения об усиленной охране да еще вдобавок предать суду. Раз же нет официального постановления о нашем водворении, то не может быть речи и о самовольной отлучке. Пристав должен был согласиться, что поставлен в нелепое положение по отношению к нам. В результате нашей долгой беседы я ему заявил, что некоторые из нас собираются уехать в Березов, так как не связаны никакой подпиской о невыезде. Он признал за нами право уезжать и обещался сам поехать с первым же пароходом до Березова и получить инструкцию от губернатора по телеграфу (и, конечно, сообщить, что мы отлучились).

Этим правом некоторые из наших вскоре и воспользовались. Они уехали в Березов. Какой ответ получил пристав от губернатора, я не знаю. Меня уже не

было в Обдорске, когда он должен был получить инструкцию.

Весной с первой водой в Обдорск прибывает несколько коммерческих пароходов. Они привозят рабочих, баржи, соль и разные товары. От Обдорска они все направляются к устью Оби и через несколько дней снова возвращаются назад. Летом частные пароходы посещают Обдорск редко. Только осенью, когда кончается рыбная ловля, коммерческие пароходы снова появляются в устье Оби с громадными баржами для транспорта скупленной торговыми фирмами рыбы.

Нам нужно было воспользоваться весенним «съездом» пароходов, иначе пришлось бы отложить побег до осени. Полиция, конечно, тоже знала, что это время — одно из наиболее удобных для побега. Но на нашей стороне имелось преимущество: симпатия пароходных команд и некоторая независимость от полиции администрации частных пароходов. Со стороны тобольского губернатора предпринимались попытки еще в прошлом году обязать подпиской пароходовладельцев не возить политических, но те категорически отказались исполнять полицейские функции. Они заявили, что не могут же требовать от пассажиров паспортов, для них достаточно, если последние заплатили за проезд.

В дальнейшем описании своего побега я должен, по понятным причинам, опустить некоторые подробности.

.

Я очутился в совершенно темном шкафу. Раздался третий свисток, и началась обычная возня на палубе перед отходом парохода. Вот уже слышится скрип якорной цепи, пароход качнулся раза два и тронулся.

Итак, побег начался.

Заметили ли мое отсутствие на берегу те, кто ехал на пароходе? Узнали ли оставшиеся в селе чины поли-

ции, что я не уехал открыто, по примеру других товарищей, а куда-то исчез?

Я прислушивался к голосам, раздающимся где-то, желая по ним что-нибудь разобрать. Но трудно было что-либо расслышать, да и возня на пароходе была довольно большая.

Я попал в свою импровизированную «каюту» совершенно неожиданно. Вещей никаких со мной не было. Они все остались в Обдорске. Но я не жалел о них: в своей нелегальной жизни мне не раз приходилось бросать все вещи и спасаться в одном платье.

Наконец шум на пароходе стих. Раздавалось только тяжелое шлепанье паровых колес. Колесо находилось тут близко, и в темноте я не мог сначала понять, лежу ли я на самом колесе, сбоку или под ним. Вероятнее всего сбоку, так как сзади того места, где я лежал, можно было ощупать полуцилиндрическую железную обшивку.

Доски, на которых я лежал, качались. Они не все, как видно, были прибиты гвоздями. А что под ними? Вдруг провалишься в воду? Надо спокойно лежать, пока не удастся удостовериться, что под досками не вода. Да и вообще шевелиться не особенно удобно, проклятые доски так скрипят.

Я начал ощупью знакомиться со своим помещением. Оно оказалось довольно обширное. Воздуху много. Лежать можно совершенно свободно, сидеть «по-восточному» также. В одном углу шкафа стоял ящик с какими-то пузырьками, склянками и чем-то мягким, напоминающим клеепку для компрессов. Потом я узнал, что это походная паровозная аптека. В другом углу какие-то рамы с разбитыми стеклами — вероятно, планы парохода. Я так и не узнал, что на них изображено.

Через одну из дверей шкафа пробивался узкий луч света. Этот луч не освещал почти ничего в моем поме-

щении, но по нему можно было судить, какая погода на воле, солнечная или облачная. При некотором напряжении зрения и навыке можно было смотреть на часы. А это уже большое облегчение в моем положении, когда впереди не одни сутки езды в этом темном карцере.

Прошел час, другой, никто не явился. Видно, мои друзья на пароходе не имели возможности отлучиться от других пассажиров и заглянуть ко мне.

Наконец дверь шкафа немного приотворилась и знакомый голос прошептал:

— Все идет великолепно, никто не подозревает твоего присутствия. Сейчас принесу подушку, одеяло, еду.

Первая опасность, значит, миновала. Я выехал благополучно из Обдорска. До самого Березова беспокоиться теперь нечего — нигде не будет ни обыска, ни каких-либо других осложнений. Я мог устраиваться в своем шкафу свободно на целых двое суток.

Эти двое суток пролетели незаметно. Мне, привыкшему проводить долгие месяцы в одиночном заключении, было нетрудно примириться со своим новым заточением. Я наполнял бесконечные часы своего лежания в шкафу планами будущей жизни на свободе, одна мысль о которой могла примирить с какой угодно обстановкой. Не знаю, как другим заключенным, но мне теперь почти не приходилось проводить дни заключения в воспоминании о прошлом. За годы сидения все это прошлое уже сотни раз пережито, передумано, и нет в нем такого уголка, на котором ищущее новых материалов воображение могло бы остановиться. Другое дело — строить планы будущего. Тут безграничный простор для творческой фантазии.

С «материальной стороны» устроился я очень недурно. Ел, пил, спал не хуже, чем если бы пришлось ехать открыто в каюте. Друзья заботились обо всем.

Впервые я осмотрел свой шкаф только часа в три ночи. Весь пароход спал. Я попросил открыть мне на

несколько минут дверцы. Стояла совершенно светлая ночь, как это бывает вообще зимой на севере. Осмотр убедил меня, что беспокоиться о том, что доски на полу провалятся и что я упаду в воду, нечего. Под деревянной настилкой, на которой я лежал, на аршин ниже имелась еще обшивка, которая и отделяла помещение от поверхности воды.

Выходить из шкафа даже ночью было небезопасно. Дверь в соседнее помещение не запиралась, и кто-нибудь из служащих мог зайти каждую минуту. Я решил ни в коем случае не выходить из своего убежища, пока не доеду до места.

Открытие, что в шкафу находится ящик с медикаментами, сильно обеспокоило меня. Ведь каждую минуту могло случиться, что кто-нибудь из команды заболеет. Потребуется лекарства, и за ними придет фельдшер, или матрос, или кто-нибудь другой из пароходных служащих. Откроют шкаф, и как бы я ни прятался в противоположный угол, заметят присутствие в нем человека. Этого посещения я ждал с минуты на минуту. Отвести его никак не мог, так как всякая попытка в этом направлении могла бы только вызвать подозрение. Решил предоставить все ходу событий.

Первые дни прошли благополучно. Я даже начал забывать о существовании злополучного ящика. На четвертый или пятый день плавания я вдруг услышал голос:

— Здесь в шкафу есть лекарства, позвольте, пожалуйста, их взять, они пужны одному больному.

Я моментально спрятался в дальний угол шкафа. Но на видном месте остались лежать шуба, подушка и тут же стоял недопитый стакан чаю. Их я не успел убрать. Несомненно, все это было замечено. Моя тайна оказалась в руках незнакомого, постороннего человека. Надо было предпринимать что-нибудь

Мои друзья принялись за разведку. Обратились за со-

действием к тем товарищам из команды парохода, которые знали о моем местопребывании и помогали нам, чем могли. Следовало узнать памерения случайного свидетеля моего побега и, если понадобится, купить его молчание.

Но наша тревога оказалась напрасной. Моя тайна попала в надежные руки. Из сочувствия ли к нам, «политикам», или из каких-нибудь других мотивов этот свидетель не захотел даже своим товарищам по команде сообщить, что он видел в шкафу. Это свое молчание он хранил до конца нашего путешествия. Я не мог, уходя с парохода, пожать его руку, но он, вероятно, не сомневался в моей благодарности и признательности.

Вообще пароходной команды нам опасаться не приходилось. Она вся почти состояла из «забастовщиков». Незадолго перед началом навигации у судовых команд Западной Сибири прошла экономическая стачка, кончившаяся частичной их победой. Не обошлось, конечно, и без арестов. Настроение у матросов было приподнятое, все их симпатии находились на стороне революции. О Совете рабочих депутатов они, конечно, много слышали и готовы были помочь нам вернуть себе свободу.

До Березова мы доехали без всяких приключений. Капитан говорил, что пароход часа три простоит на пристани. В течение этих трех часов можно каждую минуту ждать обыска. Я очистил свой шкаф от тех вещей, которые мне передали друзья, и остался в том виде, в каком спрятался вначале. В случае обнаружения побега никого не смогли бы обвинить в содействии.

Пароход остановился, и началось томительное ожидание. Одно исключительно благоприятно сложившееся обстоятельство помогло тому, что не было произведено никакого серьезного обыска на пароходе. Об этом обстоятельстве по некоторым соображениям я не могу говорить.

Но вот раздался третий свисток, и мы снова поехали.

Один из опаснейших пунктов остался позади. До Тобольска оставался еще один сомнительный пункт, село Самаровское, где живет становой пристав, но он не так опасен, как Березов — резиденция всей уездной администрации.

Я настолько освоился со своим шкафом, что доставлял себе даже некоторое развлечение. В Березове мне достали новый номер «Речи», и я весь номер прочитал в своем темном шкафу. Пользовался я для этого тем тонким лучом света, о котором говорил выше. Зараз луч освещал три-четыре буквы, и их можно было свободно разобирать. Передвигая газету слово за словом, я прочитал все шесть страниц со стенографическим отчетом заседаний Государственной думы. Правда, это заняло у меня очень много времени, зато доставило громадное развлечение в моем одиночестве.

Затем я попросил нарисовать план Тобольска, чтобы по приезде суметь быстро ориентироваться в городе, и таким же путем изучил его. Но план оказалось куда труднее разобрать, чем читать газету. Луч освещал чересчур малое пространство, и нелегко было следить за направлением улиц.

Главной нашей заботой за это время стало решение вопроса: ехать ли мне до самого Тобольска или высадиться где-нибудь на промежуточной станции, верст за сто или двести до города и там попробовать на лошадях или на лодках доехать до железной дороги? Благоразумнее, конечно, было последнее. Но перспектива новых поисков провожатых, возможная отсрочка поездки из-за отсутствия лошадей или лодок, наконец, незнание местных условий — все это послужило причиной решения ехать до самого Тобольска. Там, по нашим предположениям, неизбежен был обыск парохода, и я рисковал после семидневных тревожений попасть в руки полиции. Но разве можно в нашем положении предпринять что-нибудь без

риску? Надо только сделать со своей стороны все возможное для обеспечения успеха.

Я принялся за более детальное изучение своего шкафа. Некоторые доски пола качались, и, поднявши одну из них, я ощущал довольно большое пространство, достаточное для того, чтобы человек мог спрятаться. Влезть туда да и лежать там было не совсем удобно, но эти неудобства легко было перенести при уверенности, что побег удастся.

Я принял определенное решение: перед Тобольском спрятаться в «подполье» шкафа и прикрыть себя досками. При этом доски требовалось крепко заколотить, чтобы не было возможности заглянуть внутрь «подполья». Тогда при обыске шкаф оказался бы совершенно пустой и никто не мог бы подозревать, что под плотно заделанным полом кто-нибудь прячется. Не станет же полиция разбирать пол парохода! Для этого у нее должны быть серьезные подозрения, а таковых пока не имелось.

Я попросил дать мне шнурок, чтобы точно измерить, какой длины доски еще нужны. Не хватало двух досок. При содействии друзей из пароходной команды их заготовили и передали ночью. Таким же путем доставили буравчик и винты, необходимые для закрепления досок (гвозди были неудобны, так как при вколачивании их был бы слышен стук).

У меня закипела работа. Я начал прилаживать доски, заготавливать отверстия для винтов и т. д. За шесть дней я так привык к темноте, что работал совершенно свободно.

Часа за полтора до прибытия парохода в Тобольск я спрятался в «подполье». Друзья начали закрывать досками все отверстия. Я изнутри также работал и уже через десять минут оказался со всех сторон закупорен. Оставалось только лежать на спине и ждать. Кроме того, что

места было очень мало, все страшно скрипело. Но было никакой возможности ни повернуться, ни спать. Мое новое помещение напоминало собой гроб, с той только разницей, что из него я надеялся выйти и продолжать свою прерванную жизнь еще на этом свете.

Мы рассчитывали, что мне придется пролежать в этом «гробу» около трех-четырех часов. Так и случилось на самом деле.

Пароход остановился, и слышно было, как пассажиры его покидают. Мои друзья также намеревались отправиться в город. Я ожидал того момента, когда придут и освободят меня из добровольного заключения.

Как-то люди подходили к шкафу и уходили, но никто его не открывал. Что-то очень долго разгружали пароход. За временем я следить не мог, так как в новом моем помещении не было ни одной светлой точки. Моментами казалось, что я жду целую вечность. Когда меня оттуда извлекли, я был поражен тем, что прошло только около трех часов.

Потом уже мне рассказывали, что на пристани была полиция, проверяла паспорта приезжающих, и подвергла беглому осмотру пароход.

Наконец слышу, как кто-то подходит к моему шкафу и уверенной рукой открывает дверцу. Но не шевелюсь — может, посторонний человек. Раздается условный стук. Я отвечаю тем же. Смелым ударом выбивается одна, вторая доска. Где бывала осторожность, с которой ввинчивались винты и прилаживались доски? Бояться теперь нечего, так как на пароходе нет никого постороннего.

Я выползаю из своего «гроба», запыленный, запачканный. С трудом привыкаю к яркому солнечному свету.

— Ну что, товарищ, не разучились еще ходить? Может, помочь? — приветствовал меня симпатичный молодой парень из пароходных друзей.

Меня проводят в одну из служебных кают, выходящую окнами на воды Иртыша.

Итак, я почти свободен! Могу ехать, куда хочу, и кончилась жизнь в шкафу. Всей грудью вдыхал я свежий речной воздух, такой приятный после пыли подполья.

Но было еще рано праздновать победу. Предстояло выбраться из парохода, потом выехать из Тобольска и, наконец, попасть на железную дорогу, не возбуждая подозрения. Моя физиономия типичного южанина не могла не бросаться в глаза на этом далеком севере. Паспорт тоже был не из особенно подходящих для Тобольской губернии. Все это оказались препятствия, правда мелкие, но все же препятствия, которые надо одолеть.

Прежде всего, конечно, требовалось изменить свою физиономию. Это удалось сделать неплохо. Когда я приехал в условленную квартиру, один из очень близко знающих меня людей не узнал меня с первого раза.

Преобразившись и пообчистившись, я отправился в город. Прошел спокойно мимо стоявшего недалеко от пристани городского и не вызвал в нем никакого интереса к своей персоне. Шел я уверенно, так как город был знаком мне по плану.

В тот же день я выехал из Тобольска. Товарищи все сами приготовили: купили необходимые вещи, достали ямщика, организовали конспиративный отъезд из города. Без всяких препятствий я доехал до железнодорожной станции. Отсюда уже начиналась знакомая стихия. Имея хороший паспорт и деньги, нетрудно стать неуловимым для нашей полиции.

После четырнадцати месяцев тюремного заключения и трех месяцев ссылки я опять попал в Россию».

Но в России Богдан Кнулянец пробыл недолго — ровно столько, сколько потребовалось для того, чтобы пересечь

ее с востока на запад, оказаться в Петербурге, а затем уехать за границу.

По вполне понятным причинам в своих воспоминаниях, описывающих три месяца ссылки и побег, он ни намеком не сообщает о том, что вместе с ним, но только открыто, ехала на пароходе его жена. Проговорись он, и полиция при желании могла бы найти тот пароход, на котором он бежал, и наказать виновных в укрывательстве беглеца.

План этого великолепного побега представляется теперь столь же рискованным, сколь и остроумным. Насколько можно судить по сохранившимся записям, из Обдорска в тот раз бежал он один, а остальные «советские», по договоренности с ним, играли роль статистов в этом захватывающем спектакле. Но с равной вероятностью можно предположить, что удачное стечение обстоятельств подвигло Богдана на почти внезапное решение совершить побег. Так или иначе, две группы обдорчан отправляются на пароходах по Оби. Одна, в которую входит Лиза, едет до Березова (Лиза поедет дальше — в Тобольск, Петербург, за границу), а другая спускается вниз по Оби, к ее устью, в гости к рыбнпромышленникам. Местный пристав предупрежден. Эти поездки он не может ни запретить, ни разрешить. Единственное, что ему остается, это сообщить начальству, кто куда уехал, а там уж пусть распоряжаются как знают.

Для беглеца же было важнее всего, чтобы пристав не знал пути его следования.

И вот проводы у пристани отъезжающих в Березов. Разумеется, за Кнунянцем пристав должен был бы следить особо, ибо его жена покидала Обдорск. Самое время бежать и ему. И действительно, он бежит. Странно, не правда ли? Сам приходит к приставу по поводу выдачи заграничного паспорта жене, предупреждает о выезде и бежит тайком.

Почему Лиза решила уехать за границу? Почему именно теперь? «Неужели наш Обдорск вам надоел?» — насмешливо спрашивает полицейский. Может, ее отъезд в это наиболее удачное для побега время обусловлен чем-то другим. Капризом? Болезнью? Опрометчивостью первоначального решения разделить печальную судьбу мужа? Что должен думать о ее отъезде полицейский пристав?

Госпожа Голикова-Кнупянец уезжает вверх по течению Оби, ссыльный Кнупянец — вниз, к друзьям рыбопромышленникам. Или он уже уехал? Как, даже не проводив жену? Да вот только что ведь был в толпе провожающих. Что-то не видно. Скорее всего, прошел с вещами на пароход.

«Впрочем, куда денется? — думает пристав. — Если и он до Березова, то вместе поедет. Так сказать, в одной компании».

А вот и госпожа Кнупянец. Легка на помине. Одна. Комкает платочек в руках. Нервничает. Вглядывается в толпу на пристани.

— Неужели наш Обдорск вам надоел? — повторяет пристав свою шутку.

Лиза не отвечает. Шутка неуместна. Пристав глубоко вздыхает, мрачнеет, старается придать лицу глубокомысленное выражение.

«До Березова доехали без всяких приключений», — отмечает Богдан. Все ссыльные и пристав покинули пароход. А Лиза осталась. В этот бы момент и проявить приставу бдительность, шепнуть кому следует: «Давайте-ка, братцы, осмотрите пароход получше. Что-то беспокоит меня». А ведь не шепнул. Почему?

«Одно исключительно благоприятно сложившееся обстоятельство помогло тому, что не было произведено никакого обыска на пароходе», — пишет Богдан далее. С чем оно связано, это обстоятельство? С приставом, который приехал в Березов исправлять обязанности уволенного

исправника? С Лизой? «Об этом обстоятельстве я, по некоторым соображениям, не могу говорить». Какого характера эти соображения — личного, политического, конспиративного?

«Главной нашей заботой, — проговаривается Богдан, — стало решение вопроса, ехать ли мне, — тут же исправляется он, — до самого Тобольска или высадиться где-нибудь на промежуточной станции». Последний вариант кажется более «благоразумным». Почему он ему не следует? Имеется ссылка на возможные трудности чисто организационного порядка. Конечно, он не один — с женой. Но ведь Лиза не из тех, кого можно назвать принцессой на горошине. Тем не менее Богдан решает ехать до самого Тобольска. Почему? Ведь «там неизбежен был обыск парохода». «По нашим предположениям», — как бы мимоходом замечает он. «По нашим» — это значит, они с Лизой советовались. Чтобы как-то оправдать более чем странное решение отказаться от «благоразумного» варианта ради гораздо более рискованного, чреватого возможностью «попасть в руки полиции», Богдан пишет такую вот удалую, прямо-таки гусарскую фразу: «Но разве можно в нашем положении предпринять что-нибудь без риску?»

(Замечу, кстати, что в записках беглеца имеются слова, которые произвели на меня очень сильное, можно даже сказать, ошеломляющее впечатление. Вот они: «Мое новое помещение напоминало собой гроб, с той только разницей, что из него я надеялся выйти и продолжить свою прерванную жизнь еще на этом свете».)

Итак, пароход остановился в Тобольске. «Мои друзья также должны были отправиться в город». (По-видимому, для того, чтобы проводить Лизу на конспиративную квартиру, куда через некоторое время явился сам беглец.)

«Паспорт у меня тоже был не из особенно подходящих для Тобольской губернии». Еще бы! Иностранец Куно Стиглус, путешествующий в такой глуши, вызвал бы подозрение первого же городского. Именно поэтому Богдан с особым удовлетворением отмечает то впечатление, которое он произвел на указанное лицо. «Прошел спокойно мимо стоявшего недалеко от пристани городского и не вызвал в нем никакого интереса к своей персоне».

Очень мне понравилось его новое имя: Куно. Гнуни — Куни — Куно. Такое хорошее имя он придумал себе. Что и говорить, любил он морочить полиции голову. А главное, умел.

Без всяких препятствий Куно и Зельда Стиглус доехали до железнодорожной станции. «Отсюда уже начиналась знакомая стихия. Имея хороший паспорт и деньги, нетрудно стать неуловимым для нашей полиции».

Но оптимизм Куно был явно избыточным.

ГЛАВА XXIV

Начальник Привислинского районного охранного отделения — начальнику Московского охранного отделения:

«В Россию должен прибыть участник Лондонского съезда, известный революционный деятель под кличкой «Богдан», который принял предложение польских социал-демократов быть ответственным организатором Варшавско-Лодзинской военной организации и который предполагает проехать границу по паспорту Степана Дехтярика. Приметы его: 28 лет, среднего роста, темный шатен, небольшие усики и борода.

Получены следующие телеграфные распоряжения:

1) Случае проезда через вверенный Вам пункт лица, упомянутого депеше № 1818, имейте в виду экстренный розыск. Имеются сведения, что по паспорту Дехтярика может проехать Богдан Кнунянц.

2) Степан Дехтярик 7 сентября выехал из Парижа через Вену и границу. Благоволите распорядиться посылкой филеров. Пограничному офицеру дано знать, чтобы арестовал только в том случае, если окажется разыскиваемым Кнунянцем.

3) Прибывающий Варшаву «Богдан» есть видный социал-демократ Гавриил Корш».

Начальник Бакинского губернского жандармского управления, полковник Минкевич:

«Из доклада заведующего заграничной агентурой от 1907 года усматривается, что Богдан Кнунянц, он же Рубен, вместе со своей женой Елизаветой, урожденной Голиковой, проживали в Берлине по паспорту на имя Куно и Зельды Стиглус. По сведениям президента берлинской полиции от 1907 г., супруги Стиглус прибыли 14 сентября 1907 года в Вильмерсдорф, близ Берлина. По сведениям заграничной агентуры от 12 октября

1907 года, Кнуляц (Рубен) присутствовал на VII международном конгрессе социалистических партий в Штутгарте...»

...То есть был одним из российских делегатов на Штутгартском конгрессе II Интернационала. Среди других опознанных полицией лиц — Ленин, Луначарский, Плеханов, Богданов. Кнуляц следует в полицейском списке под № 5. Август Бебель, Роза Люксембург, Миха Цхакая, Максим Литвинов...

Резолюция конгресса о войне:

«В случае, если все же война разразится, рабочие должны активно выступать за скорейшее окончание ее и всеми средствами стремиться к тому, чтобы использовать вызванный войной кризис для возбуждения народных масс и ускорить падение капиталистического классового господства».

1907 год. До начала войны семь лет. До ее окончания — более десяти. В Штутгарте — социалистический конгресс. В России — реакция. Жаркая, распаленная ею театральная жизнь. Газета «Бакинское эхо» обсуждает пьесу в двух действиях А. Каменского «Леда», поставленную группой миллионеров на домашней сцене. Главная героиня появляется в одних только туфельках и начинает произносить монологи о том, что «жизнь должна быть красивой», что «пора сбросить с женщины полотняные мешки». «Я, — говорит в заключение героиня инженеру, также присутствующему на сцене, — объявляю войну ханжам и мещанам», — после чего встает и уходит. Инженер рыдает. Занавес.

После Штутгарта — Гельсингфорс. Четвертая конференция РСДРП (Третья общероссийская). Из Гельсингфорса — в Петербург.

Пожалуй, только здесь, в Петербурге, я пахожу ответ на собственные недоуменные вопросы, связанные с побегом Богдана из Обдорска. В первых числах декабря у

Богдана и Лизы Кпунянцев родился сын Валентин. Побег состоялся весной.

Дойдя до этого места, я вспомнил ранний зимний вечер тысяча девятьсот сорок восьмого или сорок девятого года в нашей старой квартире, в доме напротив бывшего охранного отделения, небезызвестного, я полагаю, обоим моим дедушкам и их друзьям. Я уже вернулся из школы, сделал уроки. В дверь постучали.

— Дядя Валя пришел.

Маленький, нервически подвижный гость поспешно стаскивает с себя пальто, будто торопясь поскорее войти, и начинает свое традиционное расхаживание по комнатам.

Была ли в тот вечер в руках у него отвертка? Приходя к нам, он обычно принимался палаживать радиоприемник или телевизор. Паять, чинить, усовершенствовать.

Если я вспомнил про телевизор, то это, пожалуй, все-таки сорок девятый год. Именно тогда дядя Валя принес и установил в столовой, рядом с балконной дверью, первый, с крошечным экраном, телевизор. В дальнейшем все телевизоры покупал он. Увозил старые — привозил новые, желая создать для бабушки максимум удобств.

И холодильник привез тоже он. Наладил, включил:

— Пусть пока постоит.

Сказал так, будто ему некуда было его деть.

Холодильник «простоял» более двадцати лет.

В другой раз купил замечательно красивую люстру старинной работы:

— Пусть повисит.

Ну и так далее.

Так вот, как-то зимним вечером 1949 года зашел к нам Валентин Богданович и сказал, что надобно нам пойти с ним к какому-то знакомому.

Мы вышли из нашего переулочка на улицу Горького и оказались у ярко освещенной, застекленной двери.

— Входи,— сказал дядя.

Мы сели за столик, официантка принесла мороженое, а я все еще не догадывался, что дядюшка пошутил со мной, не понимал, что он просто привел меня есть мороженое. Никогда раньше я в кафе не бывал, и красивый тот вечер (кажется, даже с музыкой), почему-то (быть может, именно из-за музыки) напоминающий новогодний, запомнил на всю жизнь.

Никогда до того и, пожалуй, никогда уже после никто меня таким образом из дома не уводил. Я ждал повторения, но дядя не любил делать то, чего от него ждали.

Вспоминая дядюшкино лицо той поры и рассматривая фотографии его отца — «Б. Кнунянц в петербургской тюрьме, 1906 год», «Б. М. Кнунянц в Сибири, 1907 год», — я нахожу, что внешне они очень похожи, отец и сын. Только сыну уже за семьдесят, а вечно молодому беглецу из Обдорска по-прежнему не исполнилось и тридцати.

Аскетизм и скромность Кнунянца-младшего — качества, мировые запасы которого, наряду с запасами серебра, катастрофически убывают с каждым годом, присутствуют у него в таких избыточных количествах, что будь эти качества витамином или, скажем, ферментом, их бы хватило, пожалуй, на всех жителей большого многоэтажного современного дома.

Бабушка рассказывала, что после войны его встретил тогдашний министр связи.

— Как,— удивился,— ты до сих пор не академик?

«У него много ценных изобретений,— как бы солидаризуясь с министром, заметила явно отставшая от жизни бабушка,— и слишком мало пробивной энергии. — («Пробойной», сказала она, подходя на этот раз гораздо ближе

к истине.) — В людях его поколения я замечаю некоторую усталость, что ли. Словно их родители израсходовали не только все свои силы, энергию, страсть, но и тот их запас, который предназначался детям».

В памяти застряли чьи-то слова: «Валентин — необычайно талантливый человек».

На праздновании 90-летия со дня рождения Богдана Кнунянца в Музее Революции его единственный сын прятался за колонной, чтобы его не обнаружили и не вытащили в президиум. («Сын за отца не отвечает» — так несколько неловко аргументировал он свое поведение.) Поэтому вместо сына на собрании представлял племянник юбиляра. В генеральской форме он выглядел импозантно и, по общему мнению, служил украшением президиума.

В своих воспоминаниях бабушка пишет:

«После кратковременной тифлисской встречи с Богданом в августе 1905 года я не видела его более трех лет. С тревогой следила за перипетиями его жизни, за его публикациями, выступлениями, побегом из ссылки.

С приходом реакции настали тяжелые дни. В кругах партийной интеллигенции царили уныние и равнодушие. Происходила переоценка ценностей. Живя в Баку, я начала получать безграмотные анонимки с предупреждением не появляться больше на армянских фирмах. Уже летом 1908 года приходилось передвигаться по городу с охраной, которую организовал рабочий табачной фабрики Мирзабекянца Нерсес Баргамов, назначенный в годы Советской власти директором московской фабрики «Дукат». Мне не могли простить создание большевистских ячеек на Биби-Эйбате — цитадели дашнакцканов и социалистов-революционеров. Некий полусумасшедший тип по имени Геворк, которого я даже не знала, почти ежедневно писал мне в письмах, что ноги моей не должно быть

больше ни па Баилове, ни на Биби-Эйбате. Грозился убить. Дошло до того, что Людвиг и Тигран отправились к нему с группой вооруженных рабочих и потребовали, чтобы он оставил меня в покое. Видимо, испугавшись, он дал слово больше не преследовать меня и даже поместил забавное объявление в газете «Баку» по поводу того, что «принесит извинения Ф. Г. — то есть Фаро Гнуни (так раньше писалась наша фамилия) — и никаких претензий к пей не имеет».

Зимой 1908 года, усталый, издерганный, больной, приехал Богдан. Лиза потребовала, чтобы он остался с сыном и с няней в Баку, где ему не составляло труда зарабатывать деньги на содержание семьи. Она же намеревалась уехать в Петербург окончить Бестужевские курсы*.

Как-то бабушка сказала в сердцах:

— В частной гимназии Тутовой и Хоментовской Лиза за преподавание получала сто шестьдесят рублей в месяц — совсем не мало. Окончив Бестужевские курсы, получала бы сто девяносто. Подумаешь! Уезжать из Баку следовало ему, а не ей.

Но «Лиза заявила, что больше так жить не может и не желает: в постоянной нужде, без профессии. Товарищи настаивали на немедленном отъезде Богдана за границу. Он очень нуждался в лечении из-за сильнейшего истощения нервной системы. Его мучили непрекращающиеся боли в руках и в ногах.

Больше всего я опасалась повторений припадков, которые случались с ним в раннем детстве. Просила оставить ребенка мне, а самому уехать, но он и слышать об этом не хотел. С сыном и с няней он жил на Николаевской улице в меблированных номерах. Весь верхний этаж дома — видимо, в прошлом гостиницы — состоял из большого количества сдававшихся комнат. Впоследствии там по соседству с Богданом под фамилией Секкерин поселился меньшевик Вайнштейн, член бывшего Петербург-

ского Совета рабочих депутатов. Они вместе отбывали ссылку в Обдорске.

В Баку арестовывали на каждом шагу. Весной 1909 года я получила письмо с несколькими неразборчивыми подписями и неясной печатью. В письме говорилось, что если я не оставлю работу в библиотеке Армянского человеколюбивого общества и не уеду из Баку, то меня убьют. Одной ходить вечерами по улицам стало невозможно. Нервное напряжение становилось невыносимым. Богдан настоял на моем отъезде из Баку. В сентябре 1909 года я уехала в Петербург, простившись с ним навсегда».

— Для него было безумием оставаться в Баку. Как Лиза не понимала? Богдана каждая собака знала. Его арест был неизбежен в то мрачное, неуютное время.

Сам Богдан Кнунянц (он же Богдан Радин) так оценивал это время в одной из своих статей, опубликованных в бакинской печати тех лет: «Хам пришел и прочно уселся во всех государственных и общественных учреждениях, хам задает тон всей общественной жизни, ибо с исторической сцены удалены все живые демократические силы страны, способные бороться против торжествующих победителей».

«В то мрачное, неуютное время» он пытался обнаружить что-нибудь обнадеживающее в газетных сообщениях, поступавших из-за границы. Особенно пристально следил за ходом младотурецкой революции, свергнувшей тиранию Абдул-Хамида. Революция победила. Большинство лозунгов, провозглашенных партией «Единение и прогресс», было ничуть не хуже любых других революционных лозунгов. Но что-то настораживало его. Что?

Как никогда прежде, он с предельной осторожностью относился ко всякого рода лозунгам, конституциям, доктринам, ибо сами по себе они ничего не стоили до тех пор, пока не находили реального применения. Решали не

лозунги. Цель решала, стиль, характер жизни, этими лозунгами провозглашенный. «Единение и прогресс» называла себя революционной партией «равенства всех османов». Какой революционер посмел бы выступить против равенства?

«Османская империя без армян» — это тоже их лозунг, правда, несколько более позднего времени. Молодо-турки были увлечены решением «национального вопроса». По сравнению с их попыткой «решить» этот вопрос зверства времен правления Абдул-Хамида, о которых рассказывала ему когда-то старуха армянка на берлинском вокзале, о которых на каждом шагу трубили дашпаки, могли показаться почти невинными шалостями. «Молодежь» ставила проблему куда крупнее, масштабнее. Уничтожить всех турецких армян — вот чего хотела она.

Однако именно так вопрос был поставлен гораздо позже, во время войны, когда Богдана не было уже в живых. А тогда, начиная с 1908 года, он внимательно следил за революционными выступлениями будущего вице-генералиссимуса, а пока еще только майора Энвера, и что-то не нравилось ему в них. Он слышал фальшивый звук.

В Баку он жил нелегально под фамилией Сумбата Александровича Маркарова и работал сначала в качестве секретаря ревизионной комиссии съезда бакинских нефтепромышленников, а затем — бухгалтера Биби-Эйбатского нефтяного общества.

Для активной подпольной работы время было неподходящее. На руках годовалый сын. В случае обнаружения и ареста за побег с места пожизненной ссылки ему грозила каторга.

Нужно было затаиться и ждать. Как долго?

По мере возможности старался участвовать в партийной работе. Тянуло в химическую лабораторию. Стал посещать клуб «Наука», литературно-художественный кружок. Литература была второй его страстью. Нет, третьей,

пожалуй. Первой была и оставалась политика. Впрочем, наука и литература как-то вмещали в себя эту основную, главную его страсть.

«Три месяца ссылки и побег» — первая попытка написать повесть. Но опытный профессиональный публицист мешал начинающему прозаику, с этим ничего нельзя было поделать.

Он пытался сочетать различные стили, жанры: публицистику с беллетристикой, чужие стихи с собственной прозой. В этих гибридах мнилось ему нечто новое, собственный путь.

За месяц до собственной кончины он пишет некролог на смерть Агапа Челобаева (12 апреля 1911 года). Быть может, он предчувствовал и свою гибель. Есть в этом некрологе строки, которые позволяют так думать.

«Умер Агап Челобаев!

Он — не из числа тех, о ком звонят колокола, газетчики пишут скорбные статьи, произносят горячие речи. Его никто не знает, никто о нем и знать, верно, не будет.

Он не матрос мазутного флота. Он — крестьянин Тамбовской губернии. И — страшная судьба. Именно оттого он и помер, что он — матрос и русский крестьянин. Помер вдали от своих, в далеком чуждом Баку, в грязной камере тюремной больницы, окруженный холодными, враждебными лицами. Только одно напоминало ему далекую родину. Праздничный пасхальный звон церковных колоколов. Ликование людей, что наступает праздник весны, праздник, так много говорящий сердцу русского крестьянина.

Да, он умер оттого, что он матрос. Как раз этой весной кончился срок контракта с каспийскими пароходо-владельцами, власти ждали «волнений», «забастовки» и арестовали его в числе многих других товарищей.

Он умер оттого, что он — пролетарий из крестьян, ко-

торого судьба в поисках хлеба бросает в далекие уголки России. Чужой он был в нашем большом городе, чужим остался для него и в тюрьме, оторванный от тех, кто мог бы пещись о нем. Даже в тяжелые минуты болезни некому было на воле хлопотать, просить, кричать, что умирает, погибает человек.

Болея он недолго. В больнице пробыл недели две. Болезнь была такая, что с первого момента была ясна беспомощность тюремной больницы. Товарищи телеграммой просили у властей перевести его в городскую больницу. Но этого почти невозможно добиться «государственному преступнику», все преступление которого в том, что он попал под подозрение охраны.

В больнице быстро наступила развязка. Его скоро не стало.

У двадцатипятилетнего молодца, еще полного жизни, тюрьма в течение двух месяцев высосала все силы».

В некрологе на смерть Богдана Кнунянца Степан Шаумян на вопрос, умер ли Агап Челогаев или его убили, отвечает: «Да, убили, дорогой товарищ,— так же, как и тебя».

Принимая участие в работе научного и литературно-художественных кружков в Баку, Богдан вынашивал догадку о некоем едином силовом поле, притягивающем его одновременно к столь разнородным, казалось бы, областям духовной жизни. Мечтал о великом синтезе науки, искусства, стихов и прозы, который когда-нибудь, быть может, удастся осуществить.

Кружки привлекали самую разношерстную публику. Клуб «Наука» посещал знакомый по Петербургу типографский наборщик Зенин. (Как полицейский осведомитель Зенин имел кличку «Усач».) А в литературно-художественном кружке активно сотрудничал приятель Зенина, рабочий-литейщик Мисак Саркисян. Разумеется, встречи имели характер общих дискуссий и потому ско-

рее относились к общественно-политической сфере, чем к науке и искусству.

Это наименее освещенный историками период жизни Богдана Кнунянца. В нем содержится много неясностей. До сих пор, например, остается открытым вопрос, было ли опубликование Богданом статей в меньшевистских газетах сознательным актом, то есть проистекало ли оно из попытки примирения, подсказанной условиями жесткой реакции послереволюционных лет, или же автор статей не ведал ни о той «редактуре», которой подверглись последние его статьи, ни о том, в какие издания они попадут.

В бабушкином архиве сохранилась копия ее письма историку О. Г. Инджикяпу, кандидатская диссертация которого была посвящена жизни и деятельности Богдана Кнунянца. Это письмо частично проясняет обстоятельства, сопутствующие появлению упомянутых публикаций.

«11.II.54 г.

Оганес Григорьевич, только что вернулась от Зеликсон-Бобровской и спешу сообщить Вам ее заключение по поводу Вашего реферата. Может, до 18-го числа успеете получить это письмо. От письменного отзыва она категорически отказалась, так как не видела Вашей работы.

Прежде всего, она считает, что в работе сделан неправильный крен в сторону литературных трудов Богдана. Из работы следует, что Богдан был чуть ли не одним из теоретиков партии. Это неверно. Он был пламенным революционером-большевиком, отдавшим всю свою жизнь революции. Что же касается его литературной деятельности, то он был лишь популяризатором политической литературы того времени. Если бы он был сильно политически подкован как марксист, — сказала она, — то, может, сумел бы преодолеть свой революционный темпера-

мент и не совершить ряда ошибок по организационным вопросам. (Ее слова я передаю точно.)

Затем она находит, что об ошибках Богдана надо говорить резко, без скидок.

В связи с этим она считает для меня необходимым, несмотря на то, что мои слова могут оказаться бездоказательными, сообщить Вам, что свои статьи, опубликованные посмертно в журнале «Наша зоря», Богдан сам отправить туда не мог. Он мог писать только для «Просвещения». Ни политически, ни организационно с меньшевиками он никогда не был связан, и если его статьи с редакционными поправками меньшевиков вышли в «Нашей заре», то это произошло потому, что в одной камере с Богданом сидел меньшевик Вайнштейн (Секкерип), к которому ходила на свидания меньшевичка Анна Петровна Краснянская, корреспондентка «Нашей зари». Очевидно, после смерти Богдана его статьи попали в «Нашу зоря» через Краснянскую.

Зеликсон-Бобровская находит еще, что в реферате умалена роль товарища Сталина, о котором ничего не говорится.

Вот и все, что она мне сказала. Учтите все это при выступлении.

С приветом *Фаро*.

Одно обстоятельство требовало незамедлительного уточнения. Дело в том, что официального документа о смерти Богдана Мирзаджановича Кнузянца в природе не существует. И никогда не существовало. Умер Сумбат Маркаров. Документы о смерти оформлены на его имя. Рассказы очевидцев о похоронах Богдана Кнузянца весьма противоречивы, иногда даже взаимоисключающи.

С самого приезда Богдана в Баку Мелик Меликян (Дедушка) и Степан Шаумян настаивали на его отъезде из Баку. Может, он послушался и уехал?

Уже в июне 1910 года бакинская охранка доносила

по инстанциям, что «Богдан Кнунянц живет в Баку под чужой фамилией». Его искали. В августе 1910 года с помощью сослуживцев пытались установить личность С. А. Маркарова (Маркаряна), показывая им фотографии Б. М. Кнунянца. Из этого ничего не вышло. Сослуживцы не выдали.

Выдал Мисак Саркисян, завсегдатай литературно-художественного кружка, друг Зенина.

«1911 года мая 8 дня в гор. Баку. Я, начальник Бакинского жандармского управления полковник Минкевич, рассмотрев произведенную в порядке положения о государственной охране переписку об обследовании степени политической благонадежности бухгалтера Биби-Эйбатского нефтяного общества Сумбата Александровича Маркарова и служащего в Бакинском отделении Русско-Азиатского бапка Николая Ивановича Секкерина, которые по установке их личностей оказались: первый — крестьянином Шумшинского уезда Елизаветпольской губернии Богданом Мирзаджановым Кнунянцем, а второй — курским мещанином Семеном Лазаревичем Вайнштейном, нашел:

1. Начальник Бакинского охранного отделения запиской от 20 сентября 1910 года за № 4118 донес преднаместнику моему по должности начальнику Бакинского жандармского управления, что, по сведениям агентуры, бухгалтером Биби-Эйбатского нефтепромышленного общества состоит разыскиваемый циркуляром департамента полиции от 31 августа 1907 г. за № 150037/14 Богдан Кнунянц, именующий себя Сумбатом Александровичем Маркаровым. Впоследствии запиской от 7 октября за № 4227 начальник того же охранного отделения донес тому же моему преднаместнику, что в одной квартире с Сумбатом Александровичем Маркаровым проживал окончивший Харьковский университет Николай Иванов Секкерин — бывший член Совета рабочих депутатов.

Произведенным обыском в квартирах названных лиц ничего указывающего на преступную их деятельность обнаружено не было и лишь в числе литературы, взятой у Маркарова, обнаружено несколько произведений печати (каждое в одном экземпляре), хотя и относящихся к вопросам социал-демократии, но не указанных в алфавитном указателе по книгам и брошюрам, арест на которые утвержден судебными установлениями.

2. Маркаров на допросе показал, что зовут его Сумбатом Александровичем, имеет от роду 31 год, вероисповедания армяно-грегорианского, приписан к обществу мещан города Шуши. К дознаниям не привлекался, за границей не был, холост, родители умерли, а брат Хачатур и сестра Сарра проживают в Красноводске, что служит он, Маркаров, бухгалтером Биби-Эйбатского нефтяного общества и известен директору промыслов Александру Ивановичу Манчо и его помощнику Владимиру Николаевичу Делову...»

Такое имелось донесение. И много других подобных. Делом Маркарова интересовались жандармские управления Баку, Тифлиса, Петербурга, канцелярии наместника по Кавказу.

До окончательного выяснения дела Сумбат Маркаров заразился брюшным тифом и 14 мая 1911 года скончался от паралича сердца в тюремной больнице. Лечил больного, по его настоятельной просьбе, Тигран Исаханян — тот самый Тигран Исаханян, в московской квартире которого останавливалась бабушка, приезжавшая из Петербурга навестить брата, сидевшего в Таганской тюрьме. От него бабушка и знает о причинах посмертного опубликования статей Богдана в «Нашей заре».

Среди вещей умершего наибольшую ценность представляло серебряное портмоне, на верхней крышке которого были выгравированы сплетенные буквы «Б» и «Е». Портмоне было передано лечащему врачу заключенного

Т. В. Исаханяну. Серебро потускнело, кое-где образовались темные пятна. В одном месте поверхность казалась чуть более светлой — видимо, последний владелец портмоне пытался чистить его то ли сукном, то ли каким-то порошком, имевшим, скорее всего, органическое происхождение.

Как следует из воспоминаний лечащего врача, больной был очень слаб. По ночам его мучали нестерпимые головные боли, а в последние дни — и днем. Он непрерывно требовал, чтобы ему давали порошки, которые несколько облегчали страдания. Боль утихала, но потом вспыхивала с новой силой. Лечащий врач оставлял на день не более четырех порошков, опасаясь, что большее их число повредит больному.

В ночь с 13 на 14 мая больной остался без лекарства. Вопреки совету врача, он проглотил порошки днем, мучимый сильными болями во всем теле. Температура была очень высокой. Врач беспокоился за сердце больного, который часто терял сознание, впадая в изнурительный бред. Назойливые видения сводили его с ума. Приходя в себя, он с трудом дотягивался до стакана с водой, последним усилием ставил стакан на место и снова проваливался во что-то темное и бесконечное.

Отсутствие обезболивающих порошков и сумеречное сознание, по мнению лечащего врача, послужили, видимо, причиной того, что больной извлек из портмоне хранившийся там порошок неизвестной химической природы и проглотил его вместо прописанного врачом лекарства.

Наутро лечащий врач констатировал смерть Сумбата Александровича Маркарова. Врач тюремной больницы в свою очередь подтвердил смерть заключенного Маркарова. Некоторые свидетели событий тех лет утверждали, что на требование бакипских товарищей выдать им тело умершего в тюремной больнице Богдана Кнунянца тюремная администрация отвечала, что такового в ее рас-

поряжении не имеется. Смысл этого таинственного заявления не вполне ясен, а живых свидетелей, кто мог бы в той или иной мере прояснить его, не осталось.

Действительно ли больной проглотил порошок или только намеревался это сделать, также осталось тайной. Остатки порошка были обнаружены на полу рядом с больничной койкой умершего. Тут же валялся разбитый стакан.

Последний свидетель тех событий Тигран Исаханян («героический человек» — скажет о нем однажды бабушка) исчез с лица земли четверть века спустя. Он как бы глубоко нырнул в океан истории, чтобы выплынуть лет через двадцать, уже в наше время, сначала в связи с историческими исследованиями О. Г. Инджикяна, а затем — в связи с серебряной безделушкой, так и не успевшей обрести права драгоценной реликвии, а также со сбором материалов для книги о Богдане Кнунянце.

Следы порошка, которые, несмотря на прошедшие десятилетия, сохранились на потертом шелке портмоне, проанализировать теперь не представляется возможным, ибо, как уже говорилось, серебряная вещь бесследно исчезла.

Вещество аналогичной, как я полагаю, структуры, с большим трудом синтезированное в небольших количествах, было погублено легкомысленным Микеле Барончелли. Попытки воспроизвести по записям в рабочем журнале даже первую стадию синтеза пока не увенчались успехом. Вот и все, что я знаю об обстоятельствах гибели Сумбата Александровича Маркарова.

Что же касается Богдана Кнунянца, то я готов искать его только среди живых. Порой я слышу то утихающий, то нарастающий гул, словно это одновременно разговаривают десятки людей различных эпох, национальностей, вероисповеданий, словно цокают лошадиные копыта, пытит паровоз или взлетает ракета.

В памокших от недавнего дождя деревьях московских улиц, в тихих лужах и душной испарине, предвещающей затяжные дожди, в парализованном воздухе помещений ощущается какая-то мезозойская сырость. Пахнет грибами, влагой и все еще молодой травой.

Как всегда, утром я иду от Бауманского метро до работы пешком мимо строящегося здания рынка, которое из страшного ископаемого превратилось в модное застекленное сооружение, имеющее форму барабана и напоминающее беличье колесо или колесо игрового автомата. Я прохожу мимо Бауманского института и останавливаюсь на мгновение, чтобы убедиться, что на деревьях в этом году почему-то нет ни одной вороны, и иду дальше, в сторону Лефортовского вала.

Сегодня вечером, вернувшись с работы домой, я напишу первые слова будущей книги, которую назову «Суд над судом», потому что лучшего названия мне все равно не придумать.

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА I	5
ГЛАВА II	21
ГЛАВА III	37
ГЛАВА IV	59
ГЛАВА V	73
ГЛАВА VI	101
ГЛАВА VII	120
ГЛАВА VIII	137
ГЛАВА IX	154
ГЛАВА X	173
ГЛАВА XI	206
ГЛАВА XII	223
ГЛАВА XIII	238
ГЛАВА XIV	258
ГЛАВА XV	273
ГЛАВА XVI	284
ГЛАВА XVII	303
ГЛАВА XVIII	321
ГЛАВА XIX	341
ГЛАВА XX	357
ГЛАВА XXI	365
ГЛАВА XXII	377
ГЛАВА XXIII	395
ГЛАВА XXIV	411

Русов А. Е.

Р88 Суд над судом: Повесть о Богдане Кнувянце.—
2-е изд.— М.: Политиздат, 1984.— 428 с., ил.— (Пла-
менные революционеры).

Р $\frac{0505000000-157}{079(02)-84}$ 192-84

66.61(2)8+84Р7

Р2+ЗКП1(092)

АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ
РУСОВ
СУД НАД СУДОМ
ПОВЕСТЬ О БОГДАНЕ КНУНЯНЦЕ

Заведующий редакцией *В. Г. Новохатко*
Редактор *Л. Б. Родкина*
Художники *Е. А. Борщаговская и В. У. Интойю*
Художественный редактор *В. И. Терещенко*
Технический редактор *Н. К. Капустина*

ИБ № 4358

Сдано в набор 29.11.83. Подписано в печать 08.05.84.
А 00090. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая.
Условн. печ. л. 19,51. Условн. кр.-отт. 21,88.
Учетно-изд. л. 19,55. Тираж 300 тыс. экз.
Заказ № 700. Цена 1 р. 50 к.

Политиздат, 125811, ГСП,
Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Типография изд-ва «Уральский рабочий».
620151, Свердловск, пр. Ленина, 49.

В 1984 году в серии
«Пламенные революционеры»
выйдут следующие книги:

Яков Гордин
«ТРИ ВОЙНЫ БЕНИТО ХУАРЕСА»
(повесть о Бенито Хуаресе)

Наталья Давыдова
«ВЫБОР ОРУЖИЯ»
(повесть об Александре Вермишеве)

В. Кардин
«МИНУТА ПРОБУЖДЕНИЯ»
(повесть об Александре
Бестужеве (Марлинском))

Лев Кокин
«ЧАС БУДУЩЕГО»
(повесть о Елизавете Дмитриевой)

Георгий Метельский
«ДО ПОСЛЕДНЕГО ДЫХАНИЯ»
(повесть об Иване Фиолетове)

Александр Нежный
«ОГОНЬ НАД ПЕСКАМИ»
(повесть о Павле Полторацком)

Борис Тумасов
«ОБРЕТЯ КРЫЛЬЯ»
(повесть о Павле Точисском)

Михаил Юхма
«КУНГОШ — ПТИЦА БЕССМЕРТИЯ»
(повесть о Муллануре Вахитове)





